

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1983

СОДЕРЖАНИЕ

Правдин М. Н. (Москва). Словарное толкование, научность и здравый смысл	3
Ходорковская Б. Б. (Москва). К проблеме индоевропейского сигматического аориста (Вопросы семантики)	16
Сахно С. Л. (Москва). Приблизительное именование в естественном языке	29

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Долинин К. А. (Ленинград). Имплицитное содержание высказывания	37
Мезенин С. М. (Москва). Образность как лингвистическая категория . .	48
Демьянков В. З. (Москва). Понимание как интерпретирующая деятельность	58
Мойсеев А. И. (Ленинград). Письмо и язык	68
Клычков Г. С. (Москва). К архитектонике фонологической системы . . .	73
Чеснокова Л. Д. (Таганрог). Выражение категории количества глагольными формами современного русского языка	82

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Репина Т. А. (Ленинград). О далматинском языке и его месте в группе романских языков	91
Ефимов А. Ю. (Москва). О происхождении вьетнамских тонов	100
Асиновский А. С., Вахтин Н. Б., Головкин Е. В. (Ленинград). Этнолингвистическое описание командорских алеутов	108
Черняховская Л. А. (Москва). Смысловая структура текста и ее единицы	117

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Яковлев Н. Ф. [Принципы фонологии]	127
--	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Корляту Н. Г. (Кипинев). Взаимоотношение развития национальных языков и национальных культур	135
Городецкий Б. Ю. (Москва). <i>Караулов Ю. Н.</i> Частотный словарь семантических множителей русского языка	136
Добродомов И. Г. (Москва). <i>Clauson G.</i> An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish. Index	140
Левитская Л. С. (Москва). <i>Studies in Chuvash Etymology</i>	141
Мкртчян Г. А. (Москва). <i>Носенко И. А.</i> Начала статистики для лингвистов	144

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	146
Указатель статей, опубликованных в 1983 г.	157

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), А. Н. Кононов, В. З. Панфилов (зам. главного редактора), Б. А. Серебренников, Н. А. Слюсарца, В. М. Солнцев (зам. главного редактора), Г. В. Степанов (главный редактор), О. Н. Трубачев, Д. Н. Шмелев

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78
Зав. редакцией *И. В. Соболева*

ПРАВДИН М. Н.

СЛОВАРНОЕ ТОЛКОВАНИЕ, НАУЧНОСТЬ И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

«Задача тех, кто работает над языком, а в особенности над словарями, — пишет В. Дорошевский, — строить мосты взаимопонимания между людьми. Строительным материалом становятся в этом случае слова, определения которых дают лексикографы, их работа была бы бессодержательной, лишенной методологических опорных пунктов, если бы она не служила общественно-культурным целям...» [1, с. 255—256]. «Словари оказывают большое влияние на формирование отношений между людьми и народами» [1, с. 76, примеч.]. Словарь — это «сокровищница», из которой члены определенной культурной общности черпают знания, позволяющие «понимать или составлять высказывания» [2, с. 40]. Словарь справедливо рассматривается как выразитель мнения и «гарант нормы» коллектива, на научной основе регулирующий языковое и, шире, общественно-культурное поведение его членов.

Однако чтобы словарь мог стать гарантом нормы для некоторого коллектива читателей, необходимо создать «мост взаимопонимания» прежде всего между составителем словаря (ученым-лексикографом) и тем, кто пользуется словарем. Это требование особенно настоятельно, когда речь идет об учебном словаре.

Методическая проблема (проблема наиболее рациональной, научной формы презентации лексического материала в словаре) при ближайшем рассмотрении оказывается тесно связанной с серьезнейшими методологическими вопросами. Так, научность (как бы ее ни понимать) представления лексики в словаре сама по себе не гарантирует понятности и полезности словарных «знаний» для читателя и, тем самым, взаимопонимания между лексикографом и адресатом словаря, если эта научность находится в противоречии с тем, что можно было бы назвать интуицией читателя, его «здравым смыслом». В то же время лексикограф как носитель языка, конечно, не может слепо доверяться интуиции, поскольку интуитивное владение языком и сознательное, а тем более научное владение им отнюдь не совпадают.

Понятия «здравый смысл», «обычное, обыденное сознание», «обыкновенный человеческий рассудок» приобрели в философском плане своеобразный отрицательный оттенок как нечто низшее по отношению к научному мышлению и даже как нечто «обращенное против разума» [3]¹. С другой стороны, «здравый смысл», отождествляемый с интуицией, рассматривается как нечто лежащее «непосредственно в основе любого сознания, независимо от каких бы то ни было научных изысканий» и поэтому не нуждающееся в доказательствах своей истинности [4]².

Разделение и противопоставление «обыденного» и «научного» подхода к действительности превратилось, в свою очередь, в норму «обыденного сознания» ученого, в своего рода принцип, которым нужно руководствоваться при оценке того или иного явления действительности. В теоретической лексикологии такое разделение отразилось, в частности, в известных терминах: «ближайшее» и «дальнейшее» значения (А. А. Потеня),

¹ Аналогичное отношение к «здравому смыслу» («обыкновенному человеческому рассудку») можно найти и у других представителей классической немецкой философии.

² Такое понимание «здорового смысла» характерно для картезианской философской традиции. См. в этой связи [5]. См. также работы Ж. Пиаже, где «интуитивное» отождествляется с «наглядным».

«формальное» и «содержательное» понятия (С. Д. Кацнельсон), «наивное» и «научное» понятия (Ю. Д. Апресян) и т. п. Подобные «разделяющие определения» характерны, по мнению Гегеля, для абстрагирующего, разделяющего рассудка, который в этих случаях «ведет себя как *обыкновенный здравый смысл*» [3]³. Однако и наука не может существовать без абстрагирования, без расчленения изучаемого явления и очень часто дифференцирует как раз там, где интуиция воспринимает явление как нерасчлененное.

В лексикографии, прежде всего в толкованиях значений, разделение точек зрения «обыденного сознания» и науки тем не менее приводит к принижению общественно-культурной роли словаря, к тому, что интересы ученого-лексикографа и того, кому, собственно, словарь адресуется, оказываются искусственно противопоставленными.

Каждый составитель толкового словаря, естественно, стремится к научной точности толкования (определения) слова, понимая свою ответственность как «выразителя мнения коллектива», как «гаранта нормы» этого коллектива. Главные усилия направляются на то, чтобы выбрать из всех возможных словесных толкований (дефиниций) данного слова такое толкование, которое наиболее отвечало бы некоторому абстрактно понятому критерию научности.

Вместе с тем мыслящий лексикограф не может не признать, что «все дефиниции (имеются в виду именно словесные, т. е. составленные из слов, определения. — П. М.) имеют в научном отношении незначительную ценность. Чтобы получить действительно исчерпывающее представление об объекте (о предмете, о понятии, о значении слова), необходимо «проследить все формы» собственного его проявления. «Однако для *обыденного употребления*... дефиниции очень удобны, а подчас без них трудно обойтись; повредить же они не могут, пока мы не забываем их *неизбежных недостатков*» [7 (разрядка наша. — П. М.)].

Такое трезовое, разумное отношение ко всяким, в том числе и научным, дефинициям (словесным определениям, толкованиям, разъяснениям), несомненно, заставляет с большим вниманием и большим доверием относиться к здравому смыслу (обыденному сознанию, интуиции) читателей, которым лексикограф адресует свои труды. При всей ответственности научной и общественно-культурной роли лексикографа как профессионального толкователя значений слов он не должен становиться по отношению к рядовому читателю (носителю языка) в позу учителя, наставника, который во всех случаях «знает дело лучше других» [8]. Истинно научные (т. е. исходящие из существа дела) толкования должны базироваться, скорее, на том, что объединяет лексикографа и рядового носителя языка, чем на том, что их разъединяет.

В лексикографической практике, по-видимому, давно уже сложилось представление о двух основных типах словарей: о словарях понятий (энциклопедических словарях, энциклопедиях) и словарях слов (филологических, лингвистических словарях) [см. также 9]. В первых даются сведения о понятиях или, как считают некоторые лексикографы, о денотатах, во вторых — разнообразное сведения о словах.

Это в значительной степени интуитивное деление словарей на две группы отражается и в характере словарной статьи словаря энциклопедического типа, и такого лингвистического словаря, как толковый. Однако при сравнении словарных статей того и другого словаря тотчас же бросается в глаза, что четкого представления об отличии семантического толкования от понятийного определения все же нет⁴. Элементы

³ «Разделения», диктуемые здравым смыслом, и преодоление абстрактных разделений — это история самой науки. Так, например, «в физике Аристотеля покой и равномерное прямолинейное движение полностью обособлены, в законе инерции Галилея утверждается равноправие и внутренняя связь состояний покоя и равномерного прямолинейного движения» [6, с. 57]. Вместе с развитием научных взглядов на мир развивается и «обыденное сознание», изменяется сама «практика здравого смысла».

⁴ Характерно, что сами термины «определение» («дефиниция») и «толкование» обычно не дифференцируются или употребляются прямо как синонимичные.

обычного понятийного определения (через род и видовое отличие), как правило, но далеко не регулярно появляются при толковании значений слов в любом толковом словаре. При этом выясняется, что подобного рода определения в одном случае легко конструируются и, как говорится, хорошо «проходят»; в другом случае конструируются с трудом, получаются весьма неестественными (и даже комичными), а в третьем случае оказываются вообще невозможными.

Проницательный В. И. Даль в статье «О русском словаре» замечает, имея в виду именно логические определения через род и видовое отличие: «Общие определения слов и самых предметов и понятий, дело почти неисполнимое и притом бесполезное. Оно тем мудренее, чем предмет проще, обиходнее» [10]. Если с первой частью этого высказывания можно спорить, то справедливость второй его части постоянно подтверждается самой лексикографической практикой. Составители разного рода энциклопедий сознательно избегают понятий «простых» и «обиходных», зная, что дать логическое определение (определение через род и видовое отличие) таким понятиям на научном уровне часто невозможно, лингвисты же, составители толковых словарей, упорно пытаются такие определения конструировать (примеры крайне неудачных определений можно найти в любом толковом словаре).

В настоящее время, как нам представляется, выявились две диаметрально противоположные точки зрения на вопрос о толковании слов в толковом (лингвистическом) словаре.

Одни лингвисты, жертвуя стилистическими, лексическими и синтаксическими нормами языка, главным достоинством толкования (определения) считают его «научность» и «точность»: «Характерно, что многие удачные определения толковых словарей обнаруживают отклонения от стилистических, лексических и даже синтаксических норм данного языка,— пишет Ю. Д. Апресян,— а определения, в которых лексикограф — не как ученый, а как носитель языка — уступает своему естественному желанию выражаться идиоматично, часто содержат неточность» [11, с. 96]⁵.

Другие выступают именно против искусственности определений. Как бы прямо возражая Ю. Д. Апресяну, В. Дорошевский пишет: «Такие определения не должны проходить через фильтры лексикографических критериев. Всякая искусственность стиля есть искусственность мысли, а лексикограф должен заботиться о том, чтобы не допускать противестественности в формулировках своей мысли и не прививать эти мыслительные противестественности в языке своей среды» [1, с. 252]. При этом В. Дорошевский требует, «чтобы между практическим здоровым смыслом и „научным“ мышлением не возникало никакого зияния, отделяющего мысль от практического осуществления» [1, с. 250].

Лингвисты, стоящие на первой точке зрения, напротив, постулируют это «зияние» как необходимое условие научного описания лексики. Предусматривается «зияние» между здоровым смыслом и научным мышлением в двух отношениях — в плане «объект-языка» и в плане «метаязыка».

Лингвист должен определять в толковом словаре не все понятия, а лишь так называемые «наивные» понятия, «донаучные общие» понятия, т. е. именно понятия «здорового смысла», которые в совокупности образуют «наивную картину мира»: «Задача лексикографа, если он не хочет покинуть почвы своей науки и превратиться в энциклопедиста, состоит в том, чтобы вскрыть эту наивную картину мира в лексических значениях слов и отразить ее в системе толкований» [11, с. 58]⁶.

Однако как раз в системе описания (системе толкований) точка зрения здравого смысла отвергается. Ей должна быть, по мнению этих лингвистов, противопоставлена точка зрения науки.

⁵ Нельзя не заметить, что в этом высказывании прямо декларируется пренебрежительное отношение к синтаксическим, лексическим и стилистическим особенностям конкретного языка при толковании значений его лексических единиц.

⁶ См. также термины «наивная культура» и «отработанная культура» [2, с. 50].

Таким образом, на уровне определяемого Ю. Д. Апресян требует иметь дело с «наивными» понятиями (понятиями «здравого смысла» = лексическими значениями), а на уровне определяющего — с научными их определениями. В словаре как бы сталкиваются и объединяются две противоположные точки зрения (наивная и научная), причем «точное», «научное» определение оказывается семантически отождествленным с толкуемым (определяемым) «наивным», «донаучным», «общим» понятием (лексическим значением слова), поскольку «определение должно быть точной синонимической перифразой определяемого»: «определяющие значения 'BC' должны быть необходимы и достаточны для определяемого значения 'A' (должны быть перечислены все семантические компоненты A и только они...)» [11, с. 95 (разрядка наша. — П. М.)].

Итак, теоретически разделяя и противопоставляя друг другу точки зрения здравого смысла и науки, лингвисты, ратуящие за научную точность в лексикографии, приходят к отождествлению наивного и научного значений, наивного и научного взгляда на мир. При этом таких лингвистов не смущает насилие над языком, если оно оказывается необходимым с точки зрения их теоретических построений.

Лексикография, пожелав стать не только искусством, но и наукой, столкнулась, таким образом, с весьма серьезными трудностями. Интуитивное толкование слов, как бы оно ни было искусно у отдельных лексикографов (образцом здесь, несомненно, является В. И. Даль ⁷), уже не удовлетворяет лингвиста. Возникла потребность либо подвести под лексикографическую интуицию некоторую научную базу (вся работа В. Дорошевского, которую мы цитировали, представляется нам именно попыткой обосновать лингвистическую интуицию составителя толкового словаря данными психологии, логики и физиологии), либо, полностью отказавшись от опоры на интуицию, построить строго формализованную систему описания лексики, подобную некоторому исчислению. В первом случае наблюдается стремление примирить научное мышление со здравым смыслом, во втором случае — резко их противопоставить.

Если первый подход оставляет все же чувство какой-то незащитности лексикографической интуиции (а следовательно, и здравого смысла) перед лицом возможной критики, поскольку все логические, психологические и физиологические доводы носят или слишком общий характер, или, наоборот, выдвигаются для доказательства отдельных частных решений, то второй подход вызывает решительный протест своим малоубедительным, но тем не менее безапелляционным противопоставлением точки зрения науки и точки зрения здравого смысла, — противопоставлением, за которым в конечном итоге просматривается некая весьма субъективная позиция, ни в коей мере не оправдывающая принесения здравого смысла в жертву «науке» [см. об этом 12].

Кроме того, и в первом и во втором случае остается неясным, что же все-таки представляет собой семантическое толкование значения слова, а что — логическое определение понятия, и в связи с этим неясным остается вопрос о месте логического определения в толковом (лингвистическом) словаре и вопрос о принципах толкования лексики в целом. В основе всех этих неясностей лежит, несомненно, одна причина — отсутствие удовлетворительного решения вопроса о значении и понятии. Эта же причина, как нам представляется, не дает возможности найти разумный компромисс между «научным мышлением» и интуицией (здравым смыслом) лексикографа, между его стремлением к точности и одновременно к естественности («идиоматичности») толкования лексики.

Всякое толкование значения или определение понятия принимает в словаре форму отношения типа А — В, где А понимается как толкуемое слово или определяемое понятие, а В — как само толкование слова или определение понятия. Во всяком словаре А — это так называемое «за-

⁷ Мы имеем в виду главным образом гибкость в подходе к толкованию у В. И. Даля, отсутствие у него какой-либо раз и навсегда принятой схемы толкования.

главное» («заголовочное») слово, а В — «объяснительная часть», или собственно «словарная статья».

Очевидно, основной вопрос, встающий перед лексикографом, это вопрос о том, почему именно данное В мы можем связать с данным А в случае определения понятия и в случае толкования значения, что связывает В с А? Обычно связь В с А объясняется как следствие их эквивалентности (их синонимичности, перифрастичности в широком смысле этих слов). Таким образом, при толковании слова или определении понятия лексикограф интересуется как характер связи между А и В, так и характер самих А и В. При этом данным для лексикографа является А⁸, искомыми же будут В и характер его связи с А.

Остановимся прежде всего на анализе данного, т. е. А. Если А — знаменательное слово, то лексикограф, по-видимому, волен подходить к нему и как к толкуемому слову, и как к определяемому понятию, поскольку и значение, и понятие рассматриваются одинаково как «план содержания» слова, «означаемое». Это обстоятельство может быть одной из главных причин того, что между толкованием значения и определением понятия практически не делается никакого различия. Само А («означающее») ⁹ на дает каких-либо очевидных критериев для дифференциации значения и понятия.

Обратимся к анализу характера связи В с А. Обычно, как мы уже сказали, отношение между толкуемым и толкующим, определяемым и определяющим понимается как отношение эквивалентности. Абстрактное определение эквивалентности неизбежно связывается с представлением о тождественности А и В в каком-либо отношении. Эквивалентность в этом случае определяется через понятие взаимозаменяемости, взаимозаменяемость же А и В устанавливается на основе совпадения присущих им «содержательных» признаков, «существенных в данной ситуации» [см., например, 14]. Это совпадение содержательных признаков А и В определяется во всех случаях либо чисто интуитивно, на основе знания контекстов, в которых эти А и В взаимозаменяемы, либо откровенно произвольно, на основе некоторых заранее принятых конвенций.

Поскольку связь между В и А оказывается следствием их эквивалентности, установленной априорно и в большей или меньшей степени произвольно, сама эта связь (а вместе с тем и толкования, и определения) приобретает оттенок условности и искусственности, — именно той искусственности, которая так характерна для толкований значений в словарях и вне словарей и которую В. Дорошевский справедливо связал с «искусственностью мысли» лексикографа. Интересно отметить при этом, что искусственностью грешат в равной степени и толкования, создаваемые на основе «научного» определения признаков и на основе их интуитивного определения (примеры толкований см. ниже).

Видимо, затруднения, с которыми сталкивается лексикограф при конструировании словарных толкований и определений, и неестественность самих толкований и определений являются следствием искусственности тех представлений о значении и понятии, из которых лексикограф исходит в своей работе.

Понятие и значение обычно понимаются как «означаемые» лингвистических единиц, представляющие собой, как мы уже говорили, «некие наборы элементарных признаков (сем, компонентов), совпадение этих признаков у двух «означаемых» и дает возможность толковать (определять) одну лингвистическую единицу через другую. Установление указанных признаков и сравнение на этой основе единиц языка не может не носить характера искусственности и произвольности, поскольку само понятие

⁸ Мы не ставим здесь специально вопроса о принципах отбора толкуемого (определяемого) материала.

⁹ Термины «означаемое» и «означающее» используются нами здесь в обычном, широко принятом в лингвистической литературе смысле: означаемое — «внутренняя (семантическая) сторона (или содержание) языковой единицы»; означающее — «внешняя (материальная) сторона языковой единицы» [13].

«элементарной единицы плана содержания» конструируется априорно и произвольно.

Такое представление о понятии и значении — это несомненное проявление так называемого «элементаризма» в науке, т. е. установки «...на поиски элементарных объектов либо в самой природе, либо в системе познавательных теоретических средств» [15; см. также 16] ¹⁰. Элементаризм в современной физике привел, по мнению некоторых ученых, к кризисной ситуации и к проблеме «выбора между отказом от элементаристской методологии либо ее модификацией» [15; см. также 6]. Подобная кризисная ситуация в любой современной науке представляется нам неизбежным следствием элементаристской методологии, поскольку эта методология не соответствует уровню развития науки и является в основе своей метафизической и механистической.

При всех различиях подходов к значению и понятию элементаризм в современном языкознании остается все же той общей установкой, с позиции которой рассматриваются эти «познавательные средства». Такая установка оказывается неприемлемой по многим причинам. Вопрос о толковании значения и об определении понятия сам по себе достаточно красноречиво свидетельствует о неприемлемости элементаризма.

Ведь именно элементаризм является той общефилософской и общеметодологической основой, которая приводит к отождествлению понятия с его определением (определяемого с определяющим), значения с его истолкованием (толкуемого с толкующим), т. е., в сущности, к элементарной логической ошибке. В результате такого отождествления (понятие и его определение — это один и тот же набор содержательных признаков, элементов; значение и его истолкование — это один и тот же набор семантических признаков, элементов) получается, например, что человек, не умеющий дать словесного определения понятию или не умеющий истолковать значение, не имеет и самого понятия или не знает и самого значения: «положим, мы не знаем, какими признаками выделяется лошадь из множества других животных. Это значит, что у нас нет понятия о лошади в строгом смысле слова» [18]. Значение работы лексикографа в свете таких представлений неумеренно преувеличивается, а словарные толкования и определения начинают рассматриваться как едва ли не единственная «мера» повседневного мышления, языкового общения и практической деятельности человека в целом ¹¹.

Такие претензии лексикографии выглядят довольно курьезно, когда мы читаем определения (толкования), подобные следующим: зуб — «твердое образование ротовой полости, служащее определенным целям человеческого организма» [19]; «давление (оказывать давление на кого-либо) — действия лица А... с целью вызвать трудность для лица Б не совершения какого-либо действия или неперехода в какое-либо состояние» [20].

Нетрудно понять теперь, что именно отождествление понятия с его словесным определением, значения с его словесным истолкованием влечет за собой необходимость деления понятий на «научные» и «наивные» (последние при этом отождествляются с лексическими значениями). Определения и толкования (разъяснения) сами по себе могут быть как научными, так и весьма наивными, если же всякое определение обязано совпадать по содержанию с определяемым понятием (иначе оно не будет ему экви-

¹⁰ Классическая наука никогда не оставляла надежды найти некоторые фундаментальные (действительно элементарные) объекты, благодаря которым можно было бы исчерпывающе и с полной точностью определить все, что имеет отношение к данной области знания и, в конечном счете, к миру в целом [17].

¹¹ «„Общественным рычагом“ наук, стремящихся выработать общий для всех людей рациональный взгляд на мир, является лексикография, ищущая простейших слов для объяснения широким кругам читателей, что означают те или иные слова... Размышление о значениях слов — а к этому должно побуждать чтение словаря — одна из самых существенных форм рационализации своего отношения к жизни и своего участия в жизни» [1, с. 65—66]. «Лексикограф, выразитель мнения коллектива, является законодателем по доверенности... Словарь — это мера любого высказывания» [2, с. 40].

валентно и, следовательно, не будет определением), а толкование — с толкуемым значением, то, соответственно, и понятие или значение должно характеризоваться теми же свойствами, т. е. быть либо научным, либо наивным. Встав на такую точку зрения, мы, по-видимому, должны будем также признать, что качество научности или наивности может принадлежать понятию (значению) в большей или меньшей степени, соответственно тому индивидуальному определению (толкованию), которое нашел нужным дать «в данной ситуации» этому «познавательному средству» тот или иной лексикограф. Таким образом, граница между научными и наивными понятиями (значениями) оказывается вообще трудно определяемой, а количество понятий (значений) становится таким же бесконечным, как и количество индивидуальных определений (толкований), которые может сконструировать каждый лексикограф и все лексикографы вместе взятые по поводу того или иного «познавательного средства».

Как видим, элементаристская установка в лексикографии неразрывно связана с субъективизмом: сколько разнообразных определений и толкований можно создать по поводу того или иного понятия (значения) путем «эксplikации элементов его содержания», столько существует и самих понятий (значений). Научность (тем самым и объективность) каждого отдельного понятия (значения), которыми мы пользуемся в нашей мыслительной и языковой практике, в таком случае будет определяться только авторитетностью мнения, т. е. в конечном счете все-таки субъективным произволом того или иного лексикографа или вообще того, кто определяет понятие или толкует значение.

Очень важно отметить, что на элементаристской основе, как это вытекает из всего сказанного, невозможно также какое-либо объективное отграничение значений от понятий (лингвистического от логического), поскольку и те и другие одинаково рассматриваются как наборы элементарных компонентов (признаков), а эти последние не могут быть определены объективно ни в количественном, ни в качественном отношении.

Вполне понятное стремление подвести научную базу под методичку словарных определений и толкований выливается, как мы видели, в попытки разделить научный и так называемый «наивный» подходы к понятиям и значениям, разделить соответственно даже сами понятия и значения. Вместе с тем декларируемое разделение оказывается малообоснованным, чисто условным, поскольку оно покоится на весьма шатких теоретических основаниях. В конечном счете такое разделение неизбежно приводит к тому, что человеку приписывается способность мыслить то научными, то «наивными» понятиями, использовать то научные, то «наивные» («общие») значения в зависимости от той ситуации, в которой он в данный момент находится [см., например, 24]. Поскольку же количество ситуаций, определяющих отношение человека к понятиям и значениям, а тем самым и к тому, что за ними стоит, бесконечно, мы неизбежно оказываемся во власти гносеологического релятивизма и субъективизма. Ни о какой истинной научности словарных определений и толкований при таком подходе к ним говорить не приходится.

Казалось бы, есть возможность избежать тех противоречий, и искусственных решений, которые обнаружили при анализе лексикографических проблем. Для этого нужно с самого начала исходить из того, что научное и «повседневное» мышление в основе своей однородны.

В. Дорошевский, безусловный реалист в лексикографии, пишет: «Не может быть разделения на мышление будничное, повседневное, на практическое функционирование здравого смысла „обыкновенного человека“ и научное мышление» [1, с. 64—65]. В. Дорошевский обосновывает это положение тезисом о единстве познаваемой действительности, единстве познавательного процесса и тем, что научная форма познания действительности является, в сущности, «продолжением элементарного познавательного рефлекс» [1, с. 64]. Стараясь практически, на конкретных примерах толкований доказать правильность указанного исходного тезиса, В. Дорошевский посвящает целые страницы обоснованию той или

иной словесной экспликации значения, его «содержания», демонстрации в связи с этим единства научного и обыденного подхода к предмету, понятию и значению.

И все же, как мы уже говорили, работа В. Дорошевского оставляет впечатление недоказанности правильных исходных положений о принципиальном единстве мышления научного и «будничного». Ошибка В. Дорошевского заключается, по-видимому, в том, что он, также стоя на элементаристских позициях и отождествляя понятие с его словесным определением, значение с его словесным истолкованием, ищет единство «будничного» и научного («общий для всех людей рациональный взгляд на мир») именно в словесных определениях и толкованиях, полагая, что тем самым обнаруживает это единство в самих понятиях и значениях.

Однако никакую словесную экспликацию «содержания» понятия или значения невозможно сделать единственной и обязательной для всех людей и для всех ситуаций, даже обосновав такую экспликацию самыми современными научными данными и подкрепив ее самыми очевидными доводами здравого рассудка. Такие экспликации по природе своей множественны и вследствие этого действительно релятивны и более или менее субъективны, и именно поэтому каждая из них в отдельности имеет «в научном отношении незначительную ценность» [7].

Неправильно было бы, однако, переносить эту относительность и известную субъективность словесных определений и толкований на сами понятия и значения и ставить их объективность и, следовательно, научность в зависимость от большей или меньшей «удачности» отдельных определений и толкований, вырабатываемых лексикографами. Понятия и значения не тождественны своим словесным определениям и толкованиям и не нуждаются, в отличие от последних, в обосновании и доказательстве их истинности или правильности. Нелепо спорить об истинности понятия или о правильности значения, но можно спорить об истинности словесного определения или правильности словесного толкования.

Отождествление же понятия с определением, значения с толкованием прямо приводит к мировоззренческому и лингвистическому нигилизму и плюрализму, т. е. к тому, что вообще смазывается представление о различии между истиной и заблуждением, правильностью и неправильностью и начинает проповедоваться идея о множественности и условности истин, об их абсолютной равноценности.

Если все же, как правило, отстаивается предпочтительность какого-либо конкретного определения или толкования как более научного по сравнению с другими, то для этого должны быть более основательные причины, чем только субъективная уверенность в своей правоте того или иного конкретного лексикографа и его ссылки на данные других наук и доводы здравого рассудка.

Единство как понятий («общий для всех людей рациональный взгляд на мир»), так и значений (общая «мера» высказываний в пределах данного языка) обусловлено не единством и единственностью предлагаемых лексикографами дефиниций, а объективностью самих понятий и значений. Именно потому, что понятия и значения объективны, т. е. независимы от субъективного произвола какого-либо человека, в том числе и того или иного лексикографа, в известном смысле и а в я з а н ы нам самой действительностью (внеязыковой и языковой), они оказываются одновременно и едиными — понятия для всех мыслящих, значения для всех говорящих (на данном языке).

Вследствие объективности понятий и значений их истинные определения и действительные (правильные) толкования также не могут быть произвольными. Определения и толкования по этой причине не могут «уточнять» понятий и значений, «строить», «формировать» их [22] или «устанавливать» их содержание [23]. Понятия и значения «определяются» и «толкуются» (проявляются) прежде всего в самой мыслительной и речевой практике независимо от желания лексикографов. Задача лексикографа — не конструировать определения и толкования, а обнаруживать их в этой мыслительной и речевой практике человека. Истинность опреде-

лений должна быть подкреплена прежде всего мыслительной практикой человека, а правильность толкований — его речевой практикой.

Что касается толкования значений, то самой простой иллюстрацией к тому, о чем мы здесь говорим, на первый взгляд, мог бы служить известный способ толкования значений слов путем приведения многочисленных примеров употребления слова в естественных (идиоматичных) контекстах. Кажется, что если бы можно было привести в словаре все контексты, в которых данное слово употребляется, то это было бы наиболее полным и объективным способом толкования, раскрытия его значения (значений).

Перефразируя Аристотеля, можно было бы в этом случае сказать: сколькими способами эти различные высказывания производятся, столькими путями они указывают на значение слова¹². Такой способ толкования соответствовал бы, как кажется, также указанию Ф. Энгельса о том, что исчерпывающее представление об объекте (в данном случае о значении) можно получить, если прослеживаются все формы его проявления.

Указанный способ толкования, помимо своей объективности, представляется имеющим по крайней мере два несомненных преимущества: наглядность и конкретность. Действительно, если значение — это некое внутреннее качество слова (как принято считать в соответствии с элементаристскими представлениями о значении), то что может быть более наглядным и конкретным с точки зрения выявления значения, как не пример употребления (использования) слова в речи, т. е. в естественных связях его с другими словами¹³? Представляется, что с у м м а таких примеров дала бы еще больше для выявления значения, тем более, что это была бы не просто сумма, а, как говорят, «упорядоченное множество» (класс), общим признаком всех членов которого было бы как раз искомое значение.

Известно, однако, что лексикографы не используют в толковых словарях такую наглядную методику толкования как единственно возможную и не рискуют возводить ее в принцип толкования¹⁴. Чем объяснить непригодность такого наглядного, естественного, объективного и, казалось бы, очень конкретного толкования значений, которое к тому же снимает, по крайней мере в практическом плане, вопрос о противоположности научного и «наивного» толкования слов, поскольку среди примеров можно привести предложения и из научных, и из «наивных» текстов, уравновесив таким образом два подхода к значению?

Принципиальная непригодность такой методики заключается, по-видимому, в том, что она либо предполагает простое механическое перенесение уже готовых образцов (текстов), представленных в словаре, в речь того, кто пользуется словарем (ни о каком толковании и понимании значения в этом случае, конечно, говорить нельзя), либо уповает на интуицию читателя, который должен сам «извлечь» из текстов нужное ему значение, учитывая при этом, что лексикограф дает «упорядоченное множество» примеров, где это значение как бы только разными способами зашифровано, но вместе с тем подсказано читателю самим подбором примеров¹⁵.

Это последнее предположение оказывается, однако, всего лишь иллюзией, так как читатель, полагаясь только на свою интуицию, не способен «извлечь» нужное ему значение из такого «упорядоченного множества» примеров. То, что обычно понимается под у п о р я д о ч е н н ы м множеством (классом, парадигмой), — в данном случае сумма текстовых примеров — есть на самом деле всего лишь «наглядная совокупность» (тер-

¹² См. перевод соответствующего аристотелевского изречения из «Метафизики» в «Философских тетрадах» В. И. Ленина [24].

¹³ Ср.: «Значением слова является его употребление в языке» (Л. Витгенштейн) (цит. по [25]).

¹⁴ См., впрочем, принципы, на которых строится толкование терминов в [26], где термнология дается «не в системе, а в тексте».

¹⁵ Разумеется, «извлекать» значение из парадигмы текстов имеет смысл только для того, чтобы получить «меру высказывания» (правило), по которой строились бы и другие, в чем-то аналогичные, но не включенные в данную парадигму, тексты. Одновременно это означало бы и понимание самого «извлекаемого» значения.

мин Ж. Пиаже), внешне связанное многообразие (множество), которое никак не может служить читателю руководством к действию (и действию по «извлечению» значения и какой-либо «мерой» построения высказываний) как раз вследствие своей неконкретности. «Менее... всего конкретно то, — пишет Гегель, — что обычно понимают под конкретным, — внешне связанное многообразие» [27].

— Такое «многообразие» (множество примеров) конкретно только в плане своей наглядности, т. е. с точки зрения чувственного восприятия, но совершенно неконкретно с точки зрения правила, закона, лежащего в основе этого «многообразия». Имея перед собой только ряд наглядных примеров, читатель не может знать ни правила, в соответствии с которым они получены, ни, следовательно, правила, в соответствии с которым можно получить другие в чем-то аналогичные примеры. Все дело в том, что одна и та же наглядная совокупность (и каждый ее член) может явиться результатом действия не одного какого-то единственного правила, а результатом действия множества разных правил, каждое из которых способно «породить» эту совокупность [28].

Любая наглядно-чувственная совокупность (отдельное звучащее или написанное слово; сумма слов, — например, синонимов; текст или сумма текстов) конкретна лишь как наглядно-чувственный стимул (или совокупность стимулов), но сама по себе не может выступать в качестве общего руководства к конкретному действию, т. е. в качестве правила (закона).

Каждый наглядно-чувственный стимул, так же как и их сумма, может вызывать у воспринимающего его только то действие (или серию действий), к которому данный воспринимающий подготовлен своим личным (в том числе социальным и языковым) опытом или не вызывает никакого действия. Лексикограф не может рассчитывать на интуицию пользующегося словарем ни тогда, когда значение слова толкуется через некоторый естественный текст, т. е. через реальные синтагмы, в которые входит это слово, ни тогда, когда значение толкуется через сумму таких специально подобранных естественных текстов. В обоих случаях от воспринимающего остается скрытым как раз то, что для него при чтении словаря, по-видимому, важнее всего — правило, в соответствии с которым данное конкретное слово входит и может входить в сочетание с другими словами в тексте ¹⁶.

Это относится прежде всего, конечно, к читателю-иностранцу, который хочет найти в русском толковом словаре ответ на вопрос, как следует употреблять то или иное русское слово «в соответствии с его значением». Но и носитель языка оказывается не способным четко сформулировать для себя такое правило ни на основе примеров конкретных синтагм, куда входит это слово, или их совокупностей — парадигм [28], ни даже на основе фактического (но интуитивного, неосознанного) владения таким правилом, позволяющим носителю языка практически строить конкретные высказывания.

Это последнее обстоятельство необходимо разъяснить. То, что инту-

¹⁶ Интересно сопоставить с тем, о чем здесь говорится, следующее высказывание А. И. Герцена: «Слова не до такой степени вбирают в себя все содержание мысли, весь ход достижения, чтоб в сжатом состоянии конечного вывода навязывать каждому истинный и верный смысл свой; до него надобно дойти; процесс развития снят, скрыт в конечном выводе...; это своего рода заглавие, поставленное в конце: оно в своем отчуждении от целого организма бесполезно или вредно. Что пользы человеку, не знающему алгебры, в уравнении какой-нибудь ливии, несмотря на то, что в этом уравнении все есть: и ее закон, и построение, и все возможные случаи; но они есть только для того, кто знает, как вообще составляются уравнения, — словом, для человека, которому скрытый в формуле путь известен, которому каждый знак напоминает известный порядок понятий... Есть случай, в котором можно допустить употребление результатов без пояснения их смысла, — именно, когда предшествует достоверность, что под одними и теми же словами разумеются одни и те же понятия, что есть общепринятое, вперед идущее, которое свяжет говорящего и слушающего... Всего чаще говорящий во имя науки мечтает, что весь процесс, который для него явно скрывается за формальным выражением, известен слушающему и идет далее, в то время, как у каждого идут вперед или личные мнения, или поверья, и высказанное слово будит в нем не умственную самостоятельность, а именно эти косные и обветшалые предрассудки» [29].

итивное владение некоторыми принципами оперирования словом не тождественно сознательному (и подлинно научному) владению такими принципами, вряд ли нуждается в особом доказательстве. Однако сам факт расхождения интуитивного и сознательного подхода к слову и характер этого расхождения в каждом конкретном случае выявить далеко не просто.

Вопрос, который при сравнении интуитивного и научного подхода к слову напрашивается сам собой, можно было бы сформулировать следующим образом: нужно ли, когда речь идет о значении, разделять **з н а н и е** значения слова и **у п о т р е б л е н и е** слова в соответствии с его значением? Не связано ли то и другое чем-то единым?

Сама языковая практика свидетельствует о том, что для такого вопроса имеются основания. В самом деле, если кто-то употребляет слово во всех случаях в соответствии с его значением, т. е. с определенной точки зрения правильно, то не говорит ли это нам о том, что данный человек **з н а е т** значение слова, **в л а д е е т** им, хотя на вопрос, **к а к о в о** это значение, такой человек может не дать правильного ответа?

Видимо, владение значением слова нельзя отождествлять с умением описать это значение. Значение, как мы уже говорили, не тождественно какому-либо словесному его описанию. Задачей лексикографа является в связи с этим не описание значения слова через какие-либо эквивалентные этому слову выражения, тем более — не какое-либо конструирование значения из элементарных семантических «компонентов», а выявление того **п р и н ц и п а** владения словом, который позволяет носителю языка правильно употреблять слово и который существует независимо от лексикографа и лексикографии. Задачи лексикографии от этого не делаются менее значительными: выявляя значение слова, мы превращаем действующий независимо от нашей воли и неосознаваемый нами принцип в осознанный **м е т о д**, который может быть использован, например, в практике преподавания языка иностранцам.

То, что позволяет нам говорить о значении слова как о действующем принципе, который может быть превращен — при его осознании — в действующий метод, находит свое объяснение в следующем понимании значения: значение слова — это **п р а в и л о** оперирования словом, которое именно в этом оперировании и находит свое выражение и экспликацию. Понятно, что правильно оперируя словом, мы тем не менее можем не осознавать самого правила, лежащего в основе такого оперирования, тем более — правило не обнаруживается само собой в **п р о д у к т а х** такого оперирования, т. е. в реальных и вполне «наглядных» (воспринимаемых органами чувств) синтагмах и даже в их совокупностях — парадигмах: сколько бы мы ни приводили примеров употребления слова, значение его (правило оперирования словом) от такого иллюстрирования не станет вполне очевидным, если мы при этом не сформулируем самого принципа составления синтагм с участием данного слова.

Здесь, однако, возникает еще один вопрос — вопрос о рамках действия семантических (собственно языковых) правил и, следовательно, о том, где кончается действие этих правил и начинается действие правил логических (понятийных), а значит, и собственно мыслительное отражение действительности, которое лишь косвенно отражается в свою очередь в языке, и, в частности, в жизни слова.

Интуиция не отделяет собственно языкового и внеязыкового, а лингвист, и особенно лингвист, преподающий язык иностранцам, должен уметь это делать. Профессиональные интересы такого лингвиста требуют от него владения методикой, позволяющей «семантизировать» и классифицировать слова, не смешивая при этом их собственно семантических свойств со свойствами, которые не имеют прямого отношения к языковой семантике.

Покажем на конкретном примере, как взаимодействуют при конструировании синтагм правила двух видов — правила языковые и правила логические и, следовательно, где кончается область языковой семантики и начинается область собственно мыслительная.

Глаголы *способствовать* и *препятствовать* интуитивно воспринимаются как антонимичные (см. данные словарей). Вместе с тем эти глаголы имеют одинаковые синтаксические валентности:

способствовать
препятствовать

кто? что? (им. п.) — субъект действия
кому? чему? (дат. п.) — объект действия
чем? (тв. п.) — средство воздействия.

Анализ сочетаемости глаголов *способствовать* и *препятствовать* (т. е. правил оперирования ими) показывает, что комбинаторные свойства (набор синтаксических позиций и их лексическое заполнение¹⁷) этих глаголов совпадают. Это значит, что в любом предложении эти глаголы могут быть взаимно заменены: *Необходимо всеми силами способствовать (препятствовать) реализации замысла; Этот человек способствует (препятствует) вашему успеху.*

Однако среди предложений имеются и такие, в которых, на первый взгляд, нельзя осуществить замену глагола *способствовать* на глагол *препятствовать*: *Книги способствуют распространению знаний; Комплексная автоматизация цехов способствует повышению производительности труда; Радость способствовала ее выздоровлению и т. п.*

Здесь мы, по-видимому, и сталкиваемся с влиянием на сочетаемость данных глаголов экстралингвистических факторов, которые «запрещают» комбинации типа *Книги препятствуют распространению знаний* и *Радость препятствовала ее выздоровлению*.

Подобные конструкции и с тем и с другим глаголом с языковой точки зрения являются абсолютно правильными, и лишь наше знание «предметных» связей, характеризующих некоторые реальные ситуации, может накладывать запрет на сочетаемость. Но предметные отношения не являются раз и навсегда данными: то, что представляется нам истинным в одной ситуации, может быть ложным в другой. Например, предложение *Книги препятствуют распространению знаний*, в языковом отношении правильное вне зависимости от особенностей ситуации, с логической точки зрения может быть или ложным (если учитывать наши традиционные представления о книге как «источнике знаний»), или истинным (если речь идет, например, о пошлой, бессодержательной или религиозной литературе).

Таким образом, становится очевидным, как в данном случае взаимодействуют языковая и внеязыковая «правильности» и как это отражается на сочетаемостных характеристиках глаголов («можно — нельзя в языке» и «можно — нельзя в данной предметной ситуации»).

Анализ правил оперирования глаголами *способствовать* и *препятствовать* выявляет их антонимичность на понятийном уровне и их синонимичность на языковом уровне. Из этого анализа становится ясно, что интуитивная оценка «содержания» этих глаголов совпадает с понятийной их характеристикой и совершенно не учитывает их собственно семантических (языковых) свойств¹⁸. Соответственно не разделяются и способы экспликации понятийного (определение) и языкового (толкование) аспектов поведения слов. Правильная оценка этих двух аспектов содержания слова возможна лишь при экспликации тех «процессов», которые «скрываются за формальными выражениями», т. е. при экспликации «законов» двух типов (языковых и мыслительных), в соответствии с которыми составляются конкретные языковые «формулы» (синтагмы).

Мы привели пример семантического анализа, результаты которого достаточно просты и очевидны. Нельзя сказать, однако, что подобная операциональная процедура вообще сводится к какому-либо раз и навсегда принятому шаблону и всегда приводит к вполне однозначным результатам.

¹⁷ Анализ закономерностей лексического заполнения синтаксических позиций очень важен для семантической характеристики каждого конкретного слова. Мы касаемся этого вопроса при анализе семантики глаголов *способствовать* и *препятствовать* лишь в самом общем виде только из-за ограниченного размера статьи.

¹⁸ Анализ глаголов *способствовать* и *препятствовать* заимствован нами из неопубликованной статьи Т. Я. Зотовой с любезного разрешения автора.

Граница между семантическими (языковыми) и логическими (понятийными) закономерностями далеко не всегда может быть определена с полной четкостью. То же можно сказать относительно границы между так называемой лексической семантикой и семантикой грамматической. В этом нет ничего удивительного: оперирование словом подчиняется многим закономерностям, которые перекрещиваются и накладываются друг на друга.

Важно не столько абсолютно жесткое разделение трех указанных сфер (такое разделение объективно невозможно), сколько правильное понимание сути явлений. Такое понимание дает, например, преподавателю методические приемы, позволяющие обнаружить и показать действительную семантическую специфику изучаемого языка, а также (что не менее важно) специфику взаимодействия языкового и внеязыкового (собственно мыслительного), которая для данного конкретного языка может быть правильно определена только в том случае, если правильно понята его собственная специфика. Только на этой основе — на основе правильного понимания закономерностей взаимодействия языкового и внеязыкового (а отнюдь не на основе их смешения) — возможно истинное осознание культурно-исторической роли слова каждого языка. Только на этой основе лексикограф может строить «мосты взаимопонимания» между людьми.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дорошевский В. Элементы лексикологии и семиотики. М., 1973.
2. Дюбуа Ж., Дюбуа К. Педагогическая речь словаря.— В кн.: Актуальные проблемы учебной лексикографии. М., 1977.
3. Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 1. М., 1970, с. 98.
4. Сэв Л. Современная французская философия. Исторический очерк от 1789 г. до наших дней. М., 1968, с. 93.
5. Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972.
6. Омельяновский М. Э. Дialeктика революций в физической науке и фундаментальные идеи ее основных теорий.— ВФ, 1978, № 9.
7. Энгельс Ф. Анти-Дюринг.— Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 84.
8. Даль В. Научное слово.— В кн.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. т. 1. М., 1978, с. XV.
9. Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии.— В кн.: Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
10. Даль В. О русском слове.— В кн.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1978, с. XXXVIII.
11. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М., 1974.
12. Котелова Н. З. Значение слова и его сочетаемость (к формализации в языковедении). Л., 1975.
13. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966, с. 273.
14. Шрейдер Ю. А. Равенство, сходство, порядок. М., 1971.
15. Степанов Н. И. Дialeктика взаимоотношений эксперимента, модели и теории в современном естествознании.— ВФ, 1977, № 2, с. 166.
16. Степанов Н. И. Концепция элементарности в научном познании. М., 1976.
17. Кузнецов Б. Г. История философии для физиков и математиков. М., 1974, с. 242—243.
18. Войшевцло Е. К. Понятие. М., 1967, с. 110.
19. Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977, с. 142.
20. Щеглов Ю. К. Две группы слов русского языка.— Бюл. «Машинный перевод и прикладная лингвистика». Вып. 8, 1964, с. 54.
21. Кацнельсон С. Д. Содержание слова, значение и обозначение. М.—Л., 1965.
22. Горский Д. П. Определение. М., 1974, с. 5.
23. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. М., 1975, с. 409.
24. Ленин В. И. Философские тетради.— Полн. собр. соч., т. 29, с. 329.
25. Хилл Т. И. Современные теории познания. М., 1965, с. 471.
26. Хэпл Э. Словарь американской лингвистической терминологии. М., 1964, с. 6.
27. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М., 1974, с. 348.
28. Правдин М. Н. К вопросу о формах презентации языка в учебнике (Синтаксика и парадигматика).— В кн.: Проблемы учебника русского языка как иностранного. Синтаксис. М., 1980.
29. Герцен А. И. Письма об изучении природы. Письмо второе. Наука и природа — феноменология мышления.— В кн.: Герцен А. И. Избранные философские произведения. М., 1948, с. 123—124.

ХОДОРКОВСКАЯ Б. Б.

**К ПРОБЛЕМЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО СИГМАТИЧЕСКОГО
АОРИСТА**

(Вопросы семантики)

За последние два десятилетия в лингвистике появился ряд работ, в которых были пересмотрены многие основные положения индоевропеистики о морфологическом статусе и семантике сигматического аориста (далее — сигм. аорист). К. Уоткинсу [1] принадлежит заслуга первому показать, что сигм. аорист связан по происхождению с медиальным залогом и на древнейшей ступени развития характеризовался полной ступенью корневого вокализма. Ф. Бадер [2] в работе, посвященной флексии сигм. аориста, доказывает, что в сигм. аористе обнаруживаются следы смены флексии от наиболее древней медиальной (3-е л. ед. ч. *-e, 3-е л. мн. ч. *-r...) к полуактивной (3-е л. ед. ч. *-e, 3-е л. мн. ч. *-nt) и, наконец, к полностью активной.

Параллельно с изучением формальной структуры исследовалась также семантика сигм. аориста. К. Уоткинс, опираясь на формальную характеристику, считал, что значение сигм. аориста было медиопассивным или интранзитивным в противоположность несигматическому аористу, имеющему транзитивное значение [1, с. 62—71]. Но Г. Кёлльн [3] на материале древнегреческого и балто-славянских языков показал, что именно корневой аорист обнаруживает семантическую близость с медиум, сигматический же аорист в оппозиции к корневому аористу имеет транзитивное или, точнее, эффе́ктивное значение. Ф. Адрадос [4, с. 103] тоже утверждает, что -s- в индоевропейском не служит маркером интранзитивности; с этим положением соглашается и Ф. Бадер, отмечая, что древнейшей медиальной флексии сигм. аориста не было свойственно медиальное значение [2, с. 34].

Сигм. аорист, подобно другим морфологическим типам аориста, традиционно считается членом системы «презенс : аорист», которая представляет собой морфологически первичную систему видов, выражаемых основами презенса и аориста. Но Е. Курилович [5, с. 53—57, 75—80] в своей последней книге дал новую модель иерархии основных категорий глагола: 1) категория предшествования, 2) категория времени, 3) категория вида, которая подчинена обоим другим категориям. Древнейшим морфологическим средством выражения категории предшествования он считает и.-е. аорист. Формальным экспонентом и.-е. аориста Е. Курилович признает суффикс -s- в сочетании с определенным вокализмом. Он отделяет, таким образом, сигм. аорист от других морфологических типов аориста, которые, по его убеждению, лишь по функции являются аористом, но генетически представляют собой имперфект. Курилович принимает тезис о генетической связи сигм. аориста с медиум, указывая, что относительная хронология (сигм. аорист медиопассива, затем активного залога) подтверждается апофонией, т. е. соотношением, характерное для сигм. аориста — в активе ступень врddхи, в медиопассиве нулевая ступень вокализма — является нарушением обычной для презенса оппозиции. Это доказывает вторичность парадигмы сигм. аориста в активе и тем самым противоречит традиционной теории, которая считает сигм. аорист претеритом сигм. презенса.

Таким образом, в современной лингвистике имеются весьма различные теории происхождения и древнейшей семантики и.-е. сигм. аори-

ста. Думается, что при исследовании сигм. аориста следует обращаться не только к тем языкам, где имеется категория аориста, включающая и сигм. аорист, но также к тем, где объединения разных морфологических образований в одну категорию «аорист» не произошло, но следы сигм. аориста сохранились. К числу таких языков относится латинский.

Традиционно считается, что в латинском языке сигм. аорист после слияния с перфектом, имевшего место в доистории латинского языка, представлен лишь основами (перфект на *-s-*), флексия же взята от перфекта. Особенность перфекта на *-s-* состоит в том, что он в отличие от сигм. аориста в других и.-е. языках образуется только от первичных глаголов с консонантным в исходе корнем [6, с. 591]. Иное решение предлагает Ф. Бадер [2, с. 36], считая, что по отношению к латинскому языку можно говорить только о слиянии значений сигм. аориста и перфекта. Что же касается флексии, то в латинском перфекте объединены две парадигмы — перфекта и сигм. аориста, имевших генетически одни и те же медиальные окончания: в 3-м л. ед. ч. **-e* и в 3-м л. мн. ч. **-r...*

Помимо перфекта на *-s-*, многие лингвисты связывают с и.-е. сигм. аористом латинские архаические формы типа *faxō, faxim*, видя в них по происхождению конъюнктив и оптатив сигм. аориста. Соответственно в употреблении этих форм выделяют две зоны: 1) употребление при выражении условия (формы на *-sō, -sis*, восходящие к конъюнктиву сигм. аориста); 2) употребление при выражении запрещения типа *nē dixis* и пожелания, где функционируют формы на *-sim, -sis*, генетически являющиеся оптативом сигм. аориста [6, с. 621]. Известно и другое объяснение морфологического типа *faxō, capsō*, принадлежащее французской лингвистической школе, согласно которому он восходит к и.-е. деизидеративу, морфологически характеризующемуся суффиксом **-s^o/o-*. Поскольку в латыни эти формы функционировали в значении будущего времени, то на их основе возникли вторичные образования — конъюнктив типа *faxim, ausim* [7, 9, с. 296]. Таким образом, и эта теория предполагает две парадигмы латинских сигматических форм: на *-sō, -sis* и на *-sim, -sis*. При всем различии этих теорий у них есть одно общее слабое место, так как ни той, ни другой теорией не был дан удовлетворительный ответ на вопрос, поставленный К. Бругманном [8, с. 529]: почему в обеих парадигмах в 3-м л. мн. ч. так рано утвердилось окончание оптатива *-int*, например, *faxint, amassint*, но не было **faxunt, *amassunt*. Бругманн подчеркивает, что при объяснении нельзя исходить из сокращения *i* в конечном слове (*-it > -it*), что могло бы повлечь за собой утрату различия и в 3-м л. мн. ч., т. к. у Плавта в 3-м л. ед. ч. еще сохранялось *-it*.

Помимо перечисленных типов сигматических образований, в ранне-латинских текстах встречаются отдельные сигматические формы глагола, которые могут рассматриваться как следы того состояния языка, когда сигм. аорист еще был самостоятельной категорией. Таковыми можно считать некоторые формы перфекта на *-s-*, употреблявшиеся в ранних текстах параллельно с формами корневого перфекта. Вот список этих форм: *perpercī* и *parsī* (*parcere* «щадить») у Плавта; *momordī* и *praemorsisset* (*mordēre* «кусать») у Плавта; *clēpit* (Пакувий) и *clepsī* (*clepere* «красть»); *surrēgit* и *surrēxit* (*surgere* «поднимать») у Ливия Андроника; *pepigī* и *pālxit* (Эний) (*pangere* «укреплять»). Что некоторые из этих сигматических форм могли восходить к и.-е. сигм. аористу, предполагал Ф. Зоммер [9, с. 569]. Иначе оценивает эти факты М. Лойманн, видя в сигматическом перфекте новообразование, возникшее уже на ранней ступени развития латинского языка [6, с. 605]. Против этого утверждения говорит, однако, тот факт, что у некоторых глаголов в ранней латыни сохраняется функциональное различие между сигматическим и корневым перфектом. Как показал А. Магариньос [10], различие между корневым перфектом *perpercī* и сигматическим *parsī* обнаруживается в текстах Плавта в том, что в конструкции с отрицательной частицей *nē* при выражении запрещения использовались глагольные формы только от сигматической основы (*nē parsis, nē parseris*) согласно общей тенденции к устранению корневого перфекта из этой конструкции в доклассической латыни. Если учесть, что в аналогичной про-

гибитивной конструкции с **mē* в ведийском и древнегреческом функционировали формы от основы аориста и особенно часто сигм. аориста, то есть основание видеть в лат. *parsis* также форму сигм. аориста. Различие между корневым перфектом *perperci* и сигматическим *parsi* обнаруживается также в том, что последний характеризуется транзитивностью [например, у Плавта в комедии «Куркулион» (381): *nisi eam (pecuniam) mature parsit* «если вовремя денег не сэкономил», тогда как *perperci* имеет в ранней латыни интранзитивное значение, обозначая состояние субъекта [например, у Теренция в комедии «Адельфы» (561): *venit post insanies, nil reperciit* «потом он вернулся бешеный, беспощадный»]. Различие в значениях форм *parsi* и *perperci* отмечали римские грамматикв. Так, Диомед [11, т. I, с. 368] пишет: «Некоторые грамматикв видят различие в том, что *parsi* обозначает происшедшее однажды (*semel*), а *perperci* и однажды и чаще (*et semel et saepius*)». Значение корневого перфекта описывается с помощью наречия *saepius* «чаще», т. е. указывается, что посредством перфекта выражается более постоянный признак субъекта в отличие от сигматического *parsi*, который служит для выражения одноразового действия. Есть также данные, позволяющие говорить о семантическом отличии редуцированного перфекта *perpigī* от сигматического *panxit* глагола *rangere* «укреплять, вбивать, утверждать договором». По сообщениям римских грамматиков Харисия [11, т. I, с. 257], Диомеда [11, т. I, с. 358], Проба [11, т. IV, с. 38] *perpigī* стоит в одном ряду с такими формами перфекто-презенса, как *ōdī* «ненавижу», *teminī* «помню», *pōvī* «знаю». Сигматическая же форма *panxit*, известная лишь по одному тексту эпитафии Энния [*panxit maxima facta patrum* «утвердил (= воспел) великие деяния отцов»] обозначает завершенное действие в прошлом. Аналогичные формы сигм. аориста и перфекта от того же корня **rāg-* имеются в древнегреческом: ἔκρηξα «укрепил, воткнул» и κέρηξε со значением достигнутого состояния «торчит» (Софокл, Аякс, 806). Сходство не только форм, но и характера семантической корреляции между корневым перфектом и сигматическим образцован в древнегреческом и латинском позволяет видеть в лат. *panxit* древний сигм. аорист, форма которого подверглась изменению под влиянием инфиксального презенса, ставшего центром глагольной системы.

Поскольку число сохранившихся ранних латинских текстов невелико, то в качестве другого источника архаических форм следует использовать латинские глоссы. Собрания глосс древних римских глоссографов не дошли до нас непосредственно, но вошли частично в глоссарий Феста и, как показал В. Линдсей [12, т. IV, с. 7], в отдельные более поздние глоссарии. Среди глосс встречаются сигматические глагольные формы, интерпретация которых дается не традиционно посредством будущего II, но посредством индикатива перфекта или греческого индикатива аориста:

astasent : *statuerunt* [22, с. 24]

devovesent: κατηράσαντο, ἐβλασφήμισαν [12, т. II, с. 17]

caesit : *cecidit* [12, т. III, с. 107]

delisit : *delivit, inquinavit; deliverit, inquinaverit* (codd. Paris. 11529, 11530) [12, т. IV, с. 60]

derupsit : *dispersit* [12, т. IV, с. 59]

contexit : *tetigit, contingit* [12, т. III, с. 112]

faxit : *fecit, faciat* [12, т. I, с. 237]

exempisit : *eripuit* [12, т. I, с. 219]

Следует обратить внимание, что некоторые сигматические словоформы имеют двойную интерпретацию — с помощью индикатива перфекта и будущего II или с помощью индикатива перфекта и презенса индикатива или конъюнктива. Линдсей [12], издавший латинские глоссарии, считал интерпретации сигматических форм посредством индикатива перфекта ошибочными и предлагал исправленное чтение, например: *caesit* : *cecid* <*er*> *it*. Но по отношению к форме *astasent* : *statuerunt* такая конъектура невозможна, и Линдсей помечает ее знаком вопроса. Целесообразно поэтому начать анализ с этой словоформы. На архаичность словоформы указывает написание с интервокальным -s-, не подвергшимся действию закона

ротацизма, что позволяет установить *terminus ante quem* — первая половина IV в. до н. э. Так как словоформа *astasent* интерпретируется посредством формы 3-го л. мн. ч. индикатива перфекта, то она может быть сегментирована на следующие морфемы: *a(d)-sta-s-ent*. Флексия *-s-ent* восходит к и.-е. **-s-nt* (или **-s-ent*) и представляет собой флексию сигм. аориста, точно соответствуя греч. $-\sigma\alpha\upsilon < *s-nt$ (например, ἔδειξεν), др.-инд. $-\text{san}$ (например, *ādhuksan*), ст.-сл. $-\text{se} < *s-nt$ (например, *věse*), венет. $-\text{san} < *s-nt$ (например, *donasan*). Не только окончание, но и структура корневой морфемы словоформы *astasent* ставит ее в ряд древнейших форм сигм. аориста от корня **st^hā-*: поскольку отсутствие редукции гласного *-a* позволяет предположить его долготу, то по всем морфологическим признакам *astasent* (**ad-stā-s-nt*) соответствует авест. *stāṛhat* (**stā-s-nt*) и греч. ἔστησεν (**e-stā-s-nt*). Примечательно также указанное глоссографом значение словоформы *astasent*: *statuerunt* «поставили», при том что лат. *stāre* имеет значение «стоять». Но доказано, что презенс *stāre* в значении состояния «стоять» является италийской инновацией [6, с. 532]. Поэтому возможно, что на более ранней ступени в значении «стою» в латинском функционировал перфект *steti* аналогично греческому перфекту ἔστη-κ-α, мн. ч. ἔστα-μεν и др.-инд. *ta-sthāu*, мн. ч. *ta-sthi-mā*, которым соответствует лат. *ste-ti*, мн. ч. *ste-ti-mus* по своей морфологической структуре. В этом случае сигматическая словоформа *astasent* «поставили» находится в той же каузативной оппозиции к перфекту *steti* «*стою», как греч. ἔστησα «поставил»: ἔστηκα «стою». Следует обратить внимание еще на одну деталь: по сравнению с греч. ἔστησα лат. *astasent* характеризуется наличием префикса *a(d)-*, который, однако, не придает словоформе дополнительного лексического значения, как это имеется у глагола *adstāre* «стоять рядом, присутствовать» в ранней и классической латыни, но имеет, очевидно, синсемантическую функцию, указывая направленность действия на объект и усиливая тем каузативное значение сигматической формы, что следует рассматривать как архаизм. В древнегреческом языке в такой же каузативной оппозиции, как ἔστησα «поставил»: ἔστηκα «стою», находится сигм. аорист и перфект еще ряда глаголов; вот несколько примеров из языка Гомера: ἀλέσα «убил»: ἀλώα «я погиб», πείσε «убедил»: πέποιθα «доверяю», ἔφρσε «вырастил»: ἐφράσει «являются по природе». О том, что каузативное значение и более общее транзитивное значение могло быть древнейшим значением сигм. аориста, по которому он был противопоставлен интранзитивному перфекту состояния, позволяет думать также отмеченный И. Шмидтом [13, с. 323] факт исчезновения у некоторых гомеровских сигм. аористов более древнего каузативного значения, которое под влиянием однокорневого асимматического аориста заменялось чисто претеритальным значением, например, в «Илиаде» XI, 756 находим: βήσαμεν ἵππους τпустили (= заставили идти) лошадей»; XVI, 810 φῶτασ... βῆσεν ἄφ' ἵππων «заставил мужей сойти с колесницы», но в дальнейшем ἐβῆσαν «они шли» как ἐβαν. О том, что каузативное значение было свойственно сигм. аористу, свидетельствует также тохарский язык, где претерит с суффиксом *-s-* (3-й класс претерита) и с суффиксом *-ss-* (4-й класс) образовывался главным образом от каузативов.

Возвращаясь к глоссе *astasent*: *statuerunt*, можно сказать, что по своей морфологической структуре и по значению словоформа *astasent* представляет собой архаичную форму сигм. аориста от и.-е. корня **st^hā-*. Она свидетельствует, что на более древнем этапе истории в латинском языке сигм. аорист был самостоятельной морфологической категорией с особой флексией в 3-м л. мн. ч. *-s-ent*, отличной от флексии перфекта *-ēre*. Очевидно также, что ограничения в образовании сигматических основ консонантными корнями, которые известны в классической латыни, на этом этапе не было.

Помимо глоссы *astasent*, известна еще одна сигматическая форма глагола с тем же окончанием 3-го л. мн. ч. *-ent*. Это форма *ambissent*, стоящая в тексте рядом с формой 3-го л. ед. ч. *ambisset* в прологе комедии Плавта «Амфитрион» (стихи 69 и 71). Обе формы употреблены в тексте «закона Юпитера», построенного по образцу древнеримских законов: в нескольких

следующих одно за другим условных предложениях сказуемые выражены сначала формой будущего II (*siquoi... uiderint* «если увидят»), затем сигматическими формами (*siue qui ambissent palmam historionibus... seu qui ipse ambisset*) «если кто станет добиваться награды актерам... сам ли станет добиваться». Ср. построение текста закона 287 г. до н. э. *lex Aquelia de damno*. Так как у Плавта в условных предложениях широко используются формы на *-sō*, *-sis...* (например, Плавт, «Пуниец» 27: *si... curassint*), то обе словоформы относятся в исторических грамматиках к их числу [6, с. 624; 9, с. 585] и исправляют на *ambissint*, *-it*. Но поскольку все плавтовские рукописи дают здесь единственное чтение *ambissent*, *ambisset*, то в издании Плавта Линдсеем сохранено это написание. Однако ни при одном принятом этимологическом истолковании форм на *-sō*, *-sim* окончание 3-го л. мн. ч. *-s-ent* невозможно. Сравнение со словоформой *astasent* позволяет думать, что *ambissent*, *ambisset* представляют собой архаичные формы сигм. аориста. Словоформу *ambissent* можно расчленить на следующие морфемы: префикс *amb-* (и.-е. **ambhi-* «с обеих сторон»), корневая морфема *-i-* (и.-е. **ei-/i-* «идти») и флексия сигм. аориста *-ss-ent*, где двойное *-ss-* в эпоху Плавта могло быть графическим знаком интервокального глухого *-s-* [6, с. 624; 7, с. 53]. Таким образом, по морфологической структуре словоформа *ambissent* сходна с *astasent*. Но сходство их более глубокое и касается не только формальной структуры, но и характера семантической корреляции сигматической формы и перфекта. Как отметил Ф. Зоммер [14, с. 68], перфект глагола «идти» *ī* в доклассической латыни функционировал еще в значении перфекта-презенса, а не исторического перфекта (ср. Плавт, Вакхиды 346: *ubi nunc est ergo meu' Mnesilochus filius? — deos atque amicos iit salutatum ad forum*. «Где сейчас мой сын Мнесилох?» — «Он ушел на форум приветствовать богов и друзей, где перфект *iit* обозначает достигнутое состояние «ушел = его нет»). В парадигматической оппозиции к этому перфекту состояния *ī* находится сигматическое образование с транзитивным значением *ambissent palmam* «обhajивать кого-то, выhajивать награду».

Следует отметить, что не только латинский перфект *ī* (**iī-ai*) имеет соответствие в др.-инд. перфекте *iṅāya*, но и словоформа *ambissent* не представляет собой единичного сигматического образования от и.-е. корня **ei-* «идти», поскольку от расширенного варианта того же корня **iā-* в ведийском известен архаичный сигм. аорист *ayāsam*, *ayāsur*. Учитывая доказательства Вяч. Вс. Иванова [15, с. 99—100] о большей архаичности глагольных форм второй серии, образованных от корня **ei-*, к которым относится лат. перфект *ī*, др.-инд. *iṅāya* и т. д., по сравнению с презенсом др.-инд. *ēmi* и соответствующими формами презенса в других и.-е. языках, можно предполагать, что сохранившаяся в ранней латыни оппозиция перфекта состояния *ī* и сигматического образования *ambissent* с транзитивным значением, как и перфекта состояния *steti* и сигм. аориста *astasent* с каузативным значением, отражает очень древнюю семантическую корреляцию членов архаичной системы «перфект: сигм. аорист».

Есть еще одна сигматическая форма 3-го л. мн. ч. с флексией *-ent*. В ранней латыни широко использовалась формула благословения *di monerint meliora atque amentiam averruncassint tuam* «да укажут боги лучшее и отвратят твоё безумие». Такой текст приводит Варрон («Лат. яз.» 7, 102), ссылаясь на Пакувия, и Ноний, ссылаясь на Луцилия. Обе глагольные формы служат выражению пожелания добра в будущем и традиционно объясняются как сигматические образования с флексией оптатива *-int*, ср. также глоссу Плацида [12, т. IV, с. 13] *averruncassint : avellerint vel averterint*.

Однако у Феста [22, с. 520] в этой же формуле, которая тоже дается как цитата из Пакувия (*di monerint meliora atque amentiam averruncassent tuam*), глагол имеет форму *averruncassent* и объясняется глоссографом: *id est avertissent*, т. е. посредством плюсквамперфекта конъюнктива. Но при выражении благословения плюсквамперфект конъюнктива невозможен ни в классической, ни в доклассической латыни; с другой стороны, значение союза *atque* «и к тому же, и также» [16, т. I, с. 76] не допускает

толкования текста таким образом, что один глагол *monerint* обозначает желательное действие в будущем, а другой *averruncassent* относит действие в прошлое. В связи с этим возникает предположение, что в том варианте текста, который дается у Феста, сохранилась более древняя сигматическая форма *averruncassent*, содержащая ту же флексию *-ss-ent*, что и *ambissent*. Известно, что глагол *averruncō* относился к архаичной жреческой лексике [16, т. I, с. 82]. Пакувий же охотно использовал старинные обороты и формы. Спустя еще полтора века эта форма стала интерпретироваться глоссографами посредством плюсквамперфекта конъюнктива по аналогии с «краткими» формами на *-assent*.

Но если словоформы *ambissent* и *averruncassent* имеют одну и ту же флексию *-ss-ent*, хотя по типу употребления — первая встречается в условном предложении, вторая в формуле пожелания — соответственно должны бы принадлежать к разным парадигмам, то это дает основание для гипотезы, что обе парадигмы сигматических форм на *-sō*, *-sis* и на *-sim*, *-sīs* восходят к одной парадигме, где 3-е л. мн. ч. имело флексию *-s-ent*. Следует сказать, что совпадение флексии наблюдается в отдельных случаях и в формах ед. числа. Когда в условном предложении встречаются формы типа *ambisset*, то флексию *-ss-et* объясняют как более раннюю форму конъюнктива сигм. аориста, где гласный еще не подвергся редукции (*-set > -sit*). Но когда формы с флексией *-ses*, *-set* встречаются во второй зоне употребления, где на основе принятой теории происхождения сигматических форм должны бы быть формы опатива на *-sis*, *-sit*, то в рамках этой теории они не объяснимы. Вот эти формы: Плавт, «Клад» 608 *caue... indicasses* «остерегись показать», где *indicasses* — форма Амброзианского палимпсеста III—IV вв., более же поздний Ватиканский кодекс содержит форму *indicassis*; Цецилий 139 *ne... limasses* «не целуйся»; Турпилий 112 *ne... limasset*. Конечно, формы на *-ses*, *-set* в конструкции с *nē* единичны, преобладают формы на *-sis*, *-sit*, но и среди них нет единообразия, т. к. встречаются формы с долгим *-ī-* и, вопреки правилу, с кратким *-i-*. Это смешение разных флексий можно интерпретировать таким образом, что в основе двух парадигм сигматических форм лежала одна парадигма, в которой формы 2-го и 3-го лица ед. ч. имели флексию *-s-es*, *-s-et* и 3-го л. мн. ч. *-s-ent*. Но это — парадигма и.-е. сигм. аориста с полуактивной флексией [2], где окончания 2-го и 3-го лица ед. ч. восходят к общему медиальному окончанию **-e*, а 3-е л. мн. ч. имеет активное окончание **-nt*.

Итак, с одной стороны, глоссы, где сигматические формы типа *astasent*, *caesit* интерпретируются посредством индикатива перфекта, с другой стороны, отдельные сигматические словоформы в литературных текстах доклассического периода, принадлежащие по типу функционирования к парадигмам на *-sō*, *-sis* или на *-sim*, *-sīs*, но имеющие флексию сигм. аориста *-ses*, *-set*, *-sent*, заставляют заново поставить вопрос о происхождении этих форм — не восходят ли они генетически к и.-е. сигм. аористу. Решение этого вопроса целесообразно начать с исследования сигматических форм в плане содержания, т. к. первое, что по всей видимости противоречит гипотезе происхождения их из сигм. аориста, это — неаористическое их значение (если понимать аорист как претерит), поскольку в языке Плавта, где сигматические формы особенно широко представлены, они функционируют преимущественно в значении будущего II.

Исследованию функций латинских форм типа *faxō*, *-im*, *amassō*, *-im* посвящены работы двух французских ученых Э. Бенвениста [7] и Ф. Тома [17]. В основе этих работ, отличающихся различными теоретическими установками их авторов, лежит анализ функционирования сигматических форм главным образом в текстах Плавта. Э. Бенвенист отмечает как особенность этих форм то, что они не имеют истории, поскольку засвидетельствованы почти только у одного Плавта. Более ранние латинские тексты редки и фрагментарны, а в более поздних текстах их уже нет [7, с. 38]. Действительно, тексты архаического, доплавтовского периода невелики по объему и разрознены, это — несколько коротких надписей, фрагменты сакральных текстов и древнейших римских законов: законов XII таблиц, кодификация которых относится к середине V в. до н. э., и царских зако-

нов. Тексты эти дошли до нас в виде цитат у античных авторов и грамматиков. Поскольку в текстах законов встречаются сигматические глагольные формы, то исследование особенностей их функционирования в архаических текстах и сравнение с нормой их употребления у Плавта могло бы выявить историю этих форм. Что касается сохранности текста этих законов, то следует учитывать, что текст законов XII таблиц считался в древнем Риме сакральным. Тем не менее исследования показали, что язык законов подвергался модернизации, изменившей особенно сильно фонетический облик слов [18, с. 124—128]. Но синтаксические структуры сохранились, и анализ функционирования отдельных классов форм возможен.

Следует еще отметить, что нередко один и тот же текст закона цитируется несколькими авторами, причем иногда с разночтением, что позволяет выявить более древние формы. Понять содержание текста и отдельных форм часто помогают позднейшие интерпретации законов XII таблиц, особенно те, которые давались римскими юристами, Гаем, Ульпианом и др., и с другой стороны, глоссографами.

Сигматические формы глагола в текстах древнейших законов встречаются в формах 3-го л. ед. ч. (единственная форма 3-го л. мн. ч. *delapidasint* представляет собой конъектуру) в придаточных условных предложениях и в семантически близких им придаточных определительных с *qui* «который» и с союзом *uti... ita* «как...так». Особое внимание привлекают те случаи, когда в тексте одного закона или нескольких следующих один за другим частных законов чередуются перфект индикатива и сигматические формы. Вот тексты нескольких законов VIII таблицы, посвященных частным правонарушениям: VIII, 2: *si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto* «если нанес увечье, если не договаривается с ним (= пострадавшим), то пусть будет талион» (т. е. «око за око»); VIII, 3: *manu fustive si os fregit libero CCC, si servo CL poenam subito* «если переломил кость рукой или дубинкой, то должен уплатить штраф в 300 сестерциев свободному, 150 рабу»; VIII, 4: *si iniuriam faxsit, viginti quinque poenae sunt* «если нанес легкое физическое повреждение, то пусть будет штраф в 25 сестерциев». В тексте этих законов, построенных синтаксически совершенно одинаково, употребляются перфект индикатива и сигматическая форма без всякого различия в функции. Об эквивалентности их функций свидетельствует также разночтение, касающееся формы глагола в условном предложении, в тексте закона VIII, 2: у Феста сигматическая форма *rupsit*, у Геллия и Присциана перфект индикатива *rupit*. Очевидно, что сигматические формы, как и индикатив перфекта, употреблялись в законах XII таблиц в индикативной функции. Следует отметить, что юрист Гай («Институции», III, 223), разъясняя смысл этих положений, в комментариях к закону VIII, 3 (*si os fregit*) использует на месте индикатива перфекта архаичного текста плюсквамперфект индикатива (*si... os fractum erat*), т. е. форму, выражавшую предшествование одного действия другому в плане прошедшего времени. Вероятно, близкая по характеру функция была у индикатива перфекта и у сигматических форм, поскольку в законах XII таблиц, как и в более поздних законах республиканского Рима, плюсквамперфект индикатива никогда не употреблялся. Параллельное употребление сигматической формы и перфекта индикатива в одном условном предложении имеется в XII, 2: *si servus furtum faxit noxiamve nocuit* «если раб совершил кражу или причинил ущерб». Таков текст закона, как его передает Ульпиан («Дигесты», IX 4, 2, 1), в современных же изданиях законов XII таблиц принята конъектура *no[x]it*, которая представляется излишней, так как перфект индикатива *nocuit* встречается и в XII таблицах (ср. VIII 6), и в древней правовой формуле *noxam nocuerunt* (Т. Ливий IX, 10). Показательно, что юрист Цельс, передавая содержание этого закона, употребляет только формы перфекта индикатива, заменяя сигматическое *faxit* на *fecit* (*Nam in lege antiqua si servus... furtum fecit*), что может служить подтверждением правильности глоссы *faxit : fecit*. Вот еще несколько примеров употребления сигматических форм в условных предложениях: VIII, 21: *patronus si clienti fraudem faxit* «если патрон обманул клиента»;

VII, 7: *viam muniunto, ni sam delapidassint* «пусть укрепляют дорогу, если камнем ее не замостили»; VIII, 12: *si nox furtum faxsit, si im occisit, iure caesus esto* «если ночью совершил кражу, если его (вора) убили, пусть будет (считается) убитым по закону». Интерпретируя закон VIII 12, Ульпиан («Дигесты» 48, 8, 9) на месте архаической формы *occisit* употребляет будущее II (*furem nocturnum si quis occiderit*), т. е. форму, выражающую предшествование в плане будущего.

Нередко условие передается придаточным определительным предложением: VIII, 8: *qui fruges excantassit* «кто (колдовским пением уворовал урожай»; VIII, 1: *qui malum carmen incantassit* (в некоторых рукописях глагол имеет форму *incantasset*) «кто распевал поносящую песню». Аналогичную сигматическую форму с другим лишь префиксом *occantassit* Фест [22, с. 190] интерпретирует, используя будущее II: *Occantassit antiqui dicebant quod nunc convicium fecerit dicimus*. Цицерон же («О госуд.» 4, 10, 12), излагая содержание закона VIII, 1, замещает сигматическую форму глагола формой плюсквамперфекта конъюнктива: *si quis occantavisset sive carmen condidisset*. Таким образом, оказывается, что одна и та же сигматическая форма из закона XII таблиц интерпретируется либо посредством будущего II, либо плюсквамперфекта, т. е. посредством форм, выражающих предшествование в плане будущего или прошедшего времени. Этот факт интерпретации архаичной формы посредством глагольных форм, относящихся к разным временным сферам, можно объяснить только таким образом, что сигматическая форма не имела вообще временного значения, обозначая предшествующее действие, соотношенное с любым временным планом. Такую же двойную интерпретацию имеют сигматические формы, функционирующие в придаточных предложениях с союзом *uti... ita* «как...так»: V, 3 *uti legassit* [у Гая *legasset* («Институции» II, 224)] *super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto* «как завещал деньги и опеку над своим имуществом, так по закону должно быть»; VI, 1: *cum nexum faciet mancipiumque uti lingua nuncupassit, ita ius esto* «когда будет составлять долговое обязательство или купчую, как устно заявит, так по закону должно быть». Гай («Институции» II, 224) в комментариях к законам XII таблиц, излагая содержание закона V, 3, использует вместо сигматической формы плюсквамперфект: *cavetur, ut quod quisque de re sua testatus esset...* Фест же [22, с. 176] интерпретирует сигматическую форму посредством будущего II: *nuncupassit id est, uti nominarit, locutusve erit*.

Таким образом, ограничение в употреблении сигматических форм в законах XII таблиц придаточными условными предложениями и семантически близкими к ним определительными предложениями, с одной стороны, и интерпретация их посредством форм плюсквамперфекта и будущего II, с другой стороны, показывает, что функция их состояла в выражении действия, предшествующего другому действию без соотношенности с каким-либо определенным временным планом. Отнесенность к сфере будущего — что было характерно для сигматических форм у Плавта — в текстах законов XII таблиц встречается лишь один раз (закон VI, 1) и выявляется контекстуально, поскольку условное предложение синтаксически подчинено придаточному времени (*cum...faciet*). О том, что значение будущего времени не было свойственно сигматическим формам в архаической латыни, свидетельствуют случаи взаимозаменяемости сигматических форм и перфекта индикатива. Но хотя синтаксические функции перфекта индикатива и сигматических форм в условном предложении одинаковы, грамматическое значение их различно, т. к. лат. перфект индикатива является средством выражения завершеного в прошлом действия, сигматические же формы обозначают действие, предшествующее другому, но не отнесенное к определенному времени. В условном предложении сигматические формы, являясь сказуемым придаточной части, находятся в синтаксическом соотношении со сказуемым главного предложения, имеющим постоянно форму императива на *-tō*. Поскольку императив на *-tō* этимологически обозначает действие, которое совершается после другого действия [6, с. 572], то в условном предложении обе глагольные формы, сигматическая и императив на *-tō*, выражают связь двух действий, предшествующего

и последующего, безотносительно к какому-либо определенному временному плану, — чисто анафорическая связь.

Помимо условных предложений, для латинских сигматических форм характерно употребление в конструкции с запретительной частицей *nē* (у Плавта также с *cave* «остерегись»), а также при выражении пожелания, благословения или проклятия. Традиционно считается, что это — сфера употребления форм на *-sim*, *-sis*, генетически являющихся оптативом. Нами уже было отмечено, что в этой сфере встречаются формы с флексией *-ses*, *-set*, *-sent*, как и в условных предложениях. Есть ли общее и в семантике форм, функционирующих в той и другой зоне? При выражении запрещения в доклассической латыни в конструкции с *nē* использовались три глагольные формации с разным значением: (1) императив (тип *nē fac*) — требование прекратить действие; (2) презенс конъюнктива (тип *nē faciās*) — совет не выполнять действие; (3) сигматическая форма или перфект конъюнктива (тип *nē faxis* и *nē fēceris*) — категорическое запрещение действия, которое кто-то намерен совершить [17, с. 124]. Именно в последнем случае, когда запрещение предотвращает задуманное действие, — так называемый превентивный запрет — функционируют сигматические формы. Например, Плавт, «Привидение», 1094—1097: *ego interim hanc aram occipabo. — ... ne occipassis.. aram* «Я пока займу алтарь». — «... не занимай, прошу я, алтарь». «Хвастливый воин», 1006: *subigit me ut amem. — hercle hanc quidem nihil tu amassis.* «Меня подмывает ее любить». — «Нет, эту не люби». Средством выражения самого запрета, отпора действия является частица *nē*, функция же сигматических форм в превентивном запрете состоит в обозначении действия, предшествующего его исполнению. Следовательно, значение предшествования, свойственное сигматическим формам при употреблении в условных предложениях и при выражении превентивного запрета можно считать категориальным значением этих форм.

Интересный материал в качестве параллели к латинским сигм. формам дает ведийский язык. Как отмечает К. Гоффманн [19, с. 60], при выражении превентивного запрета в ведийском используется аорист инъюнктива в сочетании с *mā*, причем в тех случаях, когда превентивный смысл достаточно ясен, в Ригведе (РВ), чаще в поздней, и Атхарваведе особенно широко представлен сигматический аорист инъюнктива. Например, РВ II 32,2: *mā vi yaubh* «не удаляйся», РВ VIII 30,3: *mā naiṣṭa* «пусть не ведет», РВ VI 47,9: *mā tārit* «да не одолеет он». К. Гоффманн подчеркивает, что нет оснований приписывать инъюнктиву в этом употреблении с *mā* модальный характер [19, с. 103]. Что касается другой области выражения предшествования — придаточных временных и условных предложений, то в ведийском здесь функционирует аорист индикатива особенно часто в соотношении с имперфектом или с презенсом в главном предложении. Примечательно, что и в этой зоне употребления аориста в ведийском имеется тенденция к более широкому использованию сигм. аориста. Гоффманн, объясняя эту функцию аориста его видовым значением, выделяет те случаи, где аорист в придаточном предложении имеет ингрессивное значение, и отмечает, что здесь особенно надежно представлен аорист на *-iṣ-* и на *-s-*. Например, РВ VII 57,1: *pīnvanty ūtsam yād āyāsura ugrāh* «когда они, сильные, отправились в путь, они дают ключу переливаться через край» [19, с. 157]. Судя по материалу, который приводят Дельбрюк [20, с. 239] и Гонда [21, с. 93—102], сигм. аорист в придаточном предложении используется при выражении предшествования и тогда, когда значения ингрессивности нет, например, РВ V 31,3 «поскольку его сила родилась (*ājanīṣṭa*) из силы, Индра обнаружил (*dediṣṭa*) всю свою мощь».

Сходство функций латинских сигматических форм и ведийского сигм. аориста индикатива-инъюнктива не только подтверждает гипотезу о происхождении латинских сигматических форм из сигм. аориста, но показывает, что в архаической латыни их категориальное значение предшествования сохранилось в большей чистоте, чем в ведийском, где сигм. аорист входит в состав общей категории аориста.

В латинских сигматических формах значение предшествования соеди-

нено со значением транзитивности. Из 12 случаев употребления сигматических форм в законах XII таблиц 11 раз они связаны в предложении с прямым дополнением, а в том случае, когда дополнения нет, указание на объект действия заключено в самой основе глагола *nuncupassit* (**nōmo-cap-*) [16, т. II, с. 188]. Со значением транзитивности действия как основным семантическим признаком сигматических форм, возможно, была связана на раннем этапе развития особая конструкция предложения. В архаической латыни в одном из царских законов, так называемом законе Нумы Помпилия, сохранился пример необычного построения предложения. Текст этого закона приводит Фест [22, с. 190]: «*si hominem fulminibus occisit, ne supra genus tollito et alibi homo si fulmine occisus est, ei iusta nulla fieri oportet*». «Если человек убит молнией, не поднимает (его) выше колена» и дальше «Если человек убит молнией, не следует отдавать ему последних почестей». Как показал Э. Швицер [23], второй вариант текста, совпадающий по содержанию с первым вариантом, является позднейшей его интерпретацией и имеет обычную пассивную конструкцию предложения. Необычность синтаксического построения первого текста состоит в том, что в условном предложении, сказуемое которого выражено сигматической формой глагола активного залога (*occisit*), объект действия оформлен аккузативом (*hominem*), субъект же действия инструментальным падежом (*fulminibus*). В сущности это — эргативная конструкция при переходном глаголе. Думается, что существенной характеристикой латинского предложения является то, что его глагол-сказуемое имеет форму сигм. аориста, в котором соединены значения предшествования и транзитивности. Как показывает типология языков эргативного строя [24, с. 75], в ряде языков, например, в картвельских, с эргативностью сопряжена форма прошедшего времени глагола-сказуемого. Поэтому возможно, что в тексте древнего латинского закона имеется как глубокий архаизм эргативное построение предложения, сохранившего также форму глагола-сказуемого, при которой эта конструкция была возможна, — форму сигм. аориста. Подобная форма сигм. аориста сохранилась также в виде глоссы *caesit*: *cecidit* [12, т. III, с. 107]. Наличие в латинском языке архаичной конструкции предложения позволяет предполагать, что противопоставление сигм. аориста и перфекта выявлялось на раннем этапе истории языка не только на уровне морфологии, но и на синтаксическом уровне в различии конструкций предложения — эргативной, отвечающей значению транзитивного действия сигм. аориста, и неэргативной, соответствующей значению состояния субъекта, которое было присуще древнему перфекту.

Следы архаичной системы «перфект : сигматический аорист» сохранились, помимо латинского языка, также в гомеровском языке. На связь сигм. аориста и перфекта, причем чаще перфекта медиального залога, который в большей степени, чем перфект активного залога, сохранял древнее значение состояния, указывает П. Шантрен [25, с. 435]. Ряд глаголов в языке «Илиады» (Ил.) и «Одиссеи» (Од.) Гомера представлен только формами сигм. аориста и перфекта, например, ῥέβαιο (Од. I, 62) «рассердился»: ῥέβαιοται (Од. V, 423) «разгневан, злобствует», презенса нет; ῥόσαν (Ил. XXIV, 637) «сомкнулись (очи)»: μέμυκεν (Ил. XXIV, 420) «закрыты», презенса ῥόω появился только в аттическом языке [25, с. 410]; ῥάσσατε (Од. XX, 150) «обагрите (кровью козры)»: ῥράδαται (Ил. XII, 431) «обагрены»; πεάσασ (Ил. XIV, 495) «простерев (руки)»: πέπταται (Од. VI, 45) «простирается (небо)»; παάμην (Ил. XXI, 76) «вкусил»: οὐ πεάσμην (Ил. XXIV, 642) «не был в состоянии сытости».

Есть основания думать, что в древнейшем периоде ведийского языка, зафиксированном в Ригведе, сохранилось у некоторых глаголов соотношение форм, которое тоже свидетельствует об архаичной системе «перфект : сигматический аорист», основанной на оппозиции значений «состояние субъекта» : «действие как причина этого состояния» или «интранзитивность» : «транзитивность». Так у глагола от корня *kan*¹ — «радоваться», личные формы которого представлены только в Ригведе [26, с. 94] и имеют лишь формы перфекта и сигм. аориста, перфект *sākana* имеет значение «я радуюсь, мне нравится» (РВ I 120, 10), а сигм. аорист

конъюнктива *kāniṣas* (РВ III 28, 5) «заставь себя радоваться, сделай, чтобы нравилось» [27, т. II, с. 51: «sich etwas belieben lassen»]. В такой же оппозиции находится перфект и сигм. аорист глагола от корня *bhī-* «бояться»: перфект *bibhāya* «боятся»: сигм. аорист *ābhaiṣma* (РВ VIII, 47, 18) «мы испугались» в придаточном относительном предложении «(плохой сон), которого (букв. от которого) мы испугались», т. е. который заставил нас бояться. Как отмечает Б. Дельбрюк [20, с. 19], в Ригведе нет презенса индикатива со значением «бояться», в этом значении употребляется перфект, презенс же *bibhēti* «боятся» впервые появляется в Атхарваведе. Таким образом, для Ригvedы характерно соотношение перфекта *bibhāya* «боятся» и сигм. аориста *ābhaiṣma* «мы испугались». От корня *cit-* «наблюдать, замечать» перфект часто функционирует в Ригведе в значении состояния, так, *cikēta* (РВ II 14, 10) «я знаю», сигм. аорист *acait* (РВ VI 44, 7) имеет значение «узнал», тогда как презенс *cetati* имеет значение «наблюдает» (РВ VII 46,2) и пассивный аорист *āceti* (РВ I 139, 4) «стал заметен». Поэтому можно предполагать, что перфект *cikēta* «знаю»: сигм. аорист *acait* «узнал» были членами некогда автономной системы, не зависящей от презенса. От корня *dy-/dṛ-* «разрывать, раскалывать» в Ригведе представлен помимо императива почти один перфект *dadāra* в интранзитивном значении «развалился, рассыпался (о войске)» (РВ VI 27, 4) и сигм. аорист, полностью исчезнувший после Ригvedы, со значением транзитивным, например, конъюнктив *darsat* (РВ IX 74, 7) «пусть разорвет».

Таким образом, семантические соотношения между перфектом и сигм. аористом, обнаруживаемые у некоторых архаичных глаголов гомеровского и ведийского языка, подтверждают материал древнейшей латыни и позволяют предполагать для ранней ступени этих языков такое состояние, когда сигм. аорист относился в отличие от асимметричного аориста не к системе «презенс : аорист», но к системе «перфект : сигм. аорист».

Последующее развитие значений перфекта и сигм. аориста привело к их слиянию в латинском языке еще в дописьменный период, что не могло не сказаться на семантике оставшихся сигматических форм, у которых стали превалировать модальные значения. Этот сдвиг в семантике был простым: от отрицательного значения запрещения, которое выражалось сигматическими формами в сочетании с *nē*, к положительным опативным значениям, в которых часто функционируют сигматические формы у Плавта при выражении желания, просьбы, благословения. На естественность такого семантического развития указывал Б. Дельбрюк [20, с. 373]. Этим сдвигом в семантике объясняется изменение флексии сигматических форм, при котором окончание 3-го л. мн. ч. *-s-ent* сигм. аориста было вытеснено окончанием опатива *-s-int*, в ед. ч. окончания 2-го л. *-ses* и 3-го л. *-set* изменились около 300 г. до н. э. из-за редукции гласных в *-sīs*, *-sīt*, наряду с которыми использовались также окончания опатива *-sīs*, *-sīt* без строго разграничения зон употребления.

Основным аргументом, подтверждающим теорию происхождения латинских сигматических форм из конъюнктива и опатива сигм. аориста, М. Лойман [6, с. 621] считает наличие в 1-м л. ед. ч. парных образований на *-sō* и *-sim*. Но в латыни реально имеется лишь одна такая пара форм: *faxō*, *faxim*. Все остальные парные образования, которые приводятся в грамматиках, представляют собой реконструкции: так, на основе имеющейся формы 2-го л. ед. ч. *dixis* реконструируется 1-е л. *dixō*, *dixim*, на основе *amassō* — *amassim*. Что же касается единственной засвидетельствованной в текстах пары *faxō*, *faxim*, то по своим семантическим и синтаксическим признакам они заметно отличаются от форм других лиц. Это отмечают и античные грамматиканы, которые считают *faxō* дефектной формой, поскольку она не имеет ни 2-го лица, ни множественного числа [11, т. V, с. 382] и служит для выражения будущего времени или обещания (*promissivum modum*) [11, т. V, с. 436]. Действительно, *faxō* — единственная в парадигме форма, которая употребляется в простом предложении в паратактическом сочетании с будущим или конъюнктивом как средство выражения обещания или угрозы, например, в комедии Плавта «Пуниец» 1191 *omnia faciet Iuppiter faxo* «гарантирую, что Юпитер все сделает». В отличие от

форм других лиц *faxō* не имеет, как правило, в предложении прямого дополнения. Эти же синтаксические признаки характеризуют и словоформу *faxim*, которая, однако, используется в тех случаях, где не подходит *faxō* с его значением категорического утверждения: чаще всего после условного предложения, снижающего степень категоричности, или в контексте отрицательности. Ограничение определенными контекстными условиями сказывается на частотности: в текстах Плавта *faxim* встречается 10 раз, а *faxō* 65 раз. Все это позволяет считать словоформу *faxim* дериватом от *faxō*. Таково было мнение Э. Бенвениста [7, с. 46], считавшего, что *faxim* возникло на основе *faxō* по модели *erb/sim* и транспонировало значение, свойственное *faxō*, в область конъюнктива. Но и форму *faxō* с характерным только для нее «обещательным» значением следует рассматривать как наиболее позднее образование в парадигме сигматических форм, появившееся в результате развития вторичных модальных значений у форм 2-го и 3-го лица. Тем же процессом развития модальных значений, связанных со сферой будущего времени, объясняется то изменение в значении сигматических форм, которое наблюдается при сравнении их употребления в условных и относительных предложениях в законах XII таблиц, где они служат выражению предшествующего действия, не соотношенного ни с каким временным планом, и у Плавта, где в тех же типах придаточных предложений сигматические формы выражают предшествование в сфере будущего времени. Норма употребления сигматических форм у Плавта и его современников оказалась в центре внимания римских грамматиков, которые интерпретируют сигматические формы посредством форм будущего II, более же древнее их значение нашло отражение в немногочисленных архаичных глоссах типа *astasent : statuerunt*, *caesit : cecidit*, где интерпретация дается с помощью форм перфекта индикатива.

Итак, среди латинских сигматических форм выявляется более древний слой форм, сохранивших полуактивную флексию и.-е. сигматического аориста: 2-е л. ед. ч. **-s-e(s)*, 3-е л. ед. ч. **-s-e(t)*, 3-е л. мн. ч. **-s-nt*. Поскольку в латыни не сформировалась категория аориста, объединившая сигм. аорист с древними образованиями претерита, то можно предполагать, что латинские сигматические формы сохранили более древние значения сигм. аориста: это — возникшее в сфере медиа значение каузативности—транзитивности и значение предшествования без соотношенности с каким-либо временным планом. В том и другом значении сигм. аорист противопоставлен перфекту состояния. Поскольку эти семантические соотношения в латыни подтверждаются отчасти древнегреческим, отчасти ведийским материалом, то есть основание считать значение предшествования и значение каузативности—транзитивности специфичными для и.-е. сигм. аориста, соответствующими его полуактивной флексии. Архаичность перфекта состояния в и.-е. языках позволяет считать систему «перфект : сигм. аорист» более ранней, чем система «инфект : перфект» в латинском языке и чем система «презентс : аорист», включающая сигматический аорист, в древнегреческом и индо-иранских языках. Таким образом, специальный семантический статус и.-е. сигматического аориста организуется двойной корреляцией с перфектом по признаку каузативность — транзитивность : интранзитивность и предшествование : достигнутое состояние.

ЛИТЕРАТУРА

1. Watkins C. Indo-European origins of Celtic verb. Dublin, 1962.
2. Bader F. Flexions d'aoristes sigmatiques.— In: Etrennes de septantaine. Travaux de linguistique et de grammaire comparée offerts à M. Lejeune. Paris, 1978.
3. Källin H. Oppositions of voice in Greek, Slavic and Baltic. København, 1969.
4. Adrados F. On Indo-European sigmatic verbal stems.— Arch. ling. 1971, v. 2.
5. Kuryłowicz J. Problemes de linguistique indo-européenne. Wrocław, 1977.
6. Leumann M. Lateinische Laut- und Formenlehre. München, 1977.
7. Benveniste E. Les futurs et subjunctifs sigmatiques du latin archaïque.— BSLP, 1922, v. 22.
8. Brugmann K. Vergleichende Laut- Stammbildungs- und Flexionslehre nebst Lehre vom Gebrauch der Wortformen der indogermanischen Sprachen, Bd. II, Tl. 3, Strassburg, 1916.
9. Sommer F. Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre. Heidelberg, 1914.

10. *Magariños A.* Peperi —parsi.— Emerita, 1939, t. 7.
11. *Grammatici latini ex recensione Keilii H.* Bd. I—VII. Lipsiae, 1855—1872.
12. *Glossaria latina.* V. I — V. Ed. *Lindsay W. M.* et al. Paris, 1926—1931;
13. *Schmidt J.* Die Personalendungen -θα und -σας im Griechischen.— KZ, 1885, Bd. 27.
14. *Sommer F.* Vergleichende Syntax der Schulsprachen. Leipzig, 1921.
15. *Вяч. Вс. Иванов.* Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. М., 1981.
16. *Walde A.*— *Hofmann J.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I — II. Heidelberg, 1938—1954.
17. *Thomas F.* Recherches sur le subjonctif latin. Paris, 1938.
18. *Radke G.* Archaisches Latein. Darmstadt. 1981.
19. *Hoffmann K.* Der Injunktiv im Veda. Heidelberg, 1967.
20. *Delbrück B.* Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. T. 2. Strassburg, 1897.
21. *Gonda J.* The aspectual function of the R̥gvedic present and aorist. 's-Gravenhague, 1962.
22. *Sexti Pompei Festi de verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome.* Ed. *Lindsay W. M.* Lipsiae, 1913.
23. *Schwyzler E.* Die «lex regia». Über den vom Blitze Erschlagenen.— Rheinisches Museum für Philologie, 1927, Bd. 76.
24. *Климов Г. А.* Типология языков активного строя. М., 1977.
25. *Chantraine P.* Grammaire homérique. Paris, 1942.
26. *Narten J.* Die sigmatischen Aoriste im Veda. Wiesbaden, 1964.
27. *Böhtlingk O.*— *Roth R.* Sanskrit-Wörterbuch. Bd. I — VII. Petersburg, 1855—1875.

САХНО С. Л.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ИМЕНОВАНИЕ В ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ

Одной из важных особенностей языка является то, что с его помощью можно именовать практически любые объекты. Действительность окружает человека бесконечным разнообразием предметов, признаков, отношений. Все объекты находятся в постоянном движении, изменении, для них не характерны четкие границы. «Диалектика <...> не знает hard and fast lines (абсолютно резких разграничительных линий. — Ред.)», — писал Ф. Энгельс в «Диалектике природы» [1]. Однако говорящий не оказывается в безвыходном «номинативном тупике». Отсутствие точной номинации компенсируется использованием п р и б л и з и т е л ь н о й н о м и н а ц и и (далее сокращенно ПН), что значительно расширяет номинативные возможности языка. О приблизительной номинации можно говорить тогда, когда при именовании говорящим отдельного элемента внеязыковой ситуации наблюдается некоторая модальная оценка номинации со стороны говорящего: например, говорящий сомневается в достоверности номинации или номинация не нравится говорящему, или же говорящий не хочет нести ответственности за эту номинацию и т. п. Необходимо отметить, что явление приблизительной номинации отличается от лингвистической модальности в ее обычном понимании. Собственно модальность (наклонения, модальные слова типа *кажется, вероятно*) связана с обозначением целых ситуаций (ср.: *Поезд прибывает, кажется, в 8 часов*). Приблизительная номинация связана с обозначением отдельных элементов в ситуации (ср.: *Поезд прибывает около 8 часов*). Приблизительно именуются любые элементы действительности: предметы (*что-то вроде...*), качества (*немного...*), процессы (*почти...: почти приехали*), количества (*примерно...*). Для выражения приблизительности номинаций могут использоваться разнообразные языковые средства: словообразовательные аффиксы (*красноватый*), особые слова приблизительности (*почти*), лексико-синтаксические конструкции (*то, что я назвал бы...*), конструкции со служебными словами (*то ли дождь, то ли снег*), чисто синтаксические средства (например, порядок слов: *человек десять*). ПН весьма частотны в речи и представляют собой важную часть общей номинативной стратегии говорящего (человека) в лингвистическом отображении мира. Вместе с тем эти языковые явления очень мало изучены. В последнее время наблюдается повышение интереса к сходным проблемам — проблемам именованию в языке логики и в языке науки — со стороны логиков и лингвистов логико-семантического направления. При этом можно выделить две основные тенденции. В одной из них в центре внимания оказывается субъект логического суждения. Соответственно обсуждаются такие проблемы, как существование данной единицы и указание на нее. Например, рассматриваются также имена, которые указывают на объекты по свойствам, не принадлежащим объекту, но тем не менее однозначно характеризуют объект — ср. описание *Священная Римская империя*, обозначающее империю, которая, как известно, не была ни Римской, ни священной [2]. В другом случае в центре внимания оказывается предикат логического суждения. Рассматриваются степени истинности расплывчатых предикатов, вводимых словами типа *почти, в некотором роде* и т. п. и делается попытка построения «расплывчатой» логики, близкой к «логике естественного языка» [3]. Как мы видим, такие исследования в целом не выходят за рамки традиционной логической проблематики. Собственно языковые проблемы, связанные с ПН, остаются неизученными. ПН — весьма сложный лингвистический

объект, к изучению которого возможны разные подходы в зависимости от выбираемого аспекта. Например, можно изучать ПН с точки зрения причин приблизительного именованья, с точки зрения внутренней формы слова приблизительности (ср., например, *около ста рублей* и *около дома*) и др. В предлагаемой статье мы рассмотрим наиболее общие закономерности приблизительного именованья на материале русского языка (выбор русского языка связан лишь с техническими, но не принципиальными соображениями): общий статус ПН в языке, проблеме смежных явлений и связь ПН с основными категориями высказывания.

Для общего рассмотрения ПН языка существенно исходить из собственно отношения именованья. Отношение именованья имеет, как известно, трехчленную структуру и включает «говорящего», «объект» и «имя». Соответственно в сфере ПН ясно выделяются три большие группы, три семиологических плана приблизительности. Одна группа ориентирована на объект номинации, на мир; вторая — на носителя языка (говорящего, человека); третья — на имена (язык). Характерно, что в целом это соответствует трем частям семиотики: семантике, прагматике и синтактике. Рассмотрим последовательно эти аспекты ПН.

ПН, ориентированные на объект, характеризуются неполным соответствием имени объекту, ср. *что-то вроде новоселья, почти полный*. Мы будем их называть: ПН группы «объект». ПН этого типа различаются между собой именно по характеру самого объекта номинации. Прежде всего могут быть выделены ПН субстанций, ПН признаков [признаки могут быть процессуальными (действие или состояние) и непроцессуальными (качество или свойство)] [4] и ПН количеств. ПН с у б с т а н ц и й часто вводятся словами с «родо-видовой» и «неопределенной» семантикой: *своего рода, в своем роде, что-то вроде, какой-то* и др. Следует отметить, что между явлениями приблизительности и неопределенности отсутствует четкая граница. Можно считать, что если неопределенность связана с неизвестностью представителя известного класса (*Пришел какой-то мальчик*), то приблизительность связана с неизвестностью самого класса (*Они построили что-то вроде дачи*). Однако это разделение весьма относительно: при уменьшении конкретности имен и с переходом в сферу абстрактных имен неизвестность представителя данного класса легко может переходить в неизвестность самого класса. Родо-видовые отношения в сфере абстрактных имен более условны, чем родо-видовые отношения предметных имен, отражающие таксономию мира. Поэтому могут образовываться номинации переходного (синкретичного) типа со значениями одновременно неопределенности и приблизительности. Ср.: *Он испытывал какой-то страх* (= «страх, но неизвестно какой именно» и «неизвестно, страх ли именно, может быть — что-то вроде страха»). Характерно, что наиболее общие родовые имена предметов — *животное, сооружение, растение* и др. — не могут образовывать ПН по модели *что-то вроде...* (ср. бессмысленность **что-то вроде животного, *что-то вроде сооружения*), но зато могут фигурировать в номинациях синкретичного типа с *какой-то*. Ср.: *В темноте мы увидели какое-то сооружение* (= «неизвестное сооружение» и «возможно, что не сооружение именно, а что-нибудь другое»). Отмеченность таких родовых имен связана, видимо, с тем, что слишком явное их использование для приблизительного именованья могло бы искажать фундаментальные представления говорящих об устройстве мира: ведь такие имена составляют как бы наиболее общую сетку понятий, которую человек «набрасывает» на мир. Кроме того, в сфере ПН субстанций противопоставляются, например, ПН лиц и ПН не-лиц. ПН лиц являются отмеченными, т. е. встречаются относительно редко (оказывается, что мы чаще именуем приблизительно не людей, а неживые предметы, животных и др.) и обычно сопровождаются стилистическими значениями, создавая, например, комический эффект. Ср.: «На четвертое место явилась очень скоро, трудно сказать утвердительно, кто такая, дама или девица, родственница, домохозяйка или просто проживающая в доме: что-то без чепца, около тридцати лет, в пестром платке» (Гоголь, *Мертвые души*). ПН п р и з н а к о в

тесно связаны с категорией интенсивности (*немного, полу-, довольно, в какой-то степени* и т. п.), а с другой стороны — с переносной номинацией (метафора, образное сравнение: *словно, как бы* и т. п.). Отграничить значение приближительности от значения слабой или средней интенсивности признака возможно, если учитывать прагматику речи, в частности — степень уверенности говорящего в истинности именуемого признака. Уверенность говорящего в истинности признака свидетельствует в пользу интенсивности, неуверенность — в пользу приближительности. Однако эта граница весьма подвижна, зависит от ситуации, контекста. Так, если *довольно далеко в Село Н. довольно далеко отсюда. Тебе лучше поехать на автобусе* выступает как аргумент для убеждения собеседника в необходимости автобусной поездки (= интенсивность), то сказанное в главе Ты *довольно умна* будет скорее воспринято как оскорбление, чем как комплимент (= приближительность). В большинстве случаев границу между явлениями установить невозможно, и следует говорить о переходной зоне, где приближительность сочетается с интенсивностью. Ср. *Он сюда довольно часто приходит* (= «часто, но не настолько, чтобы про это можно было сказать часто» и «действительно часто, часто настолько, чтобы, например, мы о нем не забыли»). Что касается отличия ПН от переносной номинации, то здесь можно выдвинуть два критерия: реальность лежащих в основе именованых отношений и ненамеренность со стороны говорящего. Ср. выражение приближительности во фразе: «Дмитрий Федорович, никогда у старца не бывавший и даже не выдавший его, конечно, подумал, что старцем его хотят как бы испугать» (Достоевский, Братья Карамазовы). Ср. также (разг.): *Он приехал буквально в тот же день, где буквально* (в данном значении) вводит ПН (ненамеренность со стороны говорящего: он мог просто не запомнить точный день приезда): «почти в тот же день». Наоборот, в *Он был буквально убит этим известием* это слово вводит метафору (налицо намеренность со стороны говорящего в целях экспрессии). ПН признаков, подобно ПН субстанций, обнаруживает ряд противопоставлений в соответствии с природой самого признака. Ограничимся здесь лишь некоторыми замечаниями. Так, ПН субъективных признаков невозможны с *почти* (**почти красивый сад*), но возможны с *довольно* (*довольно красивый сад*); наоборот, ПН объективных (объективно присущих предмету) признаков невозможны с *довольно* (**довольно круглый стол*), но возможны с *почти* (*почти круглый стол*). Это обстоятельство более существенно для семантики слов типа *почти, довольно*, чем собственно степень приближительности. Характерно, что признаки непредметов могут легче именоваться приближительно, чем признаки предметов. *Полувраждебный взгляд* указывает, скорее всего, на приближительность именованного признака. Наоборот, *полукруглый в полукруглый стол* будет точной номинацией, обозначающей вполне определенную форму столов. Отметим, что гораздо легче представить себе класс «полукруглых столов», чем некий класс «полувраждебных взглядов». Обратимся также к ПН идентифицирующих признаков, отличающихся большим своеобразием. Ср.: *Раньше Париж являлся в каком-то смысле* (**немножко, *где-то*) *столицей мира* (идентифицирующий признак) и *Он немножко* (*где-то*) *артист* (классифицирующий признак). ПН идентифицирующих признаков могут быть даже базой для образования референтных имен объектов, ср.: *Столица мира славилась своей красотой*. Фактически такие ПН восходят к метаязыковой процедуре (*Раньше Париж называли столицей мира*) и очень близко стоят к другой группе ПН, ориентированные на человека, «носителя языка». ПН количества занимают особое место. Говорящие наиболее часто именуют неточно именно количества: общеизвестно, что количественная определенность объекта менее тесно связана с бытием данного объекта, чем его качественная определенность. Семантика и функционирование ПН количеств находятся в значительной зависимости от характера самого количества (множества). Например, собирательные числительные, кратные 10 («круглые» количества), легко могут приобретать значение приближительности: *десяток штук, три десятка штук, сотня человек*. Этого не происходит с «некруглыми» количествами: *семерка ту-*

ристов вовсе не значит «около семи туристов», а обозначает группу из семи туристов. Оппозиция «большое количество — малое количество» проявляется в ограничениях, накладываемых языком на приблизительное именование малых количеств. Часто малые количества не могут именоваться приблизительно подобно большим количествам. Ср. невозможность **Они пришли в количестве около трех человек*, хотя допустимо *Они пришли в количестве около ста человек*. Существует, однако, особая форма ПН малых количеств. Это — соположение двух соседних числительных: *два-три, три-четыре* и т. п. (ср. *Необходимо направить туда двух-трех человек*). Такие номинации в то же время легко могут приобретать значение «несколько» (неопределенность количества), что еще раз подтверждает их отмеченность в языке.

ПН, ориентированные на человека, носителя языка (мы будем их называть: ПН группы «носитель языка»), характеризуются той или иной степенью неудовлетворенности говорящего именем, отказом говорящего нести ответственность за номинацию: *что называется..., так называемый..., так сказать...* и др. Формально такие ПН совпадают с явлениями цитации, метаязыковой процедурой (метаязыком номинации). Именно поэтому такие ПН лингвисты специально не изучали и отождествляли их с обычными метаязыковыми средствами [5]. Однако между ПН этого типа и метаязыковыми явлениями есть существенное отличие, хотя и нет непроходимой границы. Решающее значение имеет знание прагматики общения, условий акта речи. Например, нетрудно заметить, что дидактическая речь существенно ограничивает вероятность значения приблизительности у метаязыковых выражений. Предположим, что преподаватель говорит студентам в своей лекции: *Эту единицу называют фонемой. Эта так называемая фонема представляет собой...* и т. д. В этом случае мы имеем дело с обыкновенной процедурой метаязыкового цитирования, со способом введения слушающих в язык лингвистики. Наоборот, полемическая речь повышает вероятность значения приблизительности. Например, в устах полемизирующего лингвиста, не согласного с теорией фонемы, номинация *то, что называют фонемой (так называемая фонема)* будет звучать с некоторым оттенком приблизительности. Известно, что современная лингвистика акта речи связывает дидактическую речь с минимальной степенью заинтересованности говорящего в сообщаемом (т. е. с максимальной дистанцией) [6]. Следовательно, уменьшение дистанции между говорящим и сообщаемым говорит в пользу приблизительного значения рассматриваемых выражений. Кроме того, при исследовании ПН группы «носитель языка» возникает необходимость различать две сущности: собственно говорящего и субъекта номинации. Формально говорящий и субъект номинации могут совпадать, например, в «я». Но при этом я-говорящий может «отгораживаться» от я-субъекта номинации, ср.: *Хочу предложить вашему вниманию то, что я решил назвать (то, что я называю) романом* (предполагается, что не все носители языка назовут данное произведение романом или согласятся с таким именованием — отсюда и приблизительный оттенок номинации). С другой стороны, говорящий и субъект номинации формально могут не совпадать, но фактически «сливаются» в одно целое. Это как раз и происходит в дидактической речи, где говорящий (я) не отгораживается от субъекта номинации (*все носители языка* или *все авторитеты в данной области*), а отождествляет себя с субъектом номинации. В этом случае имеет место метаязыковая процедура. Таким образом, о ПН группы «носитель языка» можно говорить при отгораживании говорящего от субъекта номинации. Поскольку субъект номинации может соотноситься с разными лицами, то от этого и зависят типы ПН с их конкретными особенностями. Возможны следующие основные типы: ПН от первого лица (я, мы: *то, что я называю..., то что мы назвали бы...*), ПН от второго лица (ты, вы: *как ты говоришь..., то, что вы обычно называете...*), ПН от третьего лица (он, они: *выражаясь как товарищ Иванов..., то, что они называют...*), ПН от обобщенного лица (все: *то, что принято называть..., как говорится..., так называемый..., что называется..., как принято выра-*

жаться...), ПН от неопределенного лица (некоторые, другие: *так называемый...*, *именуемый...*, *пресловутый...*, *якобы...*), отсутствие лица (модальные конструкции: *можно сказать...*, *нужно назвать...*), ПН от не дифференцированного лица (*так сказать...*). Эти типы обладают рядом существенных особенностей. Остановимся на некоторых из них. ПН от первого лица характеризуются близостью к перформативным высказываниям в их классическом виде (*Я называю это...*), к поступку именованию. При этом номинация рождается впервые в самый момент ее произнесения и кажется «сырой». Отсюда — значение недостоверности, неуверенности именованию, приблизительность. В ПН от третьего лица субъект номинации может совпадать с объектом номинации. Это равносильно самоименованию (*артист, как он себя сам называет*) и поэтому легко может переходить в указание на ложность номинации, «самозванность» данного лица и соответственно — на отрицательное отношение говорящего к этому лицу. Особый интерес представляют два пограничных типа ПН, которые часто формально совпадают (*так называемый...*), — ПН от обобщенного лица и ПН от неопределенного лица. Однако между ними есть различие. Представляя номинацию в виде ПН от обобщенного лица (от «всех»), говорящий обычно склонен с ней согласиться, включая себя в число «всех» (*Он поступил, что называется, неблагородно*). Стратегия говорящего сложна и заключается в том, что даже включая себя в число «всех» и опираясь на авторитет всеобщего мнения, говорящий все равно не желает полного слияния с субъектом номинации. Он дает понять, что мог бы использовать более точную, яркую номинацию вместо «банальной» номинации «всех». Наоборот, представляя номинацию как ПН от неопределенного лица (от «некоторых»), говорящий чаще всего не согласен с номинацией и готов полемизировать с «некоторыми». О включении говорящего в число «некоторых» не может быть и речи: *Этот так называемый (пресловутый, якобы) благодетель бессовестно обманул ее*. Часто такие ПН смыкаются с ПН от третьего лица со значением «самозванности», о которых мы говорили. Это происходит тогда, когда сам объект номинации может входить в число «некоторых». Ср. *этот якобы благодетель: благодетелем его называют некоторые люди или он сам*. Обратимся также к ПН от не дифференцированного лица. В русском языке это в основном ПН, вводимые выражением *так сказать*. Существование таких номинаций в языке имеет глубокий смысл. Для них субъектом номинации выступает некая недискретная сущность, могущая принимать значения любых мыслимых лиц. Для говорящего же часто важно бывает представить номинацию так, как если бы она исходила одновременно от него самого, от слушающих, от третьих лиц и от любого другого лица. Разумеется, контекст может значительно ограничивать круг лиц. Ср. «...Федор Павлович с супругой не церемонился и, пользуясь тем, что она, так сказать, пред ним „виновата“..., даже попрал ногами самые обыкновенные брачные приличия» (Достоевский, Братья Карамазовы). Здесь *так сказать* фактически указывает на Федора Павловича как на субъект номинации. Отметим, что сама эволюция значения *так сказать* весьма показательна. На первом этапе *так сказать* выходит непосредственно из обозначения акта речи, из метаязыкового предиката (букв. «чтобы сказать так», ср.: *Я говорю так...*). На втором этапе это выражение предстает как особый указатель на приблизительность номинации (интересующий нас случай). И, наконец, на третьем этапе *так сказать* опять возвращается в акт речи, но на совсем ином уровне: оно десемантизируется и становится чем-то вроде «слова-паразита», заполняющего паузы в речи говорящего. С другой стороны, в качестве указателя на приблизительность номинации *так сказать* может близко подходить к значению слов типа *почти*: «В таком случае я разбогатею, — сказал Чичиков, — потому что я начинаю почти, так сказать, с ничего» (Гоголь, Мертвые души). Таким образом, здесь (как и в случае ПН идентифицирующих признаков) ликвидируется резкая граница между ПН двух рассмотренных нами групп.

Обратимся к третьей (и в данном случае последней) группе ПН, ори-

ентированной прежде всего на сам язык, на имена. Существование таких ПН связано с возможностью применения нескольких имен к одному и тому же объекту в единичном акте именованя. Поскольку ни одно из возможных имен не оказывается единственным в применении к объекту, то при этом легко формируются значения приблизительности, неуверенности, недостоверности именованя. Условно эту группу ПН можно называть «имя — имя». Часто такие ПН сопровождаются предикатами метаязыкового характера, что сближает их с ПН группы «носитель языка»: «Была в доме комнатка, которая носила три названия: маленькая, проходная и темная» (Чехов, Учитель словесности). Для отличия ПН группы «имя — имя» от простой множественности имен (гетерономинативности) существенно принимать во внимание семантические отношения между именами. В логике известно пять основных отношений между понятиями: включение, пересечение, контрадикторность, соположенность, эквивалентность. Эти отношения можно применить к данной проблеме. При этом оказывается, что приблизительность исключается в двух случаях: при отношении включения, ср.: *Он пришел со своей собакой, овчаркой* (простое уточнение через сужение класса), и при отношении пересечения имен, ср.: *Меня беспокоит невнимание Ивана к окружающим, точнее, его озабоченность своими делами* (метонимическое пересечение имен: невнимание Ивана к окружающим является следствием его озабоченности своими делами). Наоборот, приблизительность возможна при контрадикторности имен (антонимия), ср.: «В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так молод» (Гоголь, Мертвые души), а также при их соположенности, ср.: *На улице то ли дождь, то ли снег* (имена *дождь* и *снег* соположены, т. к. обозначают разновидности осадков). В случае эквивалентности (синонимии) имен обычным условием появления значения приблизительности является метаязыковая и модальная конкретизация. Правда, здесь приблизительность носит неявный характер, находясь на грани перехода к простому уточнению одного имени другим. Ср.: «Вот в это-то время и состоялось свидание, или, лучше сказать, семейная сходка, всех членов этого нестройного семейства в келье старца» (Достоевский, Братья Карамазовы). Однако диалектика таких ПН в том и заключается, что, даже предпочитая одно имя как более точное другому (*лучше сказать*), говорящий не может окончательно отбросить и менее точное имя, которое, будучи уже произнесенным, приобретает своеобразную власть и тяготеет над всей номинацией. Таким образом, приблизительность номинаций в этом аспекте возможна при трех видах семантических отношений между именами: контрадикторности, соположенности и эквивалентности (с ограничениями). С другой стороны, имена в номинациях должны соединяться определенными синтаксическими средствами. Эти синтаксические средства в целом повторяют пять известных в логике операций над логическими суждениями: конъюнкция (*счастлив и несчастен одновременно; ни стар, ни молод*), дизъюнкция (*то ли гараж, то ли сарай*), отождествление (привращивание имен: *Он был встревожен, можно сказать — напуган*), импликация (*Это очень похоже, если не то же самое*), отрицание («Нос не то чтобы длинный, а востренький, точно у птички» — Достоевский, Братья Карамазовы). Таким образом, конкретные типы ПН группы «имя — имя» характеризуются двумя признаками: семантическими отношениями между именами и синтаксическими связями между именами. Рассмотрим особенности некоторых типов ПН этой группы. Весьма интересным свойством обладают ПН (или близкие к ПН случаи), образующиеся при отождествлении эквивалентных (синонимичных) имен. Их приблизительность парадоксальна, но объяснима. Лишь ограниченное число объектов располагает двумя и более в достаточной степени эквивалентными именами (в основном это — личные имена: например, *Мария Ивановна* или *Петрова* применительно к Марии Ивановне Петровой). Обычно именоване большинства объектов производится в единичном акте номинации каким-то одним именем. Поэтому появление по меньшей мере двух (даже синонимичных) имен типа *встревожен, напуган*

может быть признаком «трудной» номинации, а их отождествление в данной номинации (*встревожен. можно сказать — напуган*) может восприниматься как неправомерный, хотя и вынужденный, акт. Соединение двух соположенных имен в виде дизъюнкции (*то ли гараж, то ли сарай*) приближается к указанию на гибридность объекта (ср. *полу-гараж, полу-сарай*). Это сближает ПН группы «имя — имя» с ПН группы «объект» (ср. *полуираждебный*). Заслуживают также внимания номинации, образующиеся путем отрицания одного имени в пользу другого (*не то чтобы, ..., а...*). Обычно второе имя не воспринимается в таких ПН говорящим как вполне удовлетворительное. Например, это происходит потому, что эти имена приписываются говорящим разным субъектам номинации. Второе имя при этом часто используется по образцу ПН типа «носитель языка» (*что называется...*). Ср.: «Слышь, мужика Кошкарев барин одел, говорят, как немец; поодаль и не распознаешь, — выступает по-журавлинному, как немец. И на бабе не то чтобы платок, как бывает, пирогамили кокошник на голове, а немецкий капор такой, как немки ходят, знаешь, в капорах, — так капор называется, знаешь, капор. Немецкий такой капор» (Гоголь, Мертвые души). Здесь имена *платок пирогом, кокошник* приписываются говорящим самому себе и потенциально — слушающим, в то время как имя *капор* приписывается «другим» — очевидно, «господам», «немцам». В этом случае также имеет место сближение между ПН групп «имя — имя» и «носитель языка».

Рассмотрим теперь весьма кратко основные закономерности функционирования ПН в тексте, в высказывании. Прежде всего необходимо подчеркнуть, что ПН не существует изолированно от других, точных, номинаций того же объекта в тексте, а взаимодействуют с ними. Это взаимодействие обладает одной важной особенностью. Приблизительная номинация объекта гораздо чаще следует за точной номинацией того же объекта, чем это можно было бы предположить. Ср.: «Монах с чрезвычайно вежливым, почти поясным поклоном произнес...» (Достоевский, Братья Карамазовы). Иной порядок — от приблизительной номинации к точной — звучал бы здесь гораздо менее естественно, ср. с *почти поясным, чрезвычайно вежливым поклоном*. В этом, как нам кажется, проявляется та своеобразная диалектика именованья в языке, которая заключается, видимо, в постоянном, но практически неудовлетворимом стремлении говорящего к самой точной, «единственной» номинации. Осознание тщетности своего стремления раскрыть в номинации всю глубину и сложность объекта принуждает говорящего к «отступлению» от точности к приблизительности. ПН обнаруживают, кроме того, тесную связь с важнейшими категориями высказывания (модальностью, отрицанием, социальной направленностью). ПН и м о д а л ь н о с т ь объединены не только общностью своей природы. В высказывании ПН часто соседствуют с модальными словами, ср.: «...А Миусов так лет тридцать, может быть, и в церкви не был» (Достоевский, Братья Карамазовы). В определенных случаях модальность высказывания может «концентрироваться» на отдельной номинации, придавая ей некоторый оттенок приблизительности, ср.: *Это дерево, кажется, сосна* (что можно понять как «это дерево является чем-то вроде сосны»). Невозможность точного именованья («неназываемость», «невывразимость») часто связана с модальной эмоциональной оценкой объекта — резко отрицательной или, наоборот, очень положительной: *У меня не хватает слов, чтобы сказать тебе, какой он подлец!*; ср. также: «В нарядах их вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисей были таких бледных модных цветов, каким даже и названья нельзя было прибрать (до такой степени дошла тонкость вкуса)» (Гоголь, Мертвые души). Связь ПН и о т р и ц а н и я объясняется тем, что при неясности, трудноименуемости объекта гораздо легче что-либо отрицать об этом объекте, чем утверждать. Ср.: «Что такое лицей? Александр Иванович на мой вопрос сказал, что положительный ответ на сие труден, но отрицательный легок: лицей не училище, не университет, не корпус, что это, однако, и то, и другое, и третье, что пока бог знает, что такое, а там, впрочем, будет видно» (Тынянов. Пушкин). !Социальный статус ПН заклю-

чается прежде всего в возможности, которую они предоставляют говорящему «именовать, не именуя»: приблизительность именования может сглаживать неприятную для слушающего оценку, заставлять слушающего принять номинацию, с которой тот может не согласиться, завоевывать расположение слушающего. Ср.: «Генерал Бетришев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников» (Гоголь, Мертвые души). Этим говорящий — в данном случае Чичиков — умело камуфлирует преувеличенность и даже ложность номинации *благотворитель*. Для ПН весьма существенным оказывается и характер предметных отношений действительности, отображаемых в высказывании. Так, для ПН группы «носитель языка» типичным контекстом оказываются предложения тождества (идентификации), ср.: *То, что Иван называет своим романом, является в действительности лишь сборником путевых заметок*. Это объясняется тем, что такие предложения устанавливают тождественность самому себе объекта, который может фигурировать под разными именами, в том числе — неправильными или неточными (с точки зрения говорящего) именами.

Из сказанного можно сделать ряд выводов. Приблизительные номинации в языке характеризуются тройной ориентированностью: в их семантике и функционировании как бы отражаются мир (объекты номинации), человек (носители языка), язык (имена). При этом рассмотренные типы ПН не имеют абсолютно четких границ, пересекаясь с такими языковыми явлениями, как неопределенность, интенсивность, переносная номинация и др. Отграничение значения приблизительности от смежных явлений предполагает учет таких факторов, как позиция говорящего в акте речи, свойства самих объектов, семантика имен. Рассмотренные три аспекта ПН, кроме того, тесно смыкаются и друг с другом. Приблизительное именование представляет собой обширную и весьма сложную систему явлений, обладает разнохарактерными средствами выражения. Каждая из поднятых в статье проблем заслуживает специального исследования. Приблизительные номинации еще мало изучены, а их изучение крайне важно для лингвистов с точки зрения общей теории номинации, лингвистической семантики, логико-философских проблем языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Энгельс Ф. Диалектика природы.— Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 527.
2. Целищев В. В. Понятие объекта в модальной логике. Новосибирск, 1978, с. 102.
3. Lakoff G. H. A study in meaning criteria and the logic of fuzzy concept.— In: Contemporary research in philosophical and linguistic semantics. Dordrecht, 1975.
4. Русская грамматика. Т. I: Морфология. М., 1980, с. 453.
5. Rey-Debove J. Le métalangage. Paris, 1978.
6. Dubois J. et al. Dictionnaire de linguistique. Paris. 1974, p. 161.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ДОЛИНИН К. А.

ИМПЛИЦИТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ*

Осознание того факта, что значение предложения еще не есть смысл высказывания, что «мы..извлекаем (понимаем) из отдельного высказывания значительно больше информации, чем содержится в нем как в языковом образовании» [1, с. 206], поставило на повестку дня проблему подтекста, т. е. имплицитного содержания речи как явления, свойственного не только некоторым жанрам и направлениям художественной литературы, но речевой деятельности человека в целом. Имеется ряд публикаций, либо специально посвященных подтексту, либо уделяющих этому вопросу достаточно серьезное внимание [2—17]. Однако исследований, охватывающих проблему имплицитного содержания речи во всей ее полноте или хотя бы намечающих синтез различных аспектов этой проблемы, еще очень мало. К ним относятся в первую очередь работы Ц. Тодорова [12] и О. Дюкро [7]. Кроме того, весьма плодотворные в этом плане идеи содержатся в книге В. А. Звегинцева [1] и в публикациях Е. Ф. Тарасова (см., в частности, [15]).

В настоящей статье делается попытка объяснить общий механизм возникновения имплицитного содержания высказывания и выявить важнейшие лингвистические и экстралингвистические факторы, способствующие его возникновению. Эта задача решается, как показывает название статьи, в основном на уровне отдельного высказывания, а не целого текста. Во-первых, логично начинать с простого и лишь затем переходить к сложному; во-вторых, не все высказывания входят в развернутые тексты, но все, по глубокому убеждению автора, обладают подтекстом. Проблема имплицитного содержания высказывания рассматривается нами применительно к речи вообще, без учета специфики ее функциональных типов и жанров, поскольку есть веские основания полагать, что механизм возникновения подтекста в основе своей един. а все различия в распространенности этого явления и в конкретных способах его реализации в различных жанрах не затрагивают сути дела.

Прежде всего определим исходные понятия. Мы будем называть значением, или эксплицитным содержанием высказывания (ЭСВ), содержание, непосредственно выраженное совокупностью языковых знаков, составляющих данное сообщение. То содержание, которое прямо не воплощено в узуальных лексических и грамматических значениях языковых единиц, составляющих высказывание, но извлекается или может быть извлечено из последнего при его восприятии, мы назовем имплицитным содержанием высказывания (ИСВ), или подтекстом,—вне зависимости от его характера, актуальности для того или иного участника общения и его «запланированности» адресантом, а также от того, проявляется ли это содержание в изолированном высказывании или только при включении данного высказывания в более широкий контекст. Иначе говоря, мы сознательно отказываемся в данной работе от вычленения отдельных видов ИСВ — таких, как импликация, подтекст, аллюзия, пресуппозиция [17] «затекст» (противопоставляемый подтексту) [10] и т. п., и будем последовательно

* В основу статьи положен доклад, представленный на VII Всесоюзном симпозиуме по психолингвистике и теории коммуникации (Москва, июнь 1982 г.)

различать лишь подтекст референциальный, относящийся к номинативному (референциальному) содержанию высказывания, отражающему ту или иную референтную ситуацию, и подтекст коммуникативный, входящий в коммуникативное содержание высказывания, которое соотносится с самим актом коммуникации и его участниками [12, с. 57—58].

Какова же природа подтекста? На этот, казалось бы, наивный, но вполне закономерный вопрос следует дать столь же наивный, но единственно правильный (конечно, по сути, а не по форме) ответ: получатель сам приписывает сообщению некое содержание, извлекая его элементы из своих «фоновых знаний». А. А. Брудный справедливо считает, что взаимодействие семантики текста с «набором взаимосвязанных сведений, касающихся содержания текста», является необходимым условием восприятия и понимания последнего [18, с. 112, ср. 15, с. 39]. Думается, что это вполне верно и применительно к подтексту. Однако для успешного восприятия ИСВ «взаимосвязанные сведения, касающиеся содержания текста», т. е. знания о мире, должны быть дополнены знаниями о речи, об основных закономерностях речевого поведения. Последнее особенно важно для восприятия коммуникативного подтекста.

Остановимся вначале на референциальном ИСВ. Важнейшая предпосылка его возникновения — взаимосвязанность объектов и явлений действительности, находящая свое отражение во взаимосвязанности представлений и понятий о мире, из которых складывается тезаурус носителя данной культуры и данного языка. В результате сообщение о факте А, связанном в действительности и/или в тезаурусе реципиента с фактами В, С, D и т. д., потенциально имплицитно заключает в себя последние в его сознании: А → В, С, D... Так, высказывание *Габи выходит замуж за Лулу* позволяет более или менее однозначно заключить, что: 1) Габи — женщина; 2) Лулу — мужчина, 3) Габи и Лулу — взрослые люди, во всяком случае, оба достигли брачного возраста; 4) Габи и Лулу — по всей вероятности, французы; 5) Габи и Лулу до этого хотя бы какое-то время не состояли в браке и т. п.

Такие «квазимпликация» подробно описаны И. Беллерт [11], которая различает выводы, основанные на знании языка сообщения (в нашем примере 1 и 2) и на «знании мира» (3—5). Можно, однако, утверждать, что знания о языке, позволяющие сделать те или иные заключения о «референтном пространстве» высказывания, суть те же знания о мире, зафиксированные в системе значений данного языка. Выводы указанного типа неоднократно описывались также в терминах пресуппозиций (см., в частности, [1; 7]).

Иногда утверждают, что пресуппозиции направлены назад, в прошлое [6], что «раскрытие пресуппозиций новой информации не дает» [17, с. 87]. Однако то, что для адресанта является чем-то само собой разумеющимся, для адресата может быть новым и актуальным [11, с. 204—205]. Так, актуальную информацию регулярно дают пресуппозиции высказываний, открывающих литературное повествование, которое сразу же, без всяких предварительных объяснений, так сказать, *in abrupto*, вводит читателя в мир персонажей [19].

Помимо информации о предпосылках описываемого факта, любое повествовательное высказывание потенциально несет сообщение о некоторых других явлениях, связанных с описываемым, например, о его возможных последствиях: из того, что Габи выходит замуж за Лулу, вытекает, что: 6) Габи и Лулу, по всей вероятности, будут жить вместе; 7) у них, возможно, будут дети и т. д. В иных случаях сообщаемый факт может и должен быть воспринят как признак какого-то другого, более существенного (например, кашель героини — признак болезни).

В референциальный подтекст входят также пресуппозиция существования объекта или лица и в особенности пресуппозиция реальности факта, выступающего в качестве референта темы высказывания. По мнению О. Дюкро, они «позволяют высказать нечто так, как если бы это и не требовалось высказывать» [7, с. 23]. Так, вопрос «Где вы убили вашу жену?» предполагает, что адресат ее убил, даже если он это отрицает. Одна-

ко подтекст, задаваемый пресуппозициями существования, основывается уже не на знаниях о мире вещей и явлений, внешних по отношению к речи, а на известных реципиенту общих принципах и нормах речевой коммуникации, которые лежат в основе коммуникативного ИСВ и играют решающую роль в восприятии подтекста вообще (последнее будет показано ниже).

Любая речь в идеале подчиняется по меньшей мере четырем общим принципам: 1) принципу осмысленности [20, 21] — каждое законченное высказывание (и, тем более, организованная последовательность высказываний) должно иметь определенное номинативное содержание — адресату и самому адресанту должно быть ясно, о чем и что именно в нем говорится; 2) принципу целенаправленности или мотивированности [7] — каждое высказывание (организованная последовательность высказываний) должно преследовать какую-то, пусть неосознанную, цель; 3) принципу ситуативности [1] — каждое высказывание (последовательность высказываний) должно быть так или иначе связано с ситуацией общения; 4) принципу связности — каждое высказывание, входящее в более крупную речевую единицу, должно быть связано по смыслу с целым и, как правило, с другими высказываниями, входящим в это же образование; этот принцип представляет собой конкретизацию принципа 3 применительно к высказыванию, входящему в развернутое сообщение.

Кроме названных общих принципов, существует ряд более частных закономерностей или правил, регулирующих построение высказываний и текстов в зависимости от «условий порождения» — параметров коммуникативной ситуации (в дальнейшем КС). Экстралингвистические факторы, детерминирующие речевую деятельность, неоднократно рассматривались в социалингвистике, в теории речевой коммуникации и в лингвистической стилистике [22—28; 15].

Резюмируя данные этих исследований, можно предложить следующий набор взаимосвязанных и частично переходящих друг в друга параметров КС, определяющих как ЭСВ, так и стиль высказывания:

а) адресант (Ан) и адресат (Ат)¹, выступающие как носители соответствующих друг с другом статусных, позиционных и ситуативных ролей и определенных личностных свойств, как субъекты деятельности, преследующие определенные цели, руководствующиеся определенными мотивами, а также как носители определенных знаний о референтной ситуации и референтном пространстве и определенного отношения к референтной ситуации и к партнеру;

б) референтная ситуация (РС) — тот отрезок объективной действительности, с которым можно соотнести референциальное содержание высказывания;

в) деятельностная ситуация (ДС), в рамках которой происходит речевое общение; ДС общения — это, фигурально выражаясь, развертывающийся сюжет: то, что происходит с партнерами в соответствии с их усилиями или вопреки им, та постоянно меняющаяся ситуация, в которой они действуют и говорят. По отношению к отдельному высказыванию ДС — это определенный момент в развитии сюжета, который характеризуется тем, что произошло до этого, включая и то, что было сказано или написано, а также тем, что, по замыслу адресанта, должно произойти после; из этого, в частности, следует, что ДС включает в себя речевой контекст высказывания. ДС детерминирует и может включать в себя также РС. Это происходит тогда, когда люди говорят непосредственно о себе и о своих делах²;

¹ Ат — лицо (или лица), которому (которым) непосредственно адресовано сообщение; кроме адресата, воспринять сообщение может также наблюдатель. В тех случаях, когда оппозиция «адресат/наблюдатель» для нас несущественна, мы будем говорить о получателе.

² Вводимое здесь понятие деятельностной ситуации в общем соответствует модели прошлого — настоящего и модели будущего, используемых в психологии и психолингвистике [29, с. 146—153].

д) предметно-ситуативный фон (ПСФ), включающий место и время общения, то, что происходит вокруг, общую социальную, политическую и историко-культурную ситуацию, а также людей, присутствующих при общении;

е) канал связи (КСв), акустический или графический, характеризующийся также наличием или отсутствием непосредственного контакта между партнерами, наличием или отсутствием визуальной связи, а также использованием тех или иных специальных средств передачи сообщения.

Очень существенно, что детерминантами высказывания являются не эти параметры сами по себе, а представление о них, сложившееся в голове Ан,— субъективный образ коммуникативной ситуации в целом [15, с. 46; 28, с. 287—288].

Детерминированность речи вообще и каждого отдельного высказывания в частности указанными факторами осознается или хотя бы интуитивно ощущается большинством взрослых членов социума в форме прежде всего этических правил, связанных с ролями и статусами участников общения [15, с. 121], а также в форме различных жанровых канонов, т. е., в конечном счете, опять-таки как ролевые предписания и ролевые ожидания. В целом в каждом языковом сообществе, в каждую данную эпоху существует «система норм, дифференцированных применительно к различным признакам речевой ситуации и к другим характеристикам общения» [24, с. 305]. Важно подчеркнуть, что эти правила и нормы распространяются не только на стиль, как это обычно считают, но и на ЭСВ.

Знание — пусть интуитивное — закономерных соответствий между параметрами КС и параметрами речи, равно как и общих принципов речевого поведения, приводит к тому, что каждое высказывание не только несет определенное эксплицитное содержание, но — уже в иной семиотической плоскости — выступает как сложный «знак-признак» того коммуникативного акта, в результате которого оно возникло³. Включив радио посередине передачи, мы почти безошибочно определяем жанр последней — и по тому, что говорят, и по тому, как это говорится. Мы сравнительно легко определяем эмоциональное состояние адресанта и отношения между участниками случайно подслушанного разговора (равенство или превосходство одного из них, степень близости и т. п.), а также, хотя бы приблизительно, их профессиональный статус.

Итак, общая принципиальная схема возникновения имплицитной информации о параметрах коммуникативной ситуации (КС) — коммуникативного подтекста — как будто ясна. Однако в ряде случаев восприятие этого вида подтекста сталкивается с существенными трудностями в силу того, что отношения между параметрами КС и параметрами высказывания не являются одно-однозначными: высказыванию как знаку «своей» КС свойственна асимметрия. Это объясняется тем, что, во-первых, ситуации общения бесконечно разнообразны: наряду с типовыми КС, существует множество ситуаций, которые можно квалифицировать по-разному. Во-вторых, как уже было замечено, речевое поведение адресанта определяется не непосредственно параметрами КС, а его субъективным представлением о речевой ситуации, так что объективно сходные КС разными субъектами могут быть расценены по-разному. В-третьих, нормы речевого поведения, задаваемые различными речевыми жанрами, оставляют субъекту речи разные степени свободы, причем некоторые жанры, в первую очередь принадлежащие к художественной литературе, не только допускают, но и, так сказать, «поощряют» индивидуальную вариативность, вплоть до частичного нарушения общепринятых канонов.

Все это приводит к тому, что на фоне общей нормированности речи постоянно наблюдаются многочисленные и более или менее существенные отступления от норм, которые, однако, не отменяют последних и при этом сами несут, может быть, наиболее существенное и нетривиальное

³ По мнению Е. Ф. Тарасова, текст есть превращенная форма коммуникативного акта, замещающая систему последнего вместе с предметом общения [15, с. 42].

имплицитное содержание [30] — личностный подтекст, из которого складывается с трудом поддающийся вербализации образ адресанта.

Из этого следует, что простое, однонаправленное движение от высказывания к ситуации позволяет вскрыть лишь то, что лежит на поверхности: типовые параметры типовых КС, стоящие за «правильными», т. е. вполне соответствующими речевой норме высказываниями [1, с. 248—250]. Очевидно, надо попытаться на основе сформулированных общих закономерностей построить какую-то более сильную модель, которая позволила бы описать, что же происходит при восприятии высказывания, существенно отклоняющегося от речевых норм, каким образом и какой подтекст приписывает ему (или извлекает из него) получатель. При этом необходимо учесть относительную субъективность и, следовательно, вариативность этого процесса. Разные субъекты, занимающие разные позиции в коммуникативном акте, обладающие разными сведениями относительно референтного пространства и параметров данной КС и заинтересованные в получении разной информации, извлекут из данного высказывания разный подтекст (ср. [15, с. 106]).

Из этого, однако, не следует, что подтекст целиком субъективен: в каждом конкретном случае в данной КС данное сообщение потенциально несет некое более или менее объективное имплицитное содержание. Но вся эта информация теоретически доступна лишь наблюдателю, способному подойти к сообщению со всех возможных позиций, т. е. исследователю. Насколько это осуществимо на практике и насколько нужно, — уже другой вопрос. Более актуальной задачей является установление наиболее вероятного подтекста того или иного сообщения для той или иной категории получателей, находящихся в определенных условиях. Возможные пути решения таких задач мы и хотим попытаться наметить.

Представим описанную выше зависимость между высказыванием и коммуникативной ситуацией в виде следующего равенства: $V = f(A_n, A_t, P_C, D_C, ПСФ, КСв)$, где V — высказывание, рассматриваемое как совокупность различных значимых уровней, — выступает как функция (f) ряда аргументов: A_n , A_t и т. д. — параметров коммуникативной ситуации. Напомним, что эти параметры, в особенности A_n и A_t , суть сложные, многокомпонентные единства.

Всякая речевая деятельность может быть уподоблена решению такого уравнения, причем для разных людей, занимающих разные позиции в структуре речевого акта, оно будет обладать разными наборами известных и неизвестных. A_n имеет определенное представление обо всех параметрах КС; его задача — найти параметры высказывания, т. е. построить сообщение. Как он будет выполнять эту задачу — в строгом соответствии с общепринятой нормой или отклоняясь от нее, — зависит от его коммуникативной компетенции, от его представления о параметрах КС, а также от осознанных и неосознанных мотивов и целей деятельности.

Получатель решает обратную задачу: ему непосредственно дано само высказывание, его ЭСВ и стиль, но также, в зависимости от обстоятельств, те или иные параметры КС. Зная закономерные связи между параметрами КС и высказыванием, т. е. правила построения высказываний и текстов в различных условиях общения, он «вычисляет» недостающие аргументы — те, которые его интересуют. Весьма существенно, что при любых формах общения в рамках данной эпохи и данной культуры интерпретатору практически всегда известно хоть что-нибудь об обстоятельствах порождения высказывания. Даже тогда, когда мы имеем дело с письменным текстом, нам, помимо самого текста и независимо от него, чаще всего даны такие характеристики ситуации общения, как КСв. и, главное, жанр, т. е. не только позиционная и статусная роль A_n , но и та роль, которую он отводит получателю [25, с. 26—27]. Кроме того, восприятие любого не первого по счету высказывания последовательно читаемого текста естественно предполагает знание предшествующего (левого) контекста и, следовательно, воплощенной в нем D_C — другого важнейшего параметра коммуникативного акта. Так создаются необходимые и в большинстве случаев достаточные условия для извлечения ИСВ.

Задача решается не сразу (или не решается вообще), если параметры высказывания не согласуются с данными о КС, которыми располагает получатель, — именно такие высказывания воспринимаются как более или менее «неправильные», странные. Один из путей разрешения возникающего противоречия — пересмотр представления о КС (так, нарушение статусной нормы, например, обращение на «ты» к высшему по социальному рангу, может свидетельствовать об эмоциональном возбуждении Аи). При невозможности устранить противоречие таким путем получатель либо отвергает высказывание как абсурдное, либо пытается решить вопрос путем пересмотра своего толкования ЭСВ. Так, обнаружив в письме А. П. Чехова к М. С. Малкиель ⁴ от 21 мая 1899 г. обращение «драгоценная супруга» [31, с. 163], мы, очевидно, должны предположить, что сказанное надо понимать не в буквальном, а в переносном смысле. Отсюда можно сделать вывод: неизвестные величины, за которыми скрывается потенциальный подтекст, могут быть не только в правой, но и в левой части равенства, в самом высказывании. Но для того чтобы их определить, необходимо располагать определенным минимумом сведений о параметрах КС. Именно поэтому мы не знаем, что хотел сказать А. П. Чехов, называя М. С. Малкиель драгоценной супругой: нам недостает сведений о ДС коммуникантов. Ясно, что это шутка, но что за ней кроется — неизвестно.

В некоторых работах высказывается мысль, что подтекст вообще связан с «неправильностями» в речевом поведении. «Суть всякого подтекста состоит в нарушении эталона», — утверждает И. Г. Торсуева [8, с. 60]. Согласно концепции Ц. Тодорова, имплицитное содержание сопряжено с наличием в тексте каких-то «лакун» — пропусков, недоговоренностей, неясностей, противоречий, нарушений каких-то норм. Руководствуясь «презумпцией уместности», согласно которой «если некая речь имеет место, значит, на это есть свои резоны» [12, с. 26] ⁵, получатель стремится понять сегмент текста, содержащий аномалию, найти его скрытый смысл.

С нашей точки зрения, ведущим моментом в процессе восприятия подтекста являются информационные потребности получателя. Однако поиск скрытого смысла действительно может быть обусловлен аномалией в самом сообщении, тем более что подтекст такого рода обычно является преднамеренным и, следовательно, скорее всего актуальным для Аг.

Теоретически рассуждая, импульсом для поиска подтекста может стать любое реальное или кажущееся отступление от названных выше общих принципов и ситуативных норм речи, а также любое нарушение норм языка. Так проблематика имплицитного содержания речи оказывается связанной с традиционной проблематикой тропов и фигур. Аналогичный результат может дать и отступление от индивидуальной нормы или от внутренней нормы сообщения, т. е. от той специфической для данного сообщения нормы, которая задается левым контекстом [32].

Ясно, что попытка построить хоть сколько-нибудь полную классификацию такого рода аномалий не может быть предпринята в рамках одной статьи ⁶. Поэтому мы ограничимся лишь несколькими примерами.

1.1. Лакуна в тексте — импликация факта. а) *Чем больше я вижу людей, тем сильнее я восхищаюсь собаками* (М. де Севинье, Письма). Фраза кажется странной, потому что факты, о которых сообщается в высказывании, на первый взгляд, имеют слишком мало точек соприкосновения для того, чтобы между ними можно было установить такую зависимость. Руководствуясь презумпцией уместности речи (в данном случае — презумпцией осмысленности и связности), читатель пытается оправдать это утверждение, найти в нем смысл. Он ищет пропущенное звено — неназванный третий факт, который, логически вытекая из первого, в то же

⁴ Мария Самойловна Малкиель — приятельница М. П. Чеховой; бывала у Чеховых в Мелихове и в Ялте [31, с. 584].

⁵ В «презумпции уместности» Ц. Тодорова нетрудно увидеть обобщение названных выше принципов речевого поведения со специфической точки зрения получателя речи.

⁶ Сходный замысел осуществлен, хотя и с иных методологических позиций, Ж. Дюбуа и его соавторами [33].

время находился бы в заданном отношении ко второму, — что-нибудь вроде «...тем больше я нахожу в них недостатков». б) *Сказал и в темный лес ягненка поволок* (И. А. Крылов, Волк и ягненок). Здесь недоговоренность почти не ощущается — мы не сомневаемся, что волк съест ягненка, хотя, рассуждая чисто логически, можно представить себе и иной исход — например, спасение благодаря вмешательству пастуха или охотника. Наша уверенность основывается не только и не столько на том, что нам известно о волках и ягнятах, сколько на знании, пусть не вполне осознанном, «грамматики повествования» вообще и закономерностей басенного жанра в частности: ведь приведенная строка — это развязка, фабульная реализация заданной наперед общей схемы. Так параметры КС (в данном случае жанр и контекст) приводят к тому, что вероятное следствие сообщенного факта воспринимается как единственно возможный исход, а референциальный подтекст высказывания становится его основным содержанием.

1.2. Лакуна в тексте — импликация логической связи между высказываниями и сообщаемыми фактами. *Одно точно — сушилки были пущены через три дня. Комбайнеры стояли над электриками и выставили пикеты у продмагов.* (Комсомольская правда 22 окт. 1982). Невыраженная связь между двумя соседними высказываниями имплицитруется самой их смежностью, а характер связи (причина и следствие, посылка и вывод, общее положение и конкретный пример, подобие фактов и т. п.) выводится из самих фактов и из КС. В данном случае второе высказывание отвечает на вопрос, каким образом был достигнут результат, о котором сообщается в первом. Кроме того, из второго высказывания вытекают два следствия: 1) пуск сушилок зависел от электриков; 2) работе электриков могла помешать их склонность к посещению продмагов.

2.1.1. Несоответствие высказывания или последовательности высказываний деятельностной ситуации — импликация личностного отношения адресанта к ситуации общения и/или к тому, о чем умалчивается. Классический пример такого несоответствия — последний разговор Астрова и Войничкого в конце IV акта «Дяди Вани», когда оба говорят не о том, что их волнует, а о захромавшей лошади и прочих третьестепенных вещах. Особенно характерна завершающая диалог знаменитая реплика Астрова: «А, должно быть, в этой самой Африке теперь жарница — страшное дело!».

Рассмотрим этот пример несколько более подробно, чем предыдущие. Прежде всего необходимо уточнить ситуацию. Она характеризуется тем, что действие по существу закончено, страсти отшумели, лошади поданы, Астров уже попрощался со всеми и не уходит лишь потому, что ждет, когда принесут рюмку водки, предложенную ему нянькой. Это типичное «пустое время», когда все уже сказано, общение внутренне завершено, но контакт еще продолжается. Разговор о захромавшей лошади возникает только из потребности заполнить паузу, поскольку в подобных ситуациях молчать бывает неловко (еще один, ранее не упомянутый постулат речевого поведения!), а возвращаться к уже обговоренному нет ни желания, ни сил. Вот это ощущение невозможности и ненужности возвращения к только что пережитому и сказанному и составляет общий подтекст всего диалога — и для самих персонажей, и для зрителя. А заключительная реплика о жарнице в Африке — это, в сущности, не что иное, как вариант разговора о погоде, типичного для вынужденного фатического общения. Но если в разговоре о погоде, которая стоит здесь и теперь, как и в разговоре о захромавшей лошади, есть хоть какая-то видимость актуальности, то фраза о погоде в Африке совершенно не вяжется с ситуацией: за ней — полная невозможность сказать что-нибудь по существу дела, ощущение полной необратимости всего случившегося [34]. И в то же время — уже не для персонажей, а только для зрителя, в контексте не бытового диалога, а спектакля, — эта фраза, как и карта Африки в конторе российского имения, предстает как образ нелепости, нескладности всего их существования. Есть, видимо, и еще один момент: Африка, особенно в то время, — это даль, экзотика, четко противостоящая тому буднично-

му пространству, в которое они отныне заключены. И, может быть, фраза об Африке — неосознанное выражение тоски по небывалому и несбываемому (ср. [4, с. 95]). Иначе говоря, Африка для Астрова — примерно то же самое, что «небо в алмазах» для Сони. Так в том неважном, как будто случайном, о чем говорится, проглядывают какие-то черты того важного, но мучительного, о чем умалчивается.

2.1.2. Несоответствие высказывания деятельностной ситуации — импликация фактов и цели сообщения.

Роман Э. Базена «Крик совы» начинается с того, что в дом главного героя, известного писателя и отца многочисленного семейства (повествование ведется от его лица), без всякого предупреждения приезжает его мать, некогда отравившая детство своих сыновей подозрениями, запретами и даже физическими истязаниями. Сын и мать не виделись и не поддерживали никаких сношений более 20 лет. Фраза, открывающая приводимый ниже отрывок, — первая, которую мать адресует сыну ⁷:

«„Как твоя печень?“ — говорит мадам Резо, поворачиваясь в мою сторону. — „Приступы кончились? Заметь, меня они ничуть не удивили — наследственность! Желчный пузырь у тебя мой“.

Намек на операцию, которую я недавно перенес, очевиден и тотчас погружает меня вновь в атмосферу клана Резо, где всегда считалось признаком хорошего тона выражать свои мысли обиняком. Сказанное обозначает прежде всего: „Я всегда была в курсе твоих дел“. Отсюда по меньшей мере три следствия: 1) „У меня есть своя агентура“; 2) „Я не переставала интересоваться тобой“; 3) „Ты и только ты виноват в том, что мы так долго не встречались“.

Подтекст реплики персонажа точно и полно эксплицируется повествователем, т. е. стоящим за ним автором, и нам остается лишь объяснить, как он возникает. Сам факт неожиданного появления мадам Резо диктует вопрос «зачем?», и, согласно неписанным нормам речевого общения, она должна была бы начать с ответа на него. Но она говорит и вообще ведет себя так, как будто не было никакого разрыва и они расстались месяц назад. Характерно, что об операции прямо не говорится, — как если бы то, что она знает о ней, было чем-то само собой разумеющимся. Намек на операцию заключен в вопросе и основан на том, что можно назвать пресуппозицией достаточного основания: если Ан предполагает, что какое-то положение вещей изменилось («Приступы кончились?»), значит, он считает, что имело место какое-то событие, которое могло или должно было привести к его изменению. От намека на операцию — демонстрации осведомленности — тянется цепочка логических выводов, которые сформулированы в авторском комментарии, причем каждый последующий вытекает из предыдущего.

Но и речевое поведение матери в целом, независимо от этих импликаций, несет вполне определенный подтекст: разговаривая с сыном так, как будто отношения между ними всегда были нормальными, демонстрируя этим роль «нормальной» матери, она тем самым предлагает установить именно такие отношения. В этой связи следует интерпретировать и упоминание о наследственном характере болезни сына: это утверждение родственных связей. Так вполне тривиальное на первый взгляд высказывание оказывается нагруженным богатым, сложным и в высшей степени актуальным для партнеров содержанием. При этом сама нагруженность высказывания преднамеренным подтекстом вступает как характерная черта образа мадам Резо, т. е. как фактор личностного подтекста.

2.2. Несоответствие высказывания роли адресата — импликация личностного отношения к собственным ролевым действиям. В повести Сент-Экзюпери «Военный летчик» командир эскадрильи, вызвав подчиненный ему экипаж,⁷ чтобы дать боевое задание, начинает разговор следующими словами:

⁷ Перевод этого и следующего примера сделан автором статьи.

«В общем так... Очень все это неприятно... Задание малопривлекательное. Но они там, в штабе, требуют. Настоятельно требуют. Я им говорил, но они ни в какую... Вот такие дела».

Статусной и позиционной роли адресанта противоречат главным образом коммуникативное содержание высказывания (полное отсутствие эксплицитной побудительности) и его стиль: Ан говорит о том, о чем и должен говорить, но не совсем то и не так, как это предписывается ролью. Его речь как будто задает иные ролевые отношения, при которых не приказывают, а просят. Однако здесь, в отличие от ситуации, представленной в предыдущем примере, изменить роли нельзя — командир остается командиром, и приказ — приказом. Следовательно, отступление от речевой нормы может быть истолковано лишь как выражение личностного отношения к тем действиям, которые субъект вынужден совершать как носитель роли.

2.3. Несоответствие эксплицитной иллокуции (целенаправленности) высказывания основным параметром КС — импликация подлинной целенаправленности. Это явление неоднократно описывалось в литературе. Известно, например, что вопросительное по форме предложение может быть утверждением, упреком, побуждением, а повествовательное — просьбой или приказом (например, *Здесь в углу пыль* = «Подметите в углу» [23, с. 346] и т. п.). Во всех подобных случаях эксплицитная иллокуция представляется адресату не соответствующей ситуации общения, из чего делается вывод, что ее следует истолковать в переносном смысле, — это своего рода метафора, при прочтении которой Ат руководствуется как эксплицитной иллокуцией, так и параметрами КС.

Как видно из примеров, отклонения от стандарта совершаются по определенным образцам. Отступая от ролевой или ситуативной нормы, человек строит свое речевое поведение в соответствии с нормами какой-то другой роли или ситуации (примеры 2.1.1, 2.1.2 и 2.2). Лакуны в тексте (примеры 1.1.6 и 1.2) часто вообще не воспринимаются как отступления от норм в силу привычности и стандартности, а «неправильные» иллокуции (например, ложные вопросы) употребляются настолько регулярно, что их типовые значения описываются даже в нормативных грамматиках (так что имплицитными эти значения можно назвать лишь условно)⁸.

К названным здесь отклонениям от норм можно было бы добавить целый ряд других, в частности, группу аномалий, характеризующихся несоответствием между референциальным содержанием высказывания и РС, где в зависимости от ряда факторов (качественный или только количественный характер несоответствия, степень правдоподобия утверждаемого, предполагаемое коммуникативное намерение Ан, наличие или отсутствие семантической несочетаемости и логической несовместимости между частями высказывания и др.) выделяются такие явления, как гипербола, литота, антифраза, а также метафора, метонимия, синекдоха и т. п. Можно было бы упомянуть и стилистические перебои как внутри высказывания, так и между соседними высказываниями, а также перестановки элементов высказывания и текста и мн. др. Но, как уже говорилось, наш набор примеров не претендует на полноту — нам важно было продемонстрировать саму возможность извлечения подтекста из «несогласованных» высказываний, зависимость ИСВ от представления получателя о параметрах КС, а также прямую связь понятия подтекста с такими категориями традиционной риторики, как тропы и фигуры и, с другой стороны, с таким понятием современной стилистики и поэтики, как эффект обманутого ожидания (остраение, актуализация, выдвигание, контраст), обобщающим эти традиционные риторические категории. Эта связь представляется совершенно естественной, так как *raison d'être* тропов и фигур и заключается в том, чтобы нести некоторое имплицитное добавочное содержание, как бы мы его ни толковали. При этом механизм восприятия описанных выше речевых «неправильностей», с одной стороны,

⁸ Условия общения, необходимые для успешной реализации некоторых «иллокутивных актов», рассматриваются в [35].

и таких явлений, как метафора, метонимия и т. п., с другой, в сущности един: буквальное истолкование ЭСВ дает результат, не согласующийся с нашим представлением о допустимом и уместном в данной ситуации (контексте). Следовательно, необходимо, опираясь на ЭСВ и на известные нам параметры КС, попытаться понять скрытый смысл, восстановить недостающее звено, найти ту информацию, которая сделала бы приемлемым отклоняющееся от языковой или речевой нормы высказывание. Что же касается эффекта обманутого ожидания, то в свете изложенной концепции сущность всех подпадающих под это понятие явлений и заключается в том, что они стимулируют поиск подтекста.

Таким образом, в круг явлений, традиционно рассматриваемых риторикой, поэтикой и стилистикой, следует включить разнообразные отступления от речевых норм, перечень которых предстоит еще составить. В то же время весь этот круг вопросов должен войти как составная часть в большую проблему имплицитного содержания речи. Но важность и актуальность проблемы имплицитного содержания не исчерпывается ее риторическим или стилистическим аспектом. Подтекст — это не привилегия художественной литературы и паралитературных жанров. Имплицитное содержание пронизывает всю речевую коммуникацию, полное и подлинное понимание любого сообщения предполагает «решение уравнения», т. е. построение модели того коммуникативного процесса, в ходе которого это сообщение возникло, т. к. нельзя говорить о понимании, если мы не знаем, кто, кому, где, когда и зачем говорит или пишет то, что мы слышим или читаем. Подтекст не обязательно является смыслом высказывания, как это иногда утверждают [5, 8, 9], но без подтекста смысла нет.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зевгинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи. М., 1976.
2. Хализев В. К. Подтекст.— Краткая литературная энциклопедия. Т. 5. М., 1968.
3. Сильман Т. И. Подтекст как лингвистическое явление.— ФН, 1969, № 1.
4. Сильман Т. И. Подтекст — это глубина текста.— Вопросы литературы, 1969, № 1.
5. Кнебель М. С., Лурия А. Р. Пути и средства кодирования смысла.— Вопросы психологии, 1971, № 4.
6. Ducrot O. Présupposés et sous-entendus.— Langue française, 1969, № 4.
7. Ducrot O. Dire et ne pas dire. Paris, 1972.
8. Горсуева И. Г. Подтекст и средства его выражения.— В кн.: Материалы V Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. Ч. I. М., 1975.
9. Миркин В. Я. Текст, подтекст и контекст.— ВЯ, 1976, № 2.
10. Брудный А. А. Подтекст и элементы внетекстовых знаковых структур.— В кн.: Смысловое восприятие речевого сообщения. М., 1976.
11. Беллерт М. Об одном условии связности текста.— Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. М., 1978.
12. Todorov T. Symbolisme et interprétation. Paris, 1978.
13. Кузаренко В. А. Типы и средства выражения импликации в английской художественной прозе.— ФН, 1974, № 1.
14. Кузаренко В. А. Интерпретация текста. М., 1979.
15. Тарасов Е. Ф. К построению теории речевой коммуникации.— В кн.: Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф., Шахнарович А. М. Теоретические и прикладные проблемы речевого общения. М., 1979.
16. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. Гл. II. Виды информации в тексте. М., 1981.
17. Арнольд И. В. Импликация как прием построения текста и предмет филологического изучения.— ВЯ, 1982, № 4.
18. Брудный А. А. Понимание как философско-психологическая проблема.— ВФ, 1975, № 10.
19. Майенова М. Р. Теория текста и традиционные проблемы поэтики.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. М., 1978.
20. Gordon D., Lakov G. Postulats de conversation.— Langages, 1973, № 30.
21. Лейкина Б. М. К проблеме взаимодействия разнородных индикаций связности и цельности текста.— В кн.: Материалы V Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. Ч. I. М., 1975.
22. Хаймс Д. Х. Этнография речи.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. VII. М., 1975.
23. Эрин-Трипп С. М. Язык. Тема. Слушатель. Анализ взаимодействия.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. VII.
24. Основы теории речевой деятельности. Гл. 3, 16, 20. М., 1974.
25. Долинин К. А. Стилистика французского языка. Л., 1978.
26. Энkvист Н. Э. Параметры контекста.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IX. М., 1980.

27. *Кристал Д. и Дейзи Д.* Стилистический анализ.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IX. М., 1980.
28. *Мишель Г.* Основы теории стиля.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IX. М., 1980.
29. *Леонтьев А. А.* Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М., 1969.
30. *Лотман Ю. М.* Структура художественного текста. М., 1970, с. 94—96.
31. *А. П. Чехов.* Полн. собр. соч. и писем. Т. XVIII. М., 1949.
32. *Степанов Ю. С.* Французская стилистика. М., 1965.
33. *Dubois J., Edeline F. et al.* Rhétorique générale. Paris, 1970.
34. *Ермилов В. В.* Драма тургия Чехова. Л., 1951, с. 354—355.
35. *Searle J. M.* Speech acts. Cambridge, 1969.

МЕЗЕНИН С. М.

ОБРАЗНОСТЬ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Образность и образ относятся к сфере понятий, очень широких и многоплановых по своему содержанию. Различное понимание термина «образ» иногда влечет за собой противоречия и полемику [1, с. 69—96; 2, с. 105—116; 3, с. 91—108; 4, с. 109—120; 5; 6, с. 121]. Уточнение указанных понятий — необходимое условие для изучения вопроса о месте образности в ряду лингвистических категорий.

Понятие образа является ключевым для диалектико-материалистической теории познания, психологии, семиотики, искусствоведения, теории литературы, языкознания и других наук. Естественно, что в каждой науке это понятие включается в специфическую систему представлений и отношений, а сам термин «образ» — в специфический метаязык той или иной науки. Однако это не значит, что употребляя слово «образ», философ и психолог, литературовед и лингвист говорят о вещах совершенно различных, ибо в основе лежит общее понимание образа как «предмета в отраженном виде» [7, с. 77]. Поскольку понятие образа относится и к чувственному, и к понятийному отражению, обычно различают чувственные и концептуальные образы.

Существуют три уровня отражения: отражение в неживой природе, отражение в живой природе и отражение в человеческом обществе [8, с. 9; 9, с. 48—49].

«Признание образного характера ощущений, — как полагает Л. О. Резников, — составляет один из главных элементов всей теории отражения» [7, с. 73]. Образный характер ощущений в теории отражения принципиально противопоставлен, во-первых, идеалистической концепции, в соответствии с которой вещи суть символы наших ощущений, и, во-вторых, агностицизму, трактующему ощущения как знаки внешних явлений [7, с. 73—75]. Разграничение понятий образа и знака имеет принципиальное значение для изучения субъектно-объектных отношений в процессе познания.

В современной лингвистике нет однозначного толкования понятия языкового знака. Известна концепция тройственности знака, в соответствии с которой в его структуру входят имя, денотат и десигнат. Широкое распространение в лингвистике нашла сосюррианская идея двусторонней сущности языкового знака («означающее — означаемое»). В работах В. З. Панфилова [10] и В. М. Солнцева [11] убедительно аргументирована концепция односторонней сущности знака. С точки зрения теории отражения представление о знаке как об односторонней сущности является наиболее последовательным: признавая языковой знак формой отражения действительности, мы не можем включать в его структуру объект отражения, который, как известно, существует независимо от отражения. Признание односторонней сущности знака, кроме того, избавляет лингвистов от определенного дуализма, т. е. необходимости рассматривать знак как некое единство материального и идеального. Итак, предмет и понятие исключаются из структуры знака. Связь знака с предметом или понятием составляет его значение, т. е. отражательную функцию.

Существенным признаком знака является то, что он входит в определенную семиотическую систему (язык, система дорожных знаков, паралингвистические средства и т. д.). Являясь достоянием коллектива, знак объективен. Образ, в отличие от знака, субъективен и идеален. Он непосредственно обращен к его носителю-субъекту, представляя в целом

его внутренний субъективный мир. Эта обращенность объективного содержания непосредственно к субъекту означает, что последний имеет индивидуально неповторимый информационный код, который... определяется неповторимостью жизненного пути, индивидуального опыта данного субъекта» [12, с. 4—5]. Субъективность образа, следовательно, определяется индивидуальностью ощущения и восприятия.

Знак и образ характеризуются различным отношением к действительности. Знак соотносится в речи с конкретным предметом (референтом) и/или представлением (денотатом). Образ связан с действительностью односторонней связью. «Отнесенность образа к предмету является такой, что никакого другого содержания, кроме того, которое присуще предмету и его роли в жизни отражающего существа, у образа нет», — утверждает Л. О. Резников [7, с. 77]. Предположить, что наши ощущения суть знаки, а не образы, значило бы допустить непропорциональный разрыв между реальной действительностью и ее отражением в нашем сознании.

Знак и образ различаются также по признаку наличия/отсутствия подобия с объектом. Знак произволен, что элементарно доказывается существованием различных слов для именованного одного и того же предмета в разных языках. «...Материальная сторона языковых единиц (или элементов других знаковых систем) репрезентирует предметы того или иного рода, с которыми она не имеет какого-либо существенного подобия или сходства» [13, с. 46]. Образ — изоморфен, сходен с изображаемым им предметом.

Изоморфность образа и предмета не предполагает, однако, их тождества. Отражение может быть «лишь приблизительно верным, и дело здесь, безусловно, не в зеркальности, не в простой копии того, что изображается ощущением в частности или сознанием в целом, а в потенциальной возможности человека охватить, обнаружить в открываемом перед ним мире самую сущность вещей и явлений» [14, с. 45].

Ограниченность, приблизительность отражения в системе «человек — действительность», как представляется, связана с двумя факторами. Первый из них состоит в том, что отражающий аппарат человека (мозг, органы чувств и нервная система) имеет физические пределы, как известно, существенно различные у разных индивидуумов. Второй фактор состоит в выборочном характере отражения, в дискретном принципе восприятия и преобразования действительности [15, с. 21—35]. Этот фактор детерминирует «созидательную сущность отражения» [16, с. 27] и позволяет рассматривать его в качестве «структурной основы творчества» [16, с. 25]. Тезис о созидательной сущности отражения имеет особое значение в диалектико-материалистической теории познания, представляя познание как «процесс восприятия и переработки объективных сведений, содержательность (семантика) и полезность (прагматика) которых в значительной степени определяется уровнем развития общественной практики и теоретического мышления, установкой и целями субъекта, структурой его сознания» [16, с. 27].

Ограниченный, огрубленный характер образа по сравнению с предметом является общим свойством отражения, однако лишь на его высшем уровне — уровне человеческого восприятия — ограничение и огрубление образа есть сознательный процесс. «Структура познавательного аппарата человека, — пишет В. Ф. Кузьмин, — не приспособлена к тому, чтобы сразу и полностью воспроизвести в идеальной форме объект во всей его сложности и конкретности. Это невозможно, так как объект бесконечен в своих свойствах, и в каждый отдельный отрезок времени — не нужно, так как затруднило бы всякую возможность использования тех или иных свойств предмета на практике» [17, с. 47].

Заметим, что названные выше факторы не остаются неизменными в ходе исторического развития человеческого общества. Физическая ограниченность наших чувств компенсируется постоянным совершенствованием инструментов, служащих для познания мира. Современный человек имеет возможность «ощущать» такие физические свойства предметов, которые недоступны его пяти природным чувствам (радиоизлучение, электропро-

водность и т. п.). Одновременно возникает потребность более точного, более адекватного научного осмысления мира, связанная с практическими и духовными устремлениями человека.

Основной закон отражения состоит в первичности объекта и вторичности образа, т. е. предмет существует независимо от отражения, но возможность отражения определяется существованием предмета.

Гносеологическое сходство (адекватность) образа и предмета состоит, по В. С. Тютину, в следующем: 1) в соответствии «качественной характеристики образа (и его элементов) природе оригинала (и его элементов)»; 2) в соответствии «структуры образа структуре оригинала»; 3) в соответствии «количественных характеристик образа и оригинала»; 4) в «семантическом отношении» [18, с. 178], которое «отличает психическое отражение (как собственно отражение) от отражения в неживой природе» [18, с. 156].

Философское понятие социального, человеческого отражения коррелирует с понятием творчества. Если отражение есть воздействие материального мира на человека, то творчество есть воздействие человека на мир. «Человеческое отражение,— считает Г. А. Давыдова,— в принципе не отделимо от деятельно-практической позиции, а последняя, в свою очередь, не возможна без отражения, составляющего ее необходимое условие и собственный внутренний компонент. Короче: одно предполагает другое и не мыслимо без другого» [19, с. 116].

Специфической формой отражения объективного мира в человеческом обществе является художественное творчество.

Художественное творчество как частный случай отражения может быть представлено в виде системы основных понятий, соотносимых с понятиями гносеологического аспекта отражения. Такими основными понятиями, связанными с художественным творчеством, являются искусство, предмет искусства и художественный образ.

Искусство отражает жизнь в художественных образах. В качестве художественного образа, в широком смысле, может функционировать любой значащий элемент произведения искусства, соотношенный с объективным миром. При исследовании структуры художественного образа нельзя не принимать во внимание его коммуникативный аспект, отличающий художественный образ от образов низших уровней. Функционирование художественного образа предполагает не только автора, но и публику. Автор, художник создает свое произведение, отражая объективность, общую для него и для публики, т. е. адресата произведения. В произведении, кроме объективной действительности, выражается индивидуальность художника, его субъективный мир. Воспринимающий — читатель, зритель, слушатель — соотносит произведение с действительностью, т. е. воспринимает его, в соответствии с особенностями своей индивидуальности: жизненного опыта, темперамента, компетентности.

Литературный (речевой) образ является видом художественного образа, как художественная литература в целом является видом искусства. Специфика художественной литературы как искусства и, соответственно, специфика литературного образа определяется материалом: этим материалом является язык. Литературный (речевой) образ может быть определен вслед за Л. И. Тимофеевым [20, с. 60] как конкретная и в то же время обобщенная картина человеческой жизни, имеющая эстетическое значение и созданная средствами языка. Материальными носителями литературного (речевого) образа являются языковые единицы, понимаемые как единства знака и значения.

Однако сами языковые единицы — морфемы, слова, словосочетания — образностью не обладают. Их отношение к явлениям объективной действительности носит знаковый характер. Образными могут быть индивидуальные, неповторимые выражения, адекватно отражающие объект. Например, слово *заяц* не обладает образностью само по себе. Но это же слово, произнесенное в конкретных обстоятельствах, может создать образ. Называя зайцем трусливого человека, мы уже не просто имеем дело со словесным знаком. Говоря: *Заяц!*, — мы в свернутой и образной форме

выражаем суждение (этот человек труслив: заяц труслив, следовательно, этот человек подобен зайцу).

Принцип адекватности в образной речи проявляется по-разному. Речевой образ многослоен. В стихе «Гарун бежал быстрее лани» эксплицитно выражен внешний признак, общий для двух объектов, — быстрота, однако в структуре образа заключен и скрытый общий признак — пугливость, отсутствие мужества (заметим, что поэт воспользовался именем существительным женского рода).

Иногда внешний признак является второстепенным, служит как бы формальной основой образного выражения, а скрытый, имплицитный признак является более существенным с точки зрения смысла. Знаменитый зонг Брехта внешне строится на контрасте:

Und der Haifisch, der hat Zähne,
Und die trägt er im Gesicht.
Und Macheath, der hat ein Messer,
Doch das Messer sieht man nicht.

(B. Brecht, Dreigroschenroman)

У акулы — зубы-клинья.
Все торчат, как напоказ,
А у Мэки — нож, и только,
Да и тот укрыт от глаз.

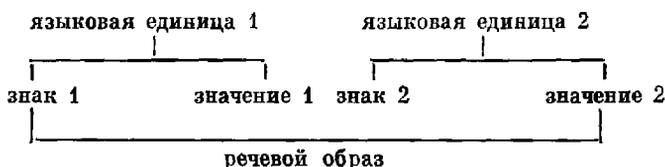
(Перевод С. Анта)

Однако доминирующей темой образа является сопоставление Макхита с акулой по не названным, но весьма прозрачным признакам: сила, жестокость, безжалостность.

Речевая образность возникает на пересечении двух систем: эстетической, надъязыковой (художественный вымысел) и лингвистической (языковое оформление). Семантика речевой образности, следовательно, включает в себя два вида отражения: 1) отражение действительности посредством слова [21, с. 78]; 2) отражение действительности художественными средствами, где искусство слова рассматривается в одном ряду с живописью, балетом, кино и т. д.

Определив речевую образность как разновидность художественного отражения действительности языковыми средствами, попытаемся установить системные отношения между образом и языковой единицей.

Речевая образность возникает в случае установления особого рода семантической связи между двумя языковыми единицами, когда материальный знак одной языковой единицы ассоциируется со значением другой:



В иерархии языковых единиц представляется целесообразным рассмотреть образные потенции фонемы, морфемы, слова, словосочетания, предложения и сверхфразового единства.

Общим признаком образа, сопоставимого с единицами разных уровней, является двойственная семантика этой единицы.

О семантике единицы первого уровня — фонемы — можно говорить условно. Ее семантика является относительной, т. к. фонема не коррелирует с конкретным денотатом, но обладает смыслоразличительной функцией. Однако даже такая элементарная единица, как фонема, а точнее — ее речевые манифестации (аллофоны, звуки речи) обладают образными потенциями, отражая реальный звучащий мир (ономатопея) или выступая в качестве динамического интенсификатора (аллитерация).

О морфеме обычно говорят как о минимальной значимой единице языка, имея в виду, что она может соотноситься с денотатом, хотя этот денотат является отвлеченным. Образные потенции единиц морфемного уровня находят свое выражение в образовании слов с компаративным или метафорическим компонентом и в каламбурах.

Слово (лексема) — единица наиболее гибкая по отношению к образности и располагающая максимальными образными потенциями в силу широты семантики, совмещающей денотативную и десигнативную функции. Подмена означаемого в речевой цепи, одновременная реализация двух значений составляют основу метафорического употребления. Язык как инструмент отражения обладает свойством накопления образных средств: речевые метафоры приобретают обобщенное значение и превращаются в языковые, т. е. образ как категория отражения переходит в состояние знака.

Переход речевой метафоры в языковую — сложный процесс. Иногда в результате такого перехода происходит утрата образности. Этапы подобной эволюции можно представить следующим образом: I. Появление индивидуальной метафоры, авторского образа («Ах, злые языки страшнее пистолета»); II. Повторение, воспроизведение образа в виде цитаты, аллюзии; III. Воспроизведение образа без связи с первоисточником; IV. Стирание образа (*гол как сокол, седой как лунь*). Сравнительные обороты здесь функционируют как чистые интенсификаторы, поскольку носители языка обычно не знают значений слов *сокол* и *лунь*.

Образность единиц фраземного уровня (словосочетаний) основывается на нарушении привычных связей и ассоциаций (ср. «полутемечные структуры» у И. В. Арнольд [22, с. 153—159], «формальная неправильность и семантическая правильность» у Т. В. Симашко [23, с. 6]). На уровне словосочетания реализуется элементарная образная форма — предметное сравнение.

Положения теории отражения помогают понять особенности употребления сравнений в речи. В специальных исследованиях, посвященных компаративным конструкциям, отмечается относительная свобода второго члена сравнения (иначе — эталона, агента). Это значит, что в одном и том же контексте мы без искажения смысла можем сказать: *он работает как лошадь, как вол, как муравей, как пчелка* и т. д. Эта свобода *secundum comparationis* дает возможность автору (говорящему) выразить желаемую коннотацию (второй слой образности) и связать данный образ с образной системой художественного произведения (или другого речевого акта). Особенности сравнения как элементарной формы речевой образности становятся вполне ясной в свете положения о первичности объекта и вторичности образа: объект существует независимо от отражения, но образ не может существовать без объекта.

Интересен с этой точки зрения анализ образной формы, которая в современной литературе находит все более широкое употребление — так называемого «перевернутого» образа, когда тема и эталон как бы меняются местами. Понимание двойственного характера языковой образности как формы отражения вполне обеспечивает адекватный анализ таких выражений. «Перевернутый» образ есть результат двойного отражения, отсюда особый эстетический резонанс, который имеет место при его восприятии.

Единица уровня предложения может иметь образный смысл подобно слову, с той разницей, что референтом является не отдельный предмет, а типовая или конкретная ситуация.

Сверхфразовый уровень, наименее изученный на сегодняшний день в целом, совершенно не изучен с точки зрения образности. Представляется, что обращение к сверхфразовому уровню является необходимым условием изучения образности, т. к. в этом случае может быть исследована о б р а з н а я с и с т е м а фрагмента текста, целого текста, индивидуального персонажа, автора и — шире — литературной эпохи. Лишь в данном случае становится доступным исследователю анализ динамики образности (как в синхронии, так и в диахронии).

Для разграничения специфической семантической отнесенности речевого образа и знака удобно применение оппозиции «значение vs. смысл».

В синхронии значение неотделимо от знака. Смысл (реализация того или иного лексико-семантического варианта, переносное употребление и т. д.) возникает в речи. Несколько сложнее диахронический аспект проблемы, поскольку языковая единица как единство знака и значения не остается неизменной. Автология и образность взаимопроникаемы: метафоризация порождает новые языковые единицы, а речевая практика порождает новую образность. Из непрерывности и постепенности этих двух процессов объективно следует такое состояние языка, которое на любом синхронном срезе характеризуется наличием переходных форм, маргинальных образований вроде полустершихся метафор, десемантизированных сравнительных оборотов, фразеологизмов, утративших мотивацию, и т. д.

Значение, закрепленное в парадигматике, объективно; оно не связано с речевой или мыслительной деятельностью индивидуума; по своей сущности оно социально. Смысл, как в образной, так и в автологической речи, индивидуален, субъективен.

Декодирование значения осуществляется на основе языковой компетенции, т. е. на основе знания знака. Знание знаков, из которых строится речь, является необходимым условием и для декодирования значения, и для декодирования смысла, однако последнее осуществляется путем определенных мыслительных операций, умозаключений. Смысл, следовательно, есть более сложное явление в системе «язык — речь», нежели значение языкового знака.

В выражении *I myself will hunt this wolf to death* «Сам затравлю я волка» (Shakespeare, Henry VI, part III) нет формальных показателей образного употребления существительного *wolf* «волк». Его нельзя считать и полумеченым образованием, т. к. его грамматическое и лексическое окружение не противоречат нормам валентности: в ситуации настоящей охоты это выражение было бы автологическим. Исходным моментом для декодирования данного выражения как образного является его выпадение из контекста. Противоречие между значением слова *wolf* «волк» и контекстом наводят читателя/зрителя на мысль о несовпадении значения и смысла слова. Контекст, цепочка номинации дают возможность расшифровать смысл слова *wolf* — речь идет о Клиффорде, которого преследует в битве Ричард.

Таким образом, в данном случае реципиент осуществляет две мыслительных операции: во-первых, устанавливает наличие образного выражения (метафоры) и, во-вторых, устанавливает скрытый референтный смысл по его эксплицитному компоненту. Смысл, как мы видим, не вытесняет и не подменяет значения, а как бы наслаивается на него. В европейской литературной традиции волку приписываются кровожадность, жестокость, лицемерие, трусость и тому подобные отрицательные качества (в произведениях Шекспира слово *wolf* употреблено 55 раз, из них 47 — в пейоративном контексте).

Метафорическое употребление слова *wolf* (вместо *Клиффорд*) в экспрессивной форме характеризует последнего, подчеркивает его кровожадность и трусость и выражает эмоциональное отрицательное отношение к нему со стороны Ричарда.

Необходимо отметить, что речевая образность как особая форма отражения действительности характеризуется высокой степенью абстрактности агента (знака — носителя образа), т. е. слово, употребленное в переносном смысле, обычно выражает отвлеченное понятие вне зависимости от этимологически исходного значения. Слово *wolf* в нашем примере не обозначает конкретного волка во плоти, а выражает сумму качеств, справедливо или несправедливо приписываемых этому животному. Иное дело — Клиффорд, референт данной метафоры: это конкретное действующее лицо пьесы, характеристика которого при помощи различных средств, включая образность, и осуществляется драматургом.

Рассматривая примеры: 1. *По улице бежала собака*, 2. *Я этой собаке не верю*, мы можем сказать, что в примере 1 значение знака совпадает со смыслом; поэтому текстовое употребление слова квалифицируется как автологическое. В примере 2 значение не совпадает со смыслом. Значение

слова остается прежним («собака»), а смысловую структуру слова можно обозначить как «человек + пейоративная коннотативная сема». Такое употребление квалифицируется как образное.

Любая форма образности, как речевой, так и неречевой, содержит в своей логической структуре три компонента: 1) референт, коррелирующий с гносеологическим понятием предмета отражения; 2) агент, т. е. предмет в отраженном виде; 3) основание, т. е. общие свойства предмета и его отражения, обязательное наличие которых вытекает из принципа подобия.

Языковым образным средством, в котором три перечисленных компонента представлены эксплицитно, является сравнение. Легко заметить, что три члена, которые выделялись в составе образного сравнения в античных риториках, — *primum, secundum, tertium comparationis* — изоморфны трем компонентам логической структуры образа в целом.

Разнообразие структурно-логических типов образных средств языка определяется эксплицитностью или имплицитностью референта, агента и основания. По этому признаку оказывается возможным выделить четыре типа образных форм:

Тип 1. Эксплицитно выражены все три компонента — референт, агент, основание: *Thy wit is as quick as the greyhound's mouth...* «Твой разум быстр, как пасть лягавой» (Shakespeare, *Much ado about nothing*).

Тип 2. Эксплицитно выражены два компонента — референт и агент: *... men are April when they woo...* «...мужчины подобны апрелю, когда они ухаживают...» (Shakespeare, *As you like it*).

Тип 3. Эксплицитно выражены два компонента — референт и основание: *Time goes on crutches till, love have all his rites* «На костылях плетется время, пока любовь в свои права не вступит» (Shakespeare, *Much ado about nothing*).

Тип 4. Эксплицитно выражен один компонент — агент: *And I to Ford shall eke unfold/How Falstaff, varlet vile, / His dove will prove...* «Открою Форду я глаза на то, как негодяй Фальстаф преследует его голубку...» (Shakespeare, *The merry wives of Windsor*).

Разграничение форм по признаку эксплицитности/имплицитности компонентов частично соотносится с традиционными классификациями. Так, тип 1 охватывает трехчленные сравнения, тип 2 — двучленные сравнения и метафоры, тип 3 — глагольные метафоры и эпитеты, тип 4 — замещающие метафоры.

Другим существенным признаком для спецификации форм образных средств языка является признак их грамматической оформленности. С этой точки зрения могут быть выделены как минимум три случая: оформление выражения специальными функциональными словами, обслуживающими сферу образности (*как, будто, like, as, as if* и т. д.); оформление образного выражения служебными словами, чаще выступающими в необразной сфере, например: *Sweet smoke of rhetoric!* «О, фимиами риторики!» (Shakespeare, *Love's labour's lost*); отсутствие специальных грамматических средств, т. е. полная омонимия автологии.

Омонимия образного выражения и автологии, как это имеет место, например, в случае замещающей метафоры, широко используется в художественной речи. Так, в драматургии Шекспира образные средства часто претерпевают определенное изменение, развитие, переосмысление. Такие изменения оказываются возможными в результате подмены имплицитных компонентов, сознательной или основанной на ложном понимании реплики другого действующего лица.

По признаку противопоставления образности и автологии могут быть выделены три вида переосмысления: а) автология → образность (метафоризация); б) образность → автология (деметафоризация); в) образность → образность (реметафоризация).

Метафоризация, т. е. трансформация буквального, необразного выражения в образное, обладает большой силой эмоционального воздействия, так как при этом наряду с фактором образности возникает фактор контраста. Например:

Now, Hamlet, hear:
'Tis given out that, sleeping in my orchard,
A serpent stung me; so, the whole ear of Denmark
Is by a forged process of my death
Rankly abus'd; but know, thou noble youth,
The serpent that did sting thy father's life
Now wears his crown.

(Shakespeare, Hamlet)

Слушай, Гамлет:
Идет молва, что я, уснув в саду,
Ужален был змеей; так ухо Дании
Поддельной басней о моей кончине
Обмануто; но знай, мой сын достойный:
Змей, поразивший твоего отца,
Надел его венец.}

(Перевод М. Л. Лозинского)

Деметафоризация, т. е. буквализация образного выражения, часто используется как средство создания юмористического эффекта. Например:

Shylock. My own flesh and blood to rebel
Solanio. Out of it, old carrion! Rebels it at these years?
Shylock. I say my daughter is my flesh and blood.

(Shakespeare, The Merchant of Venice)

Шейлок. Восстали плоть моя и кровь!
Соланио. Ах ты, старый кобель! Восстали плоть и кровь в твои-то годы?
Шейлок. Я говорю о дочери своей.

(Перевод наш.— М. С.)

Реметафоризация представляет собой особый вид переосмысления образности, когда в тексте осуществляется подмена основания. Например:

Second Lord. The swallow follows not summer more willing
than we your lordship.

Timon. (Aside). Nor more willingly leaves winter; such
summer-birds are men.

(Shakespeare, Timon of Athens)

«2-й Гость. Ласточка не так охотно следует за летом,
как мы за вами.

Тимон (в сторону). И не так поспешно убегает от зимы.
Да, люди — перелетные птицы!»

(Перевод П. И. Вейнберга)

Переосмысление образности в драмах Шекспира часто бывает сюжетно значимым. На подобного рода переосмыслении (деметафоризации) основана, например, мистификация в «Макбете».

Be bloody, bold, and resolute; laugh to scorn
The pow'r of man, for none of woman born
Shall harm Macbeth.

(Shakespeare, Macbeth)

«Будь смел, кровав! Презри людской закон!
И знай, что тот, кто женщиной рожден,
Макбету не опасен».

(Перевод А. Радловой)

Ошибка Макбета состоит в том, что он воспринимает прорицание духа как троп: т. е. будто бы никто не может причинить ему вреда. Лишь в фи-

нале трагедии выясняется, что слова *none of woman born* содержат буквальный смысл, когда Макдуф сообщает Макбету следующее:

Despair thy charm;
And let the angel whom thou still hast serv'd
Tell thee Macduff was from his mother's womb
Untimely ripp'd.

(Shakespeare, Macbeth)

«Прочь. колдовство!
Пусть ангел зла, которому служил ты,
Тебе расскажет, что Макдуф до срока
Из чрева матери был вырван»

(Перевод А. Радловой)

Кроме структурно-логического и грамматического подходов к образным средствам языка весьма важен лексико-семантический подход. Этот подход особенно сложен, т. к. лексико-семантическая классификация образных средств языка может быть очень разветвленной.

Речевой образ может быть построен на сопоставлении или контрасте различных явлений действительности — от отдельного предмета до широкой ситуации. В соответствии с этим разграничением целесообразно различать предметные и ситуативные образы. Такое деление вскрывает качественное различие сложности объектов отражения, и, кроме того, этому разграничению соответствует определенное различие в грамматическом оформлении образных средств. Так, типичным оформителем предметного сравнения в английском языке является союз *like*, а оформителем ситуативного сравнения — союз *as if*.

Следствием двойственной природы образных средств языка, т. е. их одновременной принадлежности к языковой и художественной сфере, объясняется уже упомянутая относительная свобода варьируемости объекта. Например, агент мелиоративной метафоры при описании красивой женщины у Шекспира может входить в различные лексико-семантические группы (роза, звезда, жемчужина, Венера, Диана, голубка, лань и т. д.). Замена одного агента другим, даже принадлежащим совсем к другому классу, не изменила бы существенно смысла текста, изменив только образные обертоны.

Итак, образные средства языка представляют собой сложную форму человеческого отражения. Они возникают на пересечении двух систем: системы художественного отражения, каковой является искусство в целом, и системы языкового отражения действительности, включая мир чувств и мыслей человека.

Языковое и художественное в образной речи не соотносятся как форма и содержание, а абстрагируются как объекты двух различных отношений человека к действительности, соединенные в одной форме отражения. Так называемое «образное значение», следовательно, не может рассматриваться как семантический компонент языковой единицы; собственная (автологическая) и переносная семантика не могут, строго говоря, рассматриваться в одном семантическом ряду, поскольку образная семантика сложнее автологической.

ЛИТЕРАТУРА

1. Назаренко В. А. Язык искусства. — Вопросы литературы, 1958, № 6.
2. Назаренко В. А. Еще раз о языке искусства. — Вопросы литературы, 1959, № 10.
3. Ефимов А. И. Стилистика художественной речи. М., 1961.
4. Пустовойт В. Г. Через жизнь — к слову. — Вопросы литературы, 1959, № 8.
5. Назаренко В. А. Язык искусства (О мастерстве поэта и прозаика). Л., 1961.
6. Ученова В. В. Гносеологические проблемы публицистики. М., 1971.
7. Ревников Л. О. Гносеологические вопросы семантики. Л., 1964.
8. Коршунов А. М. Теория отражения и творчество. М., 1971.
9. Михайлова А. А. О художественной условности. Л., 1966.
10. Панфилов В. З. О гносеологических аспектах проблемы языкового знака. — ВЯ, 1977, № 2.

11. Солнцев В. М. Языковой знак и его свойства.— ВЯ, 1977, № 2.
12. Гюлтин В. С. О природе образа (Психическое отражение в свете кибернетики). М., 1963.
13. Пахфилов В. З. Философские проблемы языкознания (Гносеологический аспект). М., 1977.
14. Лейзеров Н. Л. Образность в искусстве. М., 1974.
15. Анохин П. К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. М. 1968.
16. Морозов М. Н. Творческая активность сознания (Методологический анализ естественнонаучных аспектов). Киев, 1976.
17. Кузьмин В. Ф. Субъективное и объективное (Анализ процесса сознания). М., 1976.
18. Гюлтин В. С. Отражение, системы, кибернетики. Теория отражения в свете кибернетики и системного подхода. М., 1972.
19. Давыдова Г. А. Творчество и диалектика. М., 1976.
20. Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. М., 1976.
21. Брагина А. А. Киноурок: слово — предмет — образ — ситуация.— Русский язык за рубежом. 1978, № 3.
22. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка (Стилистика декодирования). Л., 1973.
23. Симашко Т. В. Анализ метафорического высказывания в русском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1980.

ДЕМЬЯНКОВ В. З.

ПОНИМАНИЕ КАК ИНТЕРПРЕТИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Слово «понимание» настолько привычно в обыденной речи, что ему нередко отказывают в праве на терминологичность в лингвистике. А ведь исследование языка как раз и заключается в выяснении того, какими языковыми средствами и опираясь на какие «вехи» в речи, в тексте и т. п., мы достигаем понимания [1]. Важно поэтому выяснить: а) какие действия выполняет «понимающий», каким образом и в какой последовательности и б) как говорящий обеспечивает понятность своей речи.

В задачу данной статьи входит рассмотрение существующих концепций «понимания», которое позволило бы разграничить собственно «понимание», «уразумение» и «недоразумение» как разновидности общего понятия «интерпретация».

Концептуальный анализ в лингвистике опирается обычно на следующие две линии: а) рассмотрение того, как употребляются слова, соответствующие конкретному понятию (в данном случае этими словами являются «понимание», «понятность», «понимать» и т. п.), и б) сопоставление способов определения понятия и косвенных его характеристик в предшествующих исследованиях. Обе линии связываются в истории науки с именем Аристотеля. Из них в данной статье предпочтение отдается второй, нашедшей свое естественное продолжение в «стиле семиологической грамматики» [2].

В определение «понимания» входит набор вспомогательных характеристик, которые можно — за отсутствием лучшего термина — назвать «модулями понимания». Это — составные части процесса, образующие относительно независимые подзадачи.

Начнем с первого модуля — использования языкового знания. «Понимание» — это то, что объединяет автора высказывания и его адресата. В этом смысле «понимание» и «язык» — понятия одного ряда [3]. Возможности, предоставляемые языком для понимания, соотнесены с тем, что А. Ф. Лосев называет «языковой валентностью» [4]. В рамках данного модуля язык определяет «понимание» и является его необходимым условием [5, с. 140]. В понимание вовлечена определенная степень уверенности в адекватном знании языка высказывания [6, с. 211]. Соответственно, можно говорить о таких характеристиках «понимания», как компетентность в языке и языковая уверенность. Частное проявление компетентности — владение значением слов, входящих в понимаемое выражение [7, с. 84].

И компетентность, и языковая уверенность очень индивидуальны. Стандарт компетентности — владение языком в определенном объеме — меняется с развитием языка и определяется чем-то вроде «общественного мнения». Этот стандарт не всегда прямо определяет языковую уверенность: так, мы можем иногда и не подозревать, что владеем языком ниже стандартного уровня, когда интерпретируем речь другого поколения или общаемся на иностранном языке, что может служить поводом для различных недоразумений.

В свое время Кондильяк высказал следующее мнение: «Но согласитесь, что часто вы говорите на своем языке, сами не понимая, что вы говорите, или — самое большее — вы понимаете себя приблизительно... По-видимому, чтобы поддержать беседу между собой, мы молчаливо соглашаемся, что слова замещают идеи, подобно тому, как в игре жетоны замещают деньги. И хотя все в один голос осуждают тех, кто играет безрассудно, не будучи осведомлен о цене жетонов, всякий может безнаказанно гово-

речь, не будучи обучен цене слов» [8, с. 187—188]. Действительно, отношения между знаками языка бывают осознаны в различной степени. Какова же степень фиксированности этих отношений? Могут ли они осознаваться как меняющиеся по ходу понимания? В. Н. Волошинов, видимо, считал, что не могут: «...понимание может осуществляться только в каком-нибудь знаковом материале (например, во внутренней речи)... Ведь понимание знака есть отнесение данного понимаемого знака к другим, уже знакомым знакам...» [9, с. 17—18]. Ведь в противном случае, т. е. если бы система не была фиксирована, такое отнесение нельзя было бы представить как сопоставление знаков. Но разве исключены случаи, когда по ходу понимания усваиваются новые знаки (слова, конструкции, новые значения и т. д.)? Тогда «понимание знака» выглядит не как соотнесение части интерпретируемого выражения с эталоном (хранимым в жесткой системе знаков), а как двойная операция: гипотетическое расширение системы (за счет введения в нее нового элемента и переоценки значимостей уже имеющихся в ней элементов) и интерпретация самого выражения на фоне новой системы. Например, такая двойная операция требуется для понимания предложений: *Назовем квадратосферой фигуру, похожую одновременно на квадрат и на сферу; В дальнейшем будут рассматриваться только альфа-кентавры, т. е....*

В тех концепциях, в которых понимание предложения предполагает реконструкцию анализа предложения на каждом из лингвистических уровней [10], жесткость системы не постулируется явно. Однако при этом весьма редки попытки показать, как такое понимание осуществлялось бы в случае указанной двойной операции.

Итак, в данном модуле выявляется та характеристика понимания, которую можно назвать языковой закрепленностью понимания, причем в граничных случаях имеем: а) жестко установленный код (исключающий какие-либо новые знаки) и б) совершенно неизвестный интерпретатору язык (тогда, если и происходит понимание, то только на основании других модулей). Реально же мы имеем дело с массой промежуточных степеней закрепленности.

Второй модуль представляет собой построение и верификацию гипотетических интерпретаций. Ход понимания как процесс порождения ожиданий (гипотез) относительно дальнейшего течения интерпретируемых событий (в частности, относительно того, что в понимаемом тексте последует далее) включает в понимание и процедуру подтверждения или отклонения гипотез [11]. При таком подходе проясняется роль принципа линейного разворачивания речи в интерпретации. Понимая дискурс, мы не ждем, пока закончится очередное предложение (чтобы после этого начать его анализировать): понимание параллельно линейному разворачиванию речи. Однако, в силу линейности, сложные отношения между членами структуры (высказывания, дискурса и т. д.) подаются как бы в «сплюсненном» виде. Скажем, логически однородные члены суждения в речи по необходимости выстраиваются в ряд.

Поэтому, во-первых, адекватное понимание связано с распознаванием истинных иерархий в высказывании, что не всегда однозначно выполнимо и обычно имеет статус гипотезы. Во-вторых, по ходу общения возможно переосмысление ранее понятого: в терминах данной концепции это объясняется как отказ от той или иной гипотетической интерпретации на фоне последующего дискурса (о таком эффекте «ретроакции» см. [12]). В-третьих, одни интерпретации высказывания в конкретном контексте более правдоподобны, чем другие, что свидетельствует об определенной иерархии гипотез по шкале правдоподобия и о том, что по ходу дальнейшего понимания одни из гипотез будут легче отвергнуты, чем другие. И, в-четвертых, понимание «сразу» тем легче, чем дольше мы общаемся: если интерпретирование представить как прохождение лабиринта (разветвления в лабиринте — это альтернативные возможности интерпретации), то естественно говорить о постепенном привыкании к специфике лабиринта, к степени его запутанности и т. п. Действительно, понимание можно было бы охарактеризовать как постепенное приспособление к меняющемуся контек-

сту [13]. Поэтому привычность понимания является той переменной величиной, которая характеризует и легкость выдвижения гипотез.

Третий модуль — «свое н и е» сказанного. Точке зрения Кондилляка («понимание — это обмен знаками») противостоит концепция, согласно которой люди, общаясь, «затрагивают друг в друге то же звено цепи чувственных представлений и понятий, прикасаются к тому же клавишу своего духовного инструмента, вследствие чего в каждом восстают соответствующие, но не те же понятия» [5, с. 140]. Таким образом, понимание другого человека рисуется как «спроисходящее от самого себя» [5, с. 142]. В терминах направления, получившего название «семантики возможных миров», это положение можно сформулировать так: при понимании чужой речи некоторый внутренний мир (называемый «модельным миром») строится по конкретному высказыванию, тексту и т. п. из внутренних ресурсов интерпретатора, а не берется поэлементно из чужого внутреннего мира (о философских основах «семантики возможных миров» см. [14]; интересная интерпретация понятия «возможного мира» содержится в [15]).

«Внутренний мир» — это отрывок, или моментальный срез внутренней жизни. «Модельный мир» как бы «достраивается» до внутренней жизни интерпретатора и существует иногда параллельно дальнейшему течению его внутренней жизни, а иногда и полностью исключает ее (когда мы «с головой» уходим в перипетии захватившей нас книги). До того момента, как мы впервые столкнулись с главным героем литературного произведения (или с другим лицом, глазами которого мы следим за ходом событий), он «прожил» нашу личную внутреннюю жизнь: наше с ним прошлое одинаково. Если далее автор считает нужным сообщить дополнительные сведения о прошлом героя, то тем самым он меняет и момент нашего с ним отождествления. Таким образом, мы погружаемся все больше в другую жизнь, в которой играем совсем не ту роль, что в реальной внутренней жизни. Впрочем, данная метафора «внутреннего мира», — пусть даже и разросшаяся в четко сформулированную логико-философскую концепцию, может, к сожалению, привести к излишним упрощениям: интерпретация художественного произведения опирается, помимо прочего, на конкретную традицию чтения, хранимую в конкретную эпоху конкретным народом (обилие интересных наблюдений и обобщений можно найти в книге Д. С. Лихачева [16]).

Модельный мир строится как в «контексте психики» (понимание «внутреннего знака», или самонаблюдение), так и в рамках «идеологической системы» в смысле В. Н. Волопинова (при понимании чужой речи) [9, с. 45]. Понимание обогащено интерпретацией контекста и знаниями интерпретатора, взятыми в рамках социума, и поэтому отлично от простого «узнавания» [9, с. 82]. «Акт понимания» требует умственного усилия [17]: комбинирование и наложение различных контекстных условий — результат деятельности субъекта понимания, а не простое взаимодействие обстоятельств самих по себе. Этот акт по-разному представляется различным исследователям. 1) Он в корне отличается от воссоздания «картины. рисуемой предложением» [18, с. 19]. Действительно, предложениям типа *Бедность — не порок* такую картину приписать трудно, а понимая предложение *У собаки четыре лапы*, мы вовсе не всегда сначала «видим» контуры знакомой Жучки, а затем и каждую из ее конечностей, одну за другой или все вместе. 2) Понимание предложения — это отыскание тех фантастических образов, которые наделяют выражение психическим характером, приписывая тем самым содержание высказыванию [19]. Первый взгляд «вкладывается» во второй, что предreshает неуспех попыток представить содержание предложения исключительно с помощью зрительных изображений (ср., например, запись семантической структуры предложения в рамках предикатно-аргументной формулы, когда предикаты отображают только физические, «зримые» состояния и действия, а аргументы — только зрительно воспринимаемые сущности) [20, 21].

Во многих направлениях логики условия истинности высказывания в конкретном возможном мире определяются как соответствие этому воз-

можному миру, рассматриваемое, в свою очередь, как набор элементарных пропозиций (т. е. истинное высказывание должно быть равносильно конъюнкции некоторого подмножества пропозиций из этого набора). В концепциях, в которых понимание приравнивается знанию того, какие условия истинности зависят от значения слов и от конструкции предложения [22], построение модельного мира можно представить как «пошаговое интерпретирование, основанное на правилах перевода синтаксической структуры предложения и входящих в него лексических единиц, и установление соответствующей пропозиции, которая сама входит в определенное множество возможных миров (в смысле Хинтикки), постепенно сужающееся по ходу интерпретации. Такой процесс включает установление референции и значения морфем или слов, из которых предложение составлено [10]. Получаемый модельный мир (один или несколько) отражает не только структуру мыслимой «картины» для предложения, но и соответствия между списком «персонажей» этой картины и множеством допустимых исполнителей их ролей в таком возможном мире. В результате сужения возможностей по ходу интерпретации бесконечное множество сущностей сводится к конечному множеству символов [7, с. 84].

Правдоподобие такого взгляда подтверждается тем, что о понимании говорят не только когда узнается значение сказанного, но и когда понимающий устанавливает, «о чем идет речь» [23]. Возможность резюмировать даже сравнительно длинный дискурс представляется тогда как способность «выхватить» из модельного мира наиболее существенные черты (представленные элементарными пропозициями). Те связи, которые улавливаются в таком мире (т. е. либо «встраиваются» в него самим интерпретатором по ходу понимания, либо — неожиданно для самого интерпретатора — как бы сами «высвечиваются» из получаемого результата), позволяют сравнительно легко, оперативно находить информацию, необходимую для резюмирования и дальнейшей «достройки» этого мира [24] и существенную для дальнейшего понимания. Вследствие этого информация как бы «выстраивается» по степени существенности для говорящего в определенной иерархии, что создает в модельном мире своеобразное «поле напряжения» [25]. Строя модельный мир, интерпретатор устанавливает отношение между символом и фактом [26], но не непосредственно, а с помощью этого модельного мира.

Взгляд на понимание как на процесс интерпретации выражает то представление, что слова — это обычно не более, чем «намек» [17]: задача состоит не в том, чтобы их «расшифровать» (т. е. перекодировать), а в том, чтобы установить, что за ними лежит. Причем существенно, что мы «понимаем не только то, что читаем, но и во что верим» [27, с. 301], т. е. констатируем непротиворечивость друг другу уже построенной части модельного мира, нашей внутренней жизни и ориентации дальнейшего интерпретирования. Понимание не сводится к пассивному зеркальному отражению свойств вещи (это было очевидно уже средневековому философу Дунсу Скоту [28]): в интерпретацию мы вкладываем и часть своего внутреннего мира. Поэтому если и говорить о понимании как о «процессе постижения смысла», то постижение следует трактовать как постепенное «доставивание», восполнение недостающих деталей, как подключение к целому, но не как угадывание целого.

Итак, выявляются следующие характеристики третьего модуля понимания: степень реалистичности (или, наоборот, фантастичности) интерпретации, правдоподобие, контраст модельного мира и внутренней жизни интерпретатора, «поле напряжения» интерпретации, активность понимания.

Четвертый модуль устанавливает замысел, намерения и мотивацию высказывания. Для этого интерпретатор не может обойтись простым угадыванием, по двум причинам. Во-первых, интерпретируется и собственная речь, поэтому неудачно говорить об угадывании вообще: скорее в таком случае мы имеем дело с восприятием собственной речи «со стороны» [29], с «проигрыванием про себя» возможных результатов высказывания по ходу произнесения или написания его (или

даже по ходу его обдумывания). Модельный мир говорящего (получаемый по ходу интерпретации собственной речи) вовсе не всегда совпадает с текущим срезом его действительной внутренней жизни: иначе был бы правилом, а не исключением тот случай, когда «что на уме, то и на языке». Во-вторых, конкретный способ понимания чужого высказывания может выходить далеко за пределы замысла автора речи [5, с. 181].

Интерпретирование замысла возможно в двух планах: а) установление того, что имеется в виду в высказывании (и, возможно, выражено неадекватно, — скажем, вследствие слабой компетентности в языке), и б) распознавание стратегического замысла говорящего или интерпретация замысла на основании только высказывания (когда мы опасаемся, что нашу речь истолкуют превратно, последний случай приобретает особую важность). Нас поймут (распознав замысел), в соответствии с первой возможностью, если мы оговоримся, перепутаем фамилию, не сможем справиться с акцентом и т. п. Когда же фразу *Как здесь дует* истолковывают как просьбу закрыть форточку, мы имеем дело с установлением второго плана интерпретации.

Однако и тот, и другой случаи заставляют говорить о «предсказывающем» понимании [30, 31], т. е. о постоянном конструировании и корректировке «теории» интерпретатора относительно целей, мотивов и намерений лиц, «действующих» в модельном мире и в ситуации высказывания. Итак, к характеристикам понимания данного модуля относятся: степень отстраненности (или наоборот, эмпатии) понимания и его «теоретичность».

С помощью следующего, пятого модуля мы осознаем не тождественность внутреннего и модельного миров. Между мирами говорящего и интерпретатора нет тождества: этим понимание отличается от простого восприятия знаков. Даже когда говорящий «понимает себя» (интерпретирует собственную речь), его внутренний мир меняется. Вот почему справедливы слова А. А. Потебни, что «язык есть средство понимать самого себя» [5, с. 149] и что «при понимании к движению наших собственных представлений примешивается мысль, что мыслимое нами содержание принадлежит вместе и другому» [5, с. 141]. То «согласие психического состояния слушающего» с говорящим, которое Г. Пауль считал необходимым условием понимания [32, с. 97], представляет собой не реальное тождество, а оценку того, насколько близки модельные миры говорящего и интерпретатора, а в конечном счете, оценку близости их внутренних миров. Легкость понимания определяется не только «количественным средств», затраченных на достижение понимания, но и задачами общения: чисто «количественная» сторона, определяемая «расходом» языковых средств на достижение понимания [32, с. 372], может быть названа «рентабельностью» понимания и определяет границы «терпимости» к неточностям выражения [26] и к трудностям интернализировать сказанное. Заметим, вслед за [33], что ни терпимость, ни эмпатия не предполагают однозначного согласия с мнением.

Отношения внутри модельного и внутреннего миров по-разному осознаются в интерпретации. Это является содержанием шестого модуля: «Для понимания речи нужно присутствие в душе многочисленных отношений данных в этой речи явлений к другим, которые в самый момент речи остаются, как говорят, „за порогом сознания“, не освещаясь полным его светом» [18, с. 44]. В полярных случаях связи остаются вне основного фокуса внимания или, наоборот, входят в этот фокус. Соответственно, различаются фокус понимания и фон понимания (этот фон создается в результате «вложения» неосознанных презумпций интерпретатора в модельный мир).

Соотнесение модельного мира и запаса знаний об объективном мире представляет собой содержание седьмого модуля. В результате интерпретирования запас знаний интерпретатора, или его «информационный запас», постоянно меняется. Понимание, не сопровождаемое таким изменением, представляет тот крайний случай, когда одно и то же высказывание многократно повторяется. Гораздо более типичен тот стиль понимания, который «совершается в нераз-

ривной связи со всею ситуацией осуществления данного знака», и поэтому и понимание самого себя, и «понимание внешнего знака включаются в единство объективного опыта» [9, с. 48].

Другая сторона такого соотношения, заключающаяся в контроле нашего внутреннего мира над процессом понимания, особенно подчеркнута в концепции «Трактата» Витгенштейна, который приравнивал понимание к знанию тех условий, при которых интерпретируемое суждение отражает истину ([34], ср. [35], [6] и [36], где понимание не ограничивается только этой стороной).

Развитием последнего взгляда можно считать концепцию Я. Хиптикки [37]. С одной стороны, понимание, по его мнению, нельзя приравнивать к построению всех образов, соответствующих конкретному интерпретируемому выражению: для сравнения всей совокупности этих образов с реальностью нам просто не хватило бы всей жизни. С другой стороны, установление условий истинности в этой концепции выглядит как конечный, проводимый шаг за шагом процесс выявления содержания предложения в соотносительности с реальным миром.

Этот подход прямолинейно приложим в случае высказываний с буквальным значением. Труднее дело обстоит, когда мы попытаемся в рамках «истинностной» концепции объяснить, почему даже заведомо ложные и противоречивые высказывания, метафоры, иносказания и т. п. понятны (хотя и не приводят к согласию сторон). Например, предложения *Вот это — стол, на нем сидят и Загнанный кентавр жадно выпил целый круглый квадрат одним залпом* вряд ли можно считать реально верифицируемыми. Однако они понятны вследствие «трансгрессии» (в смысле работы [38]), когда мы выходим за пределы буквального сопоставления тех состояний дел, которые задаются суждением, с реальными отношениями объективного мира (в той степени, в какой он нам известен). Этому способствует и то, что к моменту интерпретации мы уже подготовлены как текстом до данного высказывания, так и опытом общения с говорящим и с его метафорами. В противном случае, после неудачно сказанного естественно ожидать «поправки-извинения» автора речи, ставящей все на свои места (например, подготавливающий контекст может содержать в себе вводное выражение типа *в определенном смысле*, а поправка-извинение — часто, впрочем, молчаливо предполагаемая, — может звучать так: *если представить себе, что наш мир полон чудес*).

Проявлением того, что понимание связано с соотношением модельного мира, внутреннего мира интерпретатора и знаний о реальных положениях дел, является способность узнавать логические связи между фактами, известными интерпретатору, и задаваемыми ему вопросами. Внутренний мир интерпретатора входит в систему внутренних миров определенного социума — реального (окружающего данного индивида и относительно объективно оцениваемого им, скажем, в терминах таких ролей, как «отец», «мать», «сотрудник», «врач» и т. п.) и воображаемого (субъективные оценки членов социума, персонажи литературных произведений, художественных фильмов и т. п.). Еще одна сторона понимания поэтому соотносит модельный мир со знанием социальной среды: «понимание есть социальный институт, столь же фундаментальный, как и язык. Условия понимания определяются факторами социального характера» [27, с. 176]. Именно к этой сфере относится следование конвенциям общения или их нарушение, проведение стратегий убеждения и т. п. [39]. «Погружение» интерпретации в социум является разновидностью активного понимания.

Восьмой модуль соотносит интерпретацию с линией поведения интерпретатора. Понимание как действие настолько близко по характеру к ответу, что иногда его и приравнивают к невысказанному ответу: «Между пониманием и ответом вообще нельзя провести резкой границы. Всякое понимание отвечает, т. е. переводит понимание в новый контекст, в возможный контекст ответа» [9, с. 83]; «На каждое слово понимаемого высказывания мы как бы наслаиваем ряд своих отвечающих слов. Чем их больше и чем они существеннее, тем глубже и существеннее их понимание» [9, с. 123].

Несколько шире (но включая и названные свойства) представляется понимание некоторым конструкторам систем, «понимающих» естественный язык; так, в [24] понимание определяется как то, что присутствует в диалоге, а именно: а) проявление знания обсуждаемого предмета, б) способность запомнить смысл обращенных к понимающему реплик, в) способность отвечать на вопросы и г) способность задавать вопросы. Эти и подобные функции можно назвать направленностью понимания. Направленность может и не совпадать с ответом на вопросы, реакцией на приказание и т. п. А. Гардинер вообще считал, что подобные реакции не входят в собственно понимание языкового выражения [17]. Несколько в ином аспекте можно говорить о «направленности» в русле «философии обыденного языка», где понимание приравнивается к знанию того, как употребить слово в широком спектре предложений, где оно играет ту или иную роль. Иногда, впрочем, проводилось следующее разграничение: метафора «исполнения роли» уместна по отношению к элементам предложения, сами же предложения — это «пьесы» [40]. Доведенная до логического завершения, эта метафора не представляется правомерной [41, 42]: понимание не всегда «оперирование символами». Все с той же метафорой употребления мы имеем дело в определении понимания как установления класса тех контекстов, в которых данное выражение уместно [см. 43].

Расширительно характеризуя понимание в аналогичном направлении, иногда говорят, что понимать знание — значит использовать это знание уместным образом, а понимать задачу — это знать, какие процедуры необходимы для ее решения [44, 45]. Интуитивно ясно, что в таких случаях речь идет о чем-то, выходящем за рамки языкового понимания.

Девятый модуль связан с выбором «тональности» понимания. Из сказанного вполне естественно сделать вывод, что понимание — это неоднородная группа различных процессов. Интерпретатор всегда должен выбирать «ключ» понимания, или «тональность», чтобы обеспечить единство, целостность понимания. Этот ключ определяет взаимодействие модулей на протяжении более или менее длительного эпизода понимания и определяет само понятие «эпизод» (ср., впрочем, другой подход к понятию «эпизод» в работе [46]). Тональность меняется, когда по одному из модулей или по их совокупности в целом происходит передвижение. Например, на разных этапах общения мы в различной степени проникаемся согласием, симпатией к точке зрения и вообще к личности нашего собеседника; может меняться наше понимание и по степени активности, и по приспособленности к конкретным обстоятельствам интерпретации чужой речи и т. д. То, что можно было бы назвать «духом времени», «стилем эпохи» в применении к пониманию, видимо, есть не что иное, как одна из оценок ключа понимания (в наибольшей степени эта оценка связана с социальными характеристиками). Начиная читать произведение, написанное в известную нам эпоху, мы настраиваемся на нужную тональность, так и не меняя ее на всем протяжении чтения или постепенно передвигаясь в ту или иную сторону по хронологической оси. Например, настроившись на тональность «эпоха Пушкина», мы постепенно можем передвинуться в сторону ключа «современность», забыв удаленность автора от нас во времени настолько, что даже языковые особенности пройдут незамеченными: так один эпизод понимания незаметно переходит в другой.

Степень постоянства ключа понимания является характеристикой данного модуля. Другие понятия из теории музыки — канон, гармония, контрапункт и т. п. — также было бы интересно приложить к сфере понимания.

Итак, мы рассмотрели «модули понимания»; конкретный процесс интерпретации квалифицируется как понимание тогда, когда он оценивается в терминах этих модулей и получает набор характеристик в их рамках. Иными словами, «понимание» — это оценочный метатермин для процесса и результата взаимодействия модулей. Такое взаимодействие не следует рассматривать как переход от одного модуля к другому без возвратов и без параллелизма операций. Модульность предполагает и возможность диссонанса. Так, заставшая нас врасплох шутливо произнесенная угроза

(когда мы не знаем, как расценивать такой акт речи), неизбежные метафоры, неуместное (по оценке интерпретатора) произнесение этикетных фраз (например, *До свидания!*, когда ожидается *Добрый день!*), интерпретирование заумных высказываний и предложений с нарушениями грамматических правил — все это свидетельствует о возможности диссонанса понимания.

Интерпретируя выражение, мы обращаемся к нашим языковым знаниям, получаем «модельный мир», включенный в рамки нашего внутреннего мира, с одной стороны, и в рамки (реконструируемого) внутреннего мира автора речи, с другой. Примерно так можно представить себе выявление замысла высказывания. Модельный мир мы сопоставляем с собственным миром, в разной степени нами осознаваемым. В результате же соотнесения модельного мира, собственного внутреннего мира и нашей «теории объективного мира» мы корректируем тот или иной из них (а возможно, и каждый из них). При этом отражается то обстоятельство, что наш собственный мир входит в социальную систему миров. Получаемые оценки ориентируют нас в собственных действиях, речевых и неречевых. Все процессы интерпретации протекают как построение и верификация гипотез. Взаимодействие модулей и их настрой определяют различные тональности понимания, которые могут меняться от одного эпизода к другому.

«Уразумение» же (а оно не всегда приравнено к пониманию [47]) является разновидностью интерпретирования и зависит в значительной степени от контекста и цели, с которой употреблено высказывание. Кроме того, оно ограничено во времени, а поэтому представляет собой оперативное, а не полное, дедуцирование (параллельно собственно пониманию) обычно небольшого количества выводов, допускаемых суждением (гипотетически обнаруживаемым в интерпретируемом выражении) в рамках уже оцененного интерпретатором контекста речевого общения [48]. Поэтому уразумение вообще невозможно вне конкретной ситуации [49, 50].

Например, в ситуации, расцениваемой как «решение арифметической задачи», мы сразу понимаем предложение *Иван выше Петра, а Илья на два года старше Ивана и выше его*, однако не обязательно сразу можем «уразуметь» соотнесенность Ивана, Петра и Ильи по росту.

Анализ контекста, входя в уразумение, его не исчерпывает: при уразумении информация, извлекаемая из контекста, как бы соплагается с той, которая выводится и из самого высказывания [51]; в частности, «прагматическое» уразумение может быть представлено как серия процессов, во время которых носители языка оценивают высказывания с точки зрения определенных конвенциональных актов общения.

Именно уразумение имеется в виду под термином «понимание» у Гегеля, считавшего, что понять — значит «усмотреть так называемый естественный ход явлений, определяемый законами и отношениями рассудка (например, причинности, достаточного основания и т. д.)» [52]. Понимание делается невозможным, по его мнению, «если предположить существование личностей самостоятельных в отношении друг к другу и в отношении к содержанию объективного мира, а также если предположить абсолютность пространственной и материальной внеположности вообще» [52]. Таким образом, уразумение отличается от собственно понимания той выпуклостью, с которой «теория объективного мира», организующая информационный запас интерпретатора относительно логических связей объективного мира, представлена в интерпретации выражений. Уразумение, как представляется, выходит далеко за пределы лингвистики, являясь одним из проявлений разума в познании. В лингвистический аспект входит, так сказать, процедурная сторона понимания, конкретное же наполнение в виде теории объективного мира — это традиционно философская проблема, имеющая, тем не менее, выход в языкознание. Когда в прикладном языкознании пытаются моделировать уразумение как процесс «вложения» того, что сказано, в рамки уже известного интерпретатору [53], предполагают, что конкретное наполнение («база данных») уже содержательно описана.

В отличие от «непонимания», — случая, когда результат интерпретации не может быть расценен как «понимание», — при недоразумении происходит, по выражению К. Фосслера, на какой-то момент разрыв «духовно-языковой связи» между говорящим и слушающим: например, когда сказанное в переносном смысле понимается буквально [54]. Так, если кто-нибудь на фразу *Нужны мне ваши часы*, по незнанию русской идиоматики, серьезно отвечает: *Они мне и самому нужны*, — речь идет о недоразумении.

Недоразумение происходит, когда интерпретатор не является одновременно автором речи (или автор речи интерпретирует свое высказывание после момента речи). При этом интерпретация могла бы быть оценена как «понимание» с точки зрения «модулей понимания», но, по метаоценке автора, интерпретатора или стороннего наблюдателя, модельные миры говорящего и слушающего различаются в каком-либо существенном отношении.

Недоразумение проистекает вследствие различий при оценке только одного модуля (причем по одной или по нескольким характеристикам внутри него) или сразу нескольких модулей. Например, когда затронут модуль осознания отношений внутри модельного мира (это первый случай из двух названных), различаются недоразумения по поводу фокуса (центра) модельного мира и по поводу презумпций понимания (последнее — когда, скажем, у общающихся сторон имеется необоснованная иллюзия общности презумпций [55]). К межмодульным недоразумениям (это второй случай) относятся недоразумения по поводу идентичности и по поводу релевантности [56]. Первое возникает, когда общающиеся стороны обладают различающимися представлениями о референции конкретных имен и описаний. По такому поводу возможен обмен репликами следующего типа: — *Какой милый пейзаж!* — *Благодарю, это картина моей дочери.* — *Она прекрасна тоже, но я имел в виду вон ту.* Недоразумение по поводу идентичности — результат различий во взглядах на релевантность тех или иных элементов речи. Реакции в таких случаях бывают примерно следующего содержания: *Не вижу никакой связи между этими вещами; Какое отношение это имеет к нашей теме? А мне какое дело?*

Итак, предпосылкой для недоразумения является «почти что понимание».

Завершая, подчеркнем, что *понимать* — это оценочный метапредикат (типа предиката *быть истинным* А. Тарского, но не тождественный ему), который определяется через нейтральный предикат *интерпретировать*, охватывающий гораздо больший спектр явлений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Степанов Г. В. О границах лингвистического и литературоведческого анализа художественного текста. — ИАН СЛЯ, 1980, № 3, с. 195.
2. Степанов Ю. С. Имена, предикаты, предложения (Семиологическая грамматика). М., 1981, с. 23.
3. Арутюнова Н. Д. Фактор адресата. — ИАН СЛЯ, 1981, № 4.
4. Лосев А. Ф. О понятии языковой валентности. — ИАН СЛЯ, 1981, № 5.
5. Потебня А. А. Мысль и язык. — В кн.: Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976.
6. Henson R. What we say. — American philosophical quarterly, 1965, v. 2, N 1.
7. Kropasser H. Handbuch der Semasiologie. Heidelberg, 1952.
8. Кондильяк Э. Б. де. Трактат о системах. — В кн.: Кондильяк Э. Б. де. Соч. в 3-х т. М., 1982, т. 2.
9. Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке. Л., 1929.
10. Хомский Н. Синтаксические структуры. — В кн.: Новое в лингвистике. Вып. II. М., 1962.
11. Lehnert W. G. The role of scripts in understanding. — In: Frame conceptions and text understanding. Berlin — New York, 1980, p. 83.
12. Naess A. A necessary component of logic: Empirical argumentation analysis. — In: Argumentation: Approaches to the theory formation. Amsterdam, 1982, p. 20—21.
13. Kuroda S.-Y. Indexed predicate logic. — In: Chicago Linguistic Society. Papers from the 17th regional meeting. Chicago, 1981, p. 162.
14. Деллицев В. В. Философские проблемы семантики возможных миров. Новосибирск, 1977.

15. Зеегинцев В. А. О цельнооформленности единиц текста. — ИАН СЛЯ, 1980, № 1.
16. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979.
17. Gardiner A. The theory of speech and language. Oxford, 1932.
18. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М., 1958.
19. Husserl E. Logische Untersuchungen. Bd. 2 — Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. I. Teil. 2. Aufl. Halle (Saale), 1913, S. 74.
20. Anderson J. M. The grammar of case: Towards a localistic theory. London, 1971.
21. Talmy L. Figure and ground in complex sentences. — In: Universals of human language. V. 4. Syntax. Stanford, 1978.
22. Gochet P. Pragmatique formelle: théorie des modèles et compétence pragmatique. — In: Le langage en contexte. Études philosophiques et linguistiques de pragmatique. Amsterdam, 1980. p. 328.
23. Hartmann P. Zur kategoriellen Grundlegung der Syntax. — In: Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. Bd. 12. München, 1958, S. 49.
24. Raphael B. SIR: Semantic information retrieval. — In: Semantic information processing. Cambridge (Mass.), 1969, p. 33—35.
25. Boost K. Neue Untersuchungen zum Wesen und zur Struktur des deutschen Satzes: Der Satz als Spannungsfeld. Berlin, 1955.
26. Johnson W. People in quandaries. New York, 1946, p. 91.
27. Зеегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи. М., 1976.
28. Джозадае Д. В., Стяжкин Н. И. Введение в историю западноевропейской средневековой философии. Тбилиси, 1981, с. 155.
29. Степанов Ю. С. В поисках прагматики (Проблема субъекта). — ИАН СЛЯ, 1981, № 4.
30. Schank R. C. Predictive understanding. — In: Recent advances in the psychology of language. Formal and experimental approaches. New York, 1978.
31. Zandtner V. L. Speech production. Strategies in discourse planning. Hamburg, 1981, p. 35.
32. Пауль Г. Принципы истории языка, М., 1960.
33. Tonisson I. J. Some remarks about the connection between meaning and understanding. — In: Sprache, Logik und Philosophie. Wien, 1980, S. 547.
34. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958.
35. Cresswell M. J. Logics and languages. London, 1973.
36. Holdcroft D. Words and deeds. Problems in the theory of speech acts. Oxford, 1978.
37. Хиттичка Я. Кванторы, языковые игры и трансцендентальные рассуждения. — В кн.: Хиттичка Я. Логико-эпистемологические исследования. М., 1980, с. 289.
38. Wolski W. Schlechtbestimmtheit und Vagheit: Tendenzen und Perspektiven. Tübingen, 1980, S. 191.
39. Демьянков В. Э. Конвенции, правила и стратегии общения (интерпретирующий подход к аргументации). — ИАН СЛЯ, 1982, № 4.
40. Ryle G. Use and usage. — Philosophical review, 1953, v. 62.
41. Chomsky N. On the generative enterprise. Dordrecht, 1982, p. 12.
42. Searle J. Minds, brains, and programs. — In: The behavioral and brain sciences, 1980, v. 3, № 3.
43. Zwicky A., Sadock J. Ambiguity tests and how to fail them. — In: Syntax and semantics. V. 4. New York, 1975, p. 3.
44. Moore J., Newell A. How can MERLIN understand. — In: Knowledge and cognition. Potomac, 1974.
45. Simon H. A. Models of thought. New Haven — London, 1979, p. 447.
46. Бйм Х. Эпизоды в структуре дискурса. — В кн.: Представление знаний и моделирование процессов понимания. Новосибирск, 1980.
47. Garrett M. Experimental issues in sentence comprehension. — In: Pragmatic aspects of human communication. Dordrecht, 1974.
48. Dowty D. Word meaning and Montague grammar. Dordrecht, 1979.
49. Firth J. R. A synopsis of linguistic theory, 1930—1955. — In: Firth J. R. Studies in linguistic analysis. Oxford, 1957, p. 28.
50. Firth J. R. The treatment of language in general linguistics. — In: Firth J. R. Studies in linguistic analysis. Oxford, 1957.
51. Dijk T. A. van. Studies in the pragmatics of discourse. The Hague, 1981, p. 217.
52. Гегель Г. В. Ф. Философия духа. — В кн.: Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. М., 1977, с. 186.
53. Charniak E. Ms Malaprop, a language comprehension program. — In: Frame conceptions and text understanding. Berlin — New York, 1980, p. 62.
54. Vossler K. Gesammelte Aufsätze sur Sprachphilosophie. München, 1923, S. 186.
55. Raffler-Engel W. The implications of hearer background on the perception of the message. — In: Angewandte Soziolinguistik. Tübingen, 1981, S. 47.
56. Remler J. E. Some repairs on the notion of repairs in the interest of relevance. — In: Chicago linguistic society. Papers from the 14th regional meeting. Chicago, 1978, p. 392.

МОИСЕЕВ А. И.

ПИСЬМО И ЯЗЫК

(К типологическому изоморфизму лингвистических явлений)

Общее соотношение языка и письма можно определить как соотношение первичного и вторичного, «первообразного» и производного: язык — изначальное средство общения людей путем обмена мыслями, письмо — определенное отражение языка, опосредованное им дополнительное средство общения. Этим предопределяются многие типологические сложения, параллелизм — изоморфизм строения и функционирования письма и языка при существенном генетическом (первичность — вторичность и т. п.) и материальном (фонетические — графические средства) их различии.

В проявлении изоморфизма письма и языка условно можно выделить две группы соотношений: 1) изоморфизм общего строения письма и языка (общий, исходный изоморфизм), 2) изоморфизм конкретных или частных проявлений языка и письма.

1. **Общий изоморфизм языка и письма.** Как известно, глобальное понимание языка теперь расчленено на два противопоставленных понятия — понятия языка и речи с их собственными, внутренними подразделениями. Этому находят соответствия и в письме: «Аналогично тому, как мы различаем язык и речь, и далее в языке — инвентарь и правила функционирования, а в речи — речевые акты и речевые произведения, так, говоря о письме, мы должны различать, с одной стороны, систему письма, включающую инвентарь начертательных знаков и правила их функционирования, а с другой стороны — конкретные акты использования этих знаков и возникающие в результате таких актов письменные тексты» [1]. Постулируется, таким образом, полный параллелизм, изоморфизм сопоставленных явлений, письма и языка. Но это пока лишь самое общее, хотя и четко сформулированное представление исходного изоморфизма письма и языка. Его необходимо конкретизировать, особенно применительно к письму. Есть некоторые неясности в типологии и соотношении явлений также и в сфере языка.

1) **Язык и речь.** Отчетливое и принципиальное противопоставление языка и речи возводится обычно к Ф. де Соссюру, хотя сходные идеи отмечают также в трудах современников и даже предшественников Соссюра — В. Гумбольдта (язык как орудие и язык как энергия), И. А. Бодуэна де Куртене и других. С. Д. Кацнельсон пишет об этом так: «Со времен Гумбольдта в теории языкознания продолжался процесс кристаллизации понятий „система языка“ и „речь“. Важнейшими вехами в отработке этих важных понятий явились после Гумбольдта работы Штайнталя, Габеленца, Потемби и Бодуэна де Куртене. Итоги всему развитию подвел в начале нашего века Ф. де Соссюр, в острой и парадоксальной форме отчеканивший понятия „языка“ (langue) и „речи“ (parole) как двух полярных форм существования многообразных и противоречивых в своей совокупности „речевых явлений“ (у Соссюра langage). Понятия языка (системы языка) и речи вошли с тех пор в инвентарь основных понятий общей теории языка» [2]. Этого, добавим от себя, никак нельзя сказать об исходном понятии теории Соссюра — langage, в русском переводе — «речевая деятельность». Такой перевод здесь признается неудачным: «Русский переводчик соссюровского „Курса“ А. М. Сухотин, в целом блестяще справившийся с сложной и трудной задачей воспроизведения тонких и неожиданных ходов соссюровской мысли, не нашел адекватной замены для термина

langage как совокупности всех речевых явлений. Использованный в русском переводе термин „речевая деятельность“ может сбить с толку своим компонентом „деятельность“, подчеркивающим процессуальный момент, отсутствующий в соссюрсовском разграничении понятий» [2]¹. С. Д. Кацнельсон предлагает иной перевод термина langage: не «речевая деятельность», а «речевые явления». Термин «речевые явления» навеян, видимо, идеями Л. В. Щербы, но у самого Л. В. Щербы, однако, находим не «речевые», а «языковые» явления, и это вернее, более адекватно отражает существо дела. Имеющуюся здесь языковую ситуацию Л. В. Щерба представил в виде трех аспектов «языковых явлений»: 1) речевая деятельность — «процессы говорения и понимания», 2) языковая система — «словари и грамматики», 3) языковой материал — «совокупность всего говоримого и понимаемого» [4, с. 24, 25, 26].

Схема Л. В. Щербы во многом и существенно отличается от схемы Соссюра (в ее русском переводе): 1) исходное, вершинное понятие определено как «языковые явления», а не «речевая деятельность». Тем самым снимается избыточное подчеркивание «процессуального момента» (С. Д. Кацнельсон), так или иначе свойственного языку, но не составляющего его единственного и всеохватывающего свойства; 2) термин «речевая деятельность» сведен с первого, вершинного уровня на второй, вместо соссюрсовского термина «речь», что тоже в определенном отношении улучшает схему, т. к. «говорение» и «понимание», указанные на следующем, третьем уровне, отчетливее предполагаются именно речевой деятельностью, а не просто речью; 3) «словари и грамматики» как реальное воплощение «языковой системы» (у Щербы здесь почему-то использованы формы множественного числа) также хорошо и просто проясняют соответствующий аспект; 4) статус особого аспекта языковых явлений придан языковому материалу, и это следует признать вполне обоснованным.

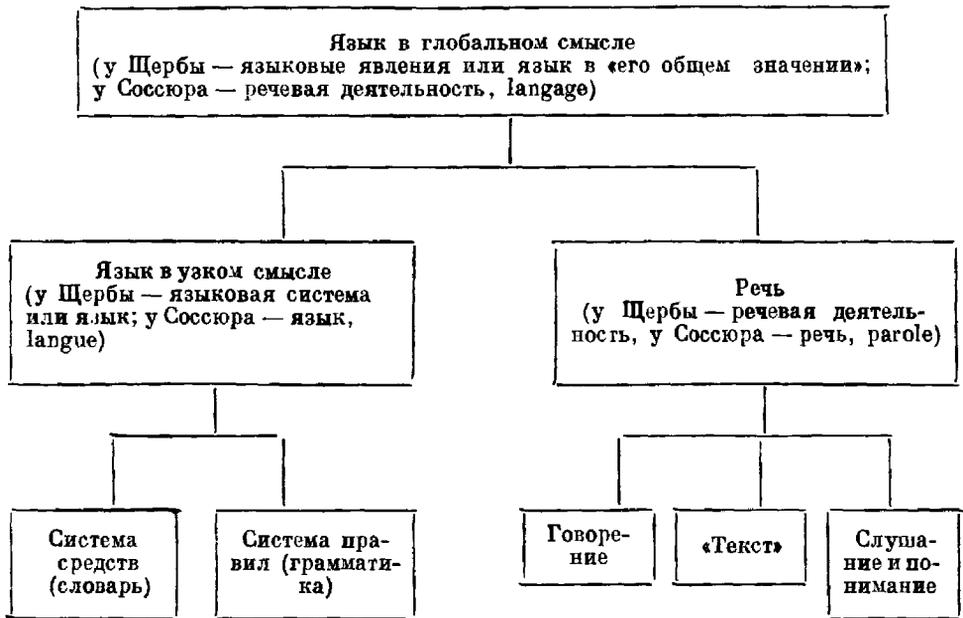
Но и по схеме Л. В. Щербы можно сделать некоторые критические замечания: 1) основное замечание: термины (и понятия) «язык» и «речь» по существу выпали из схемы. Термин «речь» не используется вообще; термин «язык» упомянут, но лишь как возможный синоним к термину «языковая система», и как более предпочтительный, к термину «языковые явления», но все-таки ни в том, ни в другом значении прямо не использован. Приведем соответствующее место из текста Л. В. Щербы полностью: «... словари и грамматики языков, которые могли бы называться просто „языками“, но которые мы будем называть „языковыми системами“, ... оставляя за словом „язык“ его общее значение» [4, с. 25], т. е. значение, обозначенное в схеме термином «языковые явления» (таким образом, за словом „язык“ оставлено его общее значение, но это значение обозначено все-таки не самим словом «язык», а терминологическим сочетанием «языковые явления»); 2) также существенное замечание: «речевой материал» (иначе — тексты) указан как особый аспект в ряду с «речевой деятельностью» и «языковыми системами», но его место, конечно, на другом, более низком уровне иерархии языковых явлений, в одном ряду с говорением и пониманием — собственно деятельностными проявлениями «речевой деятельности» — говорение создает текст, понимание воспринимает его; текст «соединяет» говорение и понимание.

С учетом изложенного можно предложить следующую схему глобального и расчлененного понимания языка (схема № 1; см. с. 70).

2) П и с ь м о. Что и как всему отмеченному в языке (и отраженному в схеме) соответствует в письме?

В приведенном ранее положении Ю. С. Маслова намечены основные контуры предлагаемой здесь схемы, но самой схемы еще нет, нет также терминологических обозначений и определений соответствующих явлений письма. Понятно, что нет поэтому и прямых сопоставлений иерархий явлений письма и языка.

¹ В новом издании русского перевода книги Соссюра предложенный Сухотиным перевод langage как «речевая деятельность» сохранен [3].



В иерархии явлений письма с уверенностью можно отметить пока только одно противопоставление: письмо и чтение. Оно широко используется в методике начального школьного обучения родному языку и в методике преподавания иностранных языков, в частности — русского языка как иностранного. В языковой иерархии этому противопоставлению соответствует оппозиция «говорение — слушание (аудирование)» (точнее, конечно, наоборот: письмо и чтение соответствует говорению и аудированию). Известен также текст, создаваемый письмом и воспринимаемый чтением, что соответствует языковому материалу (устному тексту), создаваемому говорением и воспринимаемому слушанием и пониманием (аудированием). Все остальные узлы и уровни иерархии письма, предполагаемые ее изоморфизмом с иерархией языка, остаются пока неопределенными. Да и в приведенной ее части есть еще неясности.

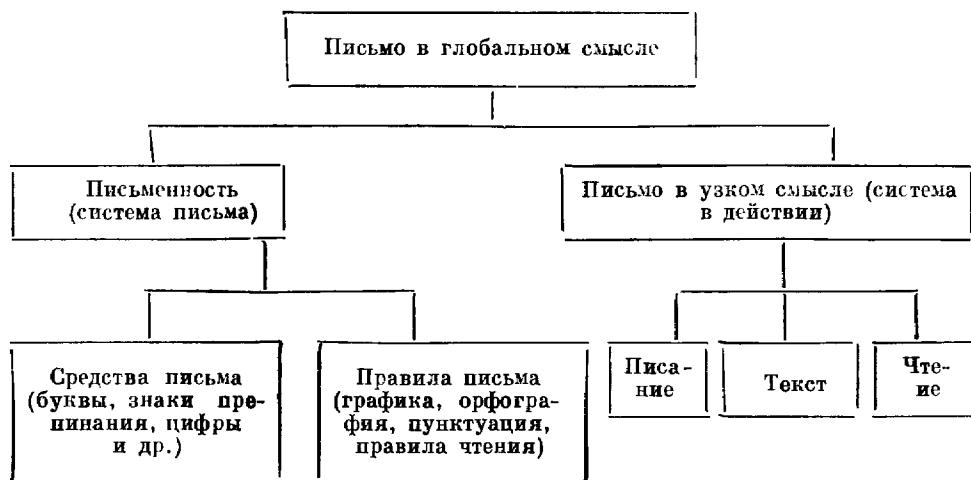
Названные явления письма: письмо, текст, чтение, как сказано, соответствуют говорению, «тексту» и аудированию — составным компонентам речи. Но, во-первых, эти явления письма пока никак не обобщены, т. е. не указаны понятие и термин, соответствующие «речи» в структуре языковой иерархии; во-вторых, «письмо» оказалось поставленным в соответствие не языку, как можно было бы ожидать (ср. обычное сопоставление «письмо и язык», или, наоборот, — «язык и письмо»), и даже не речи, а лишь одному из проявлений речи — говорению.

Второе замечание снять сравнительно легко, т. к. оно касается главным образом некоторой терминологической несообразности, возникшей в результате смещенного, неадекватного употребления термина «письмо»: в оппозиции к «чтению» находится не письмо в целом, а лишь одно из его проявлений — писание, подобно тому, как в оппозиции к слушанию и пониманию в языковой иерархии явлений находится не речь в целом, а только одно из ее проявлений — говорение. Термин «письмо», таким образом, должен быть поднят на предшествующий уровень, в позицию, соответствующую речи.

Речь, как было сказано, противопоставит языку. А чему противопоставит в своей иерархии письмо? Здесь общепринятого (и привычного) понятия и термина в советском языкознании нет. Можно предложить использовать в этой функции термин «письменность». Письменность — это система средств и правил письма, подобно тому, как язык есть система средств и правил речевого общения. В соответствии с этим письменность будет члениваться на систему средств письма (буквы, знаки препинания, цифры и другие знаки письма; имеется в виду прежде всего буквенно-звуковое

письмо, наиболее совершенный и наиболее распространенный в современном мире тип письма) и на систему правил письма (графика, орфография, пунктуация, общие правила использования цифр и т. п.). Для такого понимания понятия и термина «письменность» есть определенные основания в имеющихся уже в литературе его истолкованиях, например: «Письменность. Совокупность письменных средств общения, включающих понятия системы графики, алфавита и орфографии» [5]. Под письменностью здесь, таким образом, понимаются и средства письма (алфавит), и правила письма (графика и орфография), т. е. то, что и требуется отразить на этом уровне иерархии явлений письма. Приведенному определению не хватает лишь полноты и строгости: не указана пунктуация, а графика как часть правил письма почему-то указана раньше алфавита, совокупности средств письма.

Остается определить и терминировать вершинное, исходное понятие иерархии явлений письма, соответствующее языку в нерасчлененном, глобальном смысле. Определение «в нерасчлененном, глобальном смысле» можно использовать и здесь, в применении к письму: вершинное понятие в иерархии письма — это письмо в глобальном смысле. В целом получается следующая схема (схема № 2):



Итак (см. схемы 1 и 2), можно установить соответствие языка в глобальном, нерасчлененном понимании и письма в глобальном, нерасчлененном понимании: языка как системы (у Л. В. Щербы — «языковая система») и письменности как системы письма; речи и письма в узком смысле; языковых средств (словарь языка) и средств письма (письменные знаки всех видов); правил функционирования языковых средств (грамматика языка) и правил использования графических средств письма («грамматика письма» — графика, орфография, пунктуация); говорения, «текста» речи, аудирования и писания, текста письма, чтения. Отчетливо просматривается, таким образом, полный и последовательный параллелизм, общий изоморфизм письма и языка. Надо при этом, однако, иметь в виду, что терминологически язык и письмо сопоставимы лишь в общем, нерасчлененном, глобальном представлении. Язык и письмо в узком смысле (язык как система средств и правил речевого общения и письмо как система письма в действии) занимают в приведенных схемах несимметричные места: языку соответствует не письмо, а письменность, а письмо соответствует не языку, а речи.

2. Частные проявления изоморфизма письма и языка. Изоморфизм письма и языка имеет и более частные проявления. Здесь ограничимся лишь примерным перечислением их, без детализации и углубленного анализа.

1) Письмо и речь, которую (точнее — текст которой) фиксирует письмо, реализуются в виде трех фаз: в речи это говорение, «текст» и слушание (включая и понимание, в целом — аудирование), в письме — писание,

текст и чтение (включая, конечно, понимание). Средняя фаза в обеих схемах соединяет две крайние: говорение и писание — это создание текста, слушание и чтение — восприятие и осмысление текста.

2) Письмо и речь реализуются двумя (или между двумя) участниками — субъектом и адресатом процесса; говорящий — субъект речи, пишущий — субъект письма; слушающий — адресат речи, читающий — адресат письма. Субъекты и адресаты и в речи, и в письме могут меняться и обычно меняются ролями или функциями. В письме это осуществляется, однако, менее мобильно, нежели в речи (ср. диалог и обмен записками, например, на заседании), но изоморфизм при этом не разрушается.

3) Письмо и речь (и язык в целом) имеют знаковый характер: язык — система звуковых, акустических знаков, письмо — система графических, начертательных знаков. Знаковый характер письма очевиден: буквы, цифры, иероглифы и т. п. — явные знаки, в самом обычном понимании этого слова (а знаки препинания и называются знаками). Знаковый характер языка менее очевиден и не всеми принимается, но отмечен также уже давно, а теперь, особенно под влиянием идей Соссюра, имеет весьма широкое признание. Соссюр писал: «Язык есть система знаков», и далее, в прямом сопоставлении с письмом: «... следовательно, его можно сравнить с письменностью, с азбукой для глухонемых, ... с военными сигналами и т. п. Он только важнейшая из этих систем» [6].

4) Из знаковости языка и письма следует их линейность: знаки (и комбинации знаков) языка и письма производятся (создаются) и располагаются в тексте линейно, один за другим: звук за звуком, слово за словом и т. д., и соответственно — буква за буквой, знак за знаком и т. д. Нельзя одновременно, а в письме и на одном месте реализовать, т. е. произнести или написать сразу две единицы — два звука, две буквы и т. п. Письмо линейно во всех своих типах: буквенно-звуковым, слоговым (например, деванагари), идеографическом, клинописном или иероглифическом. Знаки письма (кроме точки) вообще, не говоря уже о лигатурах и пр., линейны и поэментно.

5) Из знаковости языка и письма следует также, что письмо и речь — своего рода коды, точнее — реализации соответствующих кодов: речь реализует языковой код, письмо реализует код письменности. Фазы речи и письма служат фазами реализации этих кодов: говорение и писание — кодирование высказывания (мысли), текст речи и письма — своего рода «шифровка», слушание и чтение (вместе с пониманием) — декодирование шифровки. Письмо, будучи вторичным по отношению к языку явлением, оказывается при этом вторичным кодом, кодом кода (письмо — код речевого кода).

Таким образом, и частный изоморфизм языка и письма проявляется вполне отчетливо и в широких пределах.

Изоморфизм письма и языка не исключает, конечно, их различий, прежде всего материального (язык — система акустических знаков, письмо — система графических знаков), но также и типологического характера, и даже в тех же пунктах, в которых отмечен изоморфизм (фазы, участники, знаковость и т. п.): различия являются обычно как бы продолжением сходств и подобий, например, элементы букв линейны, а элементы звуков (ДП) симультанны. Но все это, как и возможная детализация изоморфизма и углубленная проработка возникающих при этом проблем, выходит уже за пределы данной статьи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маслов Ю. С. Введение в языковедение. М., 1975, с. 301.
2. Качельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972, с. 95.
3. Холодович А. А. О курсе общей лингвистики Ф. де Соссюра. — В кн.: *Соссюр* Ф. де. Труды по языковедению. М., 1977, с. 23, сн. 1
4. Щерба Л. В. О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языковедении. — В кн.: *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
5. БСЭ, т. 19, с. 571.
6. *Соссюр Ф. де.* Труды по языковедению. М., 1977, с. 54.

КЛЫЧКОВ Г. С.

К АРХИТЕКТОНИКЕ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Классическая фонология [1], предполагавшая таксономию сегментных и супraseгментных различий, в середине XX в. была вытеснена дихотомической концепцией Р. Якобсона [2]. Если классическая фонология опиралась на интроспективно устанавливаемые артикуляторные признаки [ср. подразделение сегментных различий на локальные и затем модальные признаки первой (фрикативность), второй (звонкость, напряженность, придыхательность) и третьей (геминация) степени], то бинаризм Р. Якобсона и его последователей основывался на данных спектрального анализа. В этой теории привативная оппозиция «а противопоставляется не а» была подменена «бинарной» оппозицией, в которой оба члена обладают позитивными характеристиками, маркированный член порождает свое «зеркальное» отражение, имеющее собственные спектральные параметры. Следующим шагом было допущение классов, в которых соединяются контрадикторные признаки (например, гласность и согласность).

В системе Н. С. Трубецкого отнесение определенного антропофонического различия к привативной или эквиполентной оппозиции, установление направления маркированности в привативной оппозиции определяются функциональными отношениями конкретного языка, а не субстанциональными свойствами звуков. В разных языках придыхательные могут быть маркированными или нет: «Здесь речь идет не о придыхании как таковом, а об оппозитивных отношениях» [1, с. 293]. Так, в классической теории корреляция по мягкости в русском языке на фонетическом уровне выражается как веляризацией «твердых», так и палатализацией «мягких». На рентгенограммах и палатограммах у «твердых» устанавливается «выпуклость в заднем участке языка», спектральная структура показывает форманты палатализации у «мягких» и веляризации у «твердых» [3, с. 29—33; 4, 5]. Веляризация «увеличивает контрастность» двух рядов [6, с. 49]. Диагностическую роль играет здесь частотность фонем. Так, в русском языке /п'/ в 4,9 раза реже /п/, /б'/ в три раза реже /б/, /т'/ в 2,3 раза реже /т/ и т. д. [7]. Отклонения от правила в области губных фрикативных (звонкие в четыре раза чаще глухих, хотя оппозиция в целом является привативной по звонкости) или плавных (мягкие и твердые равночастотны) должны объясняться нейтрализацией. Н. С. Трубецкой ставил вопрос об объективном доказательстве оппозитивных отношений в конкретном языке и интерпретации закона Ципфа по отношению к фонемам [1, с. 293; 8, 9]. Р. Якобсон, предложив универсальную дихотомическую классификацию, обезценил ее в качестве именно фонологической системы признаков. Проблема объективной систематики фонологических различий (дихотомия «не эвристического, а онтологического плана» — [10]) остается актуальной и в настоящее время. В советском языкознании большинство исследователей не пользовалось дихотомической системой Р. Якобсона, некоторые применяли ее без изменений [11, 12, ср. 13]. О. С. Широкову принадлежит первая попытка переработки акустических признаков дихотомической фонологии по отношению фонологической системы конкретного языка с учетом частотности фонем для определения направления маркированности [14]. Дихотомическим членением на артикуляторной основе пользуется В. Я. Плоткин [15, 16], предложивший интересную систематику кивакем (дифференциальных признаков), предполагающую категории (модальная и локальная), субкатегории (преградная, звуковая, ак-

тивная, пассивная) и оппозиции (проточность, смычность, сонорность, шумность, предцентральность-зацентральность).

Системы артикуляторных признаков дихотомического типа предложены в сопоставительных описаниях [17, 18].

Генеративная фонология отказалась от первоначальной дихотомической системы. Общей тенденцией был отход от акустической спецификации признаков в пользу артикуляторной при сохранении якобсонизанского бинаризма. Вопрос о функциональной релевантности признаков перестал быть предметом рассмотрения исследователей. Тот или иной признак стал вводиться произвольно для того, чтобы позволить сформулировать правило. В центре внимания оказались понятия упорядоченности правил и естественности классов.

До выхода книги [19] система Якобсона была расширена рядом артикуляторных признаков, таких, как «взрывный» (obstruent), «слоговой» (syllabic), «среднего подъема» (mid), «ртовый» (buccal), «задний» (retracted) и т. д. (см. обзор в [20, с. 22 и сл., ср. 21]. В наиболее корректном виде система Р. Якобсона представлена в работе [7], где «бинарные» признаки даны в виде привативных оппозиций (compact — diffuse; compact — non-compact; diffuse — non-diffuse).

«Стандартную» форму система признаков в порождающей фонологии приняла в работе [19]. Авторы, принимая в начале книги якобсонизанский признак гласности, затем заменяют его силлабичностью. Однако признак согласности сохраняется. Модальные признаки включают преградность (obstruent) и сонорность (resonant), причем последний признак определяется через «спонтанное озвончение». Модальные признаки описываются, исходя из очень спорного понятия «нейтрального положения тела языка». Нарушение нейтрального положения дает признак корональности. Бинарной парой корональности является признак «антериорный» (предцентральный). Эти признаки являются обобщающими (cover features) по отношению к признакам «низкий», «высокий», «задний», «огубленный» (rounded), «лабиальный» (labial). Далее вводятся признаки: распределенности (отличает дорсальные от апикальных), назальности, латеральности, проточности (continuant), звонкости, аспирации и т. д. Из списка Якобсона сохраняются резкость, напряженность. Последний признак используется для спецификации английских «долгих» гласных. Позднее [см. 22] были введены признаки напряженности голосовых связок и сужения в надгортанной области.

Критики системы, предложенной Хомским и Халле, выдвинули ряд критериев приемлемости или естественности системы признаков [23—26; ср. 27]. «Естественность» признаков определяется через возможность формулировать описание «на входе» правила и фонетические условия последнего. «Естественный» класс возникает тогда, когда он допускает спецификацию посредством меньшего числа признаков, чем любой из его членов. Признаки должны описывать как аллофонические варианты, так и фонемные различия и должны соответствовать акустическому параметру, допускающему квантификацию. Последнее требование было снято, т. к. большинство признаков ему не соответствовало: восприятие речи идет не непосредственно в звуковых волнах, а в терминах соответствующих артикуляций [28]. «Естественность» порождения имеет место, когда глубинная категоризация имплицитует фонетические характеристики, «если это не противоречит правилам» [29]. В ряде работ естественные правила трактуются как правила усвоения языка ребенком, им противопоставляются вторичные «выученные правила» [30, 31].

В работе [32] система Хомского — Халле подверглась наиболее острой критике, прежде всего по вопросу об естественности классов. В их системе, как считает автор, возникает противоречие между формальным аппаратом обозначения классов в терминах дифференциальных признаков и степенью сложности класса, его частотностью и функциональной нагрузкой. В собственной системе Дж. Фоули предлагаются абстрактные «параметры», определяемые по последовательности генерализации правила на весь класс. Так, спирализация в классе звонких взрывных распространя-

ется от *g* к *d*, а затем *b* (альфа-параметр). Все параметры Дж. Фоули представляют градуальные оппозиции фонем по их «подверженности» конкретному изменению (правилу).

В работе [19] появляется понятие маркированности, сильно отличающееся от классического. Маркированность приписывается одному из значений признака, но не фонеме и не на основании анализа объективных оппозитивных отношений, а произвольно, в результате применения «конвенциональных правил интерпретации». Маркированность зависит, в рамках этой теории, от позиции.

Из двух согласных в начале слова, с точки зрения Хомского, которую очень трудно принять, первая, если она не маркирована признаком точности, т. е., по его терминологии, «*u-continuant*» (символ «*u*» обозначает слово *unmarked*) интерпретируется как [+ *continuant*], потому что *st* «более обычно», чем *pt*. В остальных случаях немаркированный член трактуется как (— *continuant*), согласно обычному определению «через негацию признака». Далее «обычность», распространенность, частотность в системах разных языков служат для определения маркированности вне позиции. Так, межзубный фриктивный *θ*, который в системе Якобсона выступает как нерезкий (— *strident*), в отличие от резкого *s*, оказывается маркированным, сохраняя спецификацию (— *strident*), а *s* объявляется немаркированным, оставаясь (+ *strident*). Авторы нарочито не приводят частотную аргументацию, стремясь, очевидно, остаться на позиции конвенциональной интерпретации. Основанием, однако, служит то, что «пять согласных *p, t, k, s, n* редко отсутствуют в фонологической системе какого-либо языка», и *s* «обычно» (*common*) [19, с. 412—413], а *θ* — «необычно» (*uncommon*). Данные о встречаемости *θ* не приводятся, однако на решение, очевидно, повлияло то, что в английском языке *θ* в пять раз реже, чем *ð*, в 8,5 раз реже, чем *s* и в 13,5 раз реже, чем *t* [33]. Факт этот отражает озвончение в безударных словах в ранний новоанглийский период, когда *θ* озвончилось в артикле и указательных местоимениях. До этого времени частотность *θ* обнаруживала общую тенденцию повышенной частотности зубных, в частности, индоевропейского * *t* (в тексте готской библии *þ* в 1,9 раз чаще, чем *t* [34]). Произвольность теории маркированности Хомского — Халле вызвала реакцию среди сторонников самой порождающей фонологии. П. М. Постал [29] считает, что только наличие признака имеет ценность («*have a cost*») и указывает на маркированность, которая специфична для разных конкретных языков. Д. Г. Локвуд [35] равным образом считает, что «фонем» (дифференциальный признак в терминологии стратификационной фонологии) представляет собою не бинарную (в якобсоновском смысле), а «униарную» («*unary*») единицу: он может либо присутствовать, либо отсутствовать. Маркированность можно обозначать либо фононом «*high*», либо фононом «*low*». Выбор, однако, диктуется только достигаемой экономией в сложности стратификационной модели. Концепция маркированности, определяемой по представленности фонем в разных языках, была переработана и проверена на фактическом материале в тбилисской фонологической школе [36—40]. В этих работах проводится мысль, что редкая встречаемость фонем в различных языках указывает на их маркированность, а крайней степенью маркированности является отсутствие фонемы (пробел в парадигматической системе). Основой исследуемого корпуса явились «языки иберийско-кавказского типа» с развитыми системами консонантизма. Было установлено, что дифференциальные признаки соединяются друг с другом в определенных закономерностях. Дентальные оказываются наиболее дифференцированными, звонкость соединяется чаще всего с лабиальностью, глухость — с веларностью, веларные имеют наибольшую тенденцию глоттализации и интенсификации. Важным дальнейшим выводом является положение о том, что сами признаки обладают структурой [41, 42]. Развитие этой концепции связано с теорией Т. В. Гамкрелидзе — В. В. Иванова о ряде глоттализованных в индоевропейском праязыке [43, 44].

Градуальные последовательности фонем по неотмеченности (доминантности) совпадают с иерархическими последовательностями фонем по аль-

фа- и гамма-параметрам Дж. Фоули [34], которые, однако, специфичны для той или иной семьи языков. Так, И. Г. Меликишвили [39, с. 23] обнаруживает последовательности по функциональной силе признака звонкости $g \rightarrow d \rightarrow b$, у Дж. Фоули [34, с. 29] находим альфа-параметр $g \rightarrow d \rightarrow b$ для романских языков и $g \rightarrow b \rightarrow d$ для германских. При всей существенности круга идей тбилисской фонологической школы возникает опасность перенесения индуктивных наблюдений над доминантностью определенных фонологических типов в одной языковой системе на другую, если это не родственные языки [45]. При определении «доминантности» во всех случаях необходим учет соотношения сегментной и супraseгментной сфер фонологической системы [46]. Из доминантности фонологического типа не следует его универсальности (ср. отсутствие глухих, например, в австралийском языке ньянгумада [47]). Видимо, существует импликация: «если в системе есть глухие (напряженные, придыхательные), то в ней всегда есть звонкие (слабые), но если есть звонкие, не обязательно есть глухие (звонкость часто имплицитно подразумевает мягкость)».

Множественность и противоречивость концепций в современной фонологии заставляет начинать изложение теории дифференциальных признаков с наиболее общих положений. Логические преимущества дихотомического разбиения, дающего строгую модель распределения информации (функциональной нагрузки) внутри фонологической системы, могут быть использованы таким образом, чтобы исключить противоречия с данными конкретных языков, где существенны эквивалентные противопоставления, которые чаще всего принимают форму оппозиций трех классов типа: «губные — зубные — заднеязычные». Все модальные противопоставления легко сводимы к привативному типу « a — не a ». При переводе тройственных локальных эквивалентных противопоставлений в дихотомию должны использоваться только контрадикторные признаки [51, 52]. Средний элемент противопоставления в тройках локальных классов оказывается нейтральным членом, обладающим двумя признаками со знаком «минус».

Модель членения совокупности локальных различий



В этой модели возникает три класса, противопоставленных по двум дифференциальным признакам D^1 и D^2 . Один из этих классов $[-D^1 - D^2]$ занимает срединное положение и объединяет два немаркированных члена двух привативных оппозиций. В этой системе невозможен класс типа $[+D^1 + D^2]$, поскольку используются только контрадикторные признаки, несовместимые в одном классе. Подобный подход к описанию локальных классов подсказывается тем, что на синтагматической оси обычно наиболее частотным, а, следовательно, немаркированным оказывается срединный локальный класс («зубные»).

В языке, очевидно, действуют два принципа, две противоположные тенденции: тенденция асимметрии классов [48] и тенденция равновесия, эквидистантности фонем [49]. В результате промежуточный немаркированный класс функционально сближается с одним из маркированных и одновременно распадается на подсистемы, тяготеющие к разным полюсам маркированности. Так, сонорные, промежуточный класс между гласными и собственно согласными, тяготея к согласным, образуют два подкласса: полугласных /l, ɹ/ или заузженных гласных и преградных (носовых) /m, n, ŋ/. Между ними возникает «свой» промежуточный класс плавных /r, l/.

Решающим вопросом для теории смысловозличения является определение направления маркированности и роль критерия частотности. Принцип «немаркированный член привативной оппозиции более частотен» отвечает общим принципам теории информации и подтверждается для боль-

шинства фонологических пар в разных языках. Хотя «закон Бурдона» первоначально был выведен на недостаточно большой выборке [50] и не имеет абсолютного характера [51], все же несомненно, что именно срединный немаркированный класс оказывается самым частотным [33, 52]. Самые частые фонемы в разных языках — это /d, t, n, s, ð/. На материале английского языка по данным выборки Денеса (70 000 фонемопотреблений) [33] при подготовке данной статьи была проведена проверка критерия согласия рядов маркированных и немаркированных фонем. При постулате полной взаимозависимости фонемных частот между собой (как внутри локальных классов, так и между ними) значимость расхождения обладает вероятностью 99%, при гипотезе полной независимости — 70%. Реальная вероятность частотного расхождения ряда маркированных и немаркированных фонем не на основании их структурного противопоставления, а в результате случайности лежит, таким образом, между 30% и 1%. На дальних от вершины разветвлениях классификационного дерева «цена маркированности» в терминах различий частот оказывается меньше, чем на ближних, в срединном классе — меньше, чем в периферических, в тройственных противопоставлениях со срединным классом меньше, чем при дихотомическом разбиении. Изменение направления маркированности отмечено только в одной паре: в /t/ — /d/ фонема /t/ в два раза чаще, в /k/ — /g/ фонема /k/ в 2,5 раза чаще, т. е. в этих парах маркированы «звонкие», в /b/ — /p/ маркированы «глухие» (/b/ в 1,18 раза чаще), в аффрикатах и фрикативных маркированы «звонкие». Частоты фонем в целом оказались распределенными биномиально вокруг средней, причем распределение было близко к нормальному — таким образом сами частоты не несут информацию о системе языка. Значимы только отношения частот [53]. Для проверки наблюдений было сделано 15 выборок, каждая из которых закрывалась при достижении самой частой фонемой э частости 100. Тем самым все остальные частоты одновременно давали отношение данной частости к частости наиболее распространенной фонемы. На гистограммах частости фонем в разных выборках распределелись биномиально вокруг эталонной частоты нейтральной гласной, к которой были близки частоты *t* среди шумных и *n* — среди сонорных. При увеличении числа выборок распределение стремилось к нормальному, частоты близких фонем перекрывали друг друга в разных выборках, но общее направление кривых соответствовало повышению функциональной нагрузки (маркированности). Степени маркированности соответствовала степень крутизны падения частоты фонем в каждом из трех классов (гласные, сонорные, шумные), наибольшая крутизна (скорость изменения частот) отмечалась в гласных, наименьшая — в шумных. Отношения частот «гласные — шумные — сонорные» в шестистрочной таблице (если *V* — любой гласный, *C* — любой шумный, *R* — сонорный, то они образуют шесть частотных отношений: CV, CR, VR, VC, RC, RV) были вычислены по данным пяти выборок и по выборке [33]. Согласие между большой и диагностической выборкой лежало в пределах 0,95 и 0,98. В диагностической выборке не подтвердилась реверсия маркированности в паре /t — d/: вместо двукратного преобладания /t/ по сравнению с /d/ эти фонемы оказались практически равновероятны. Различия в парах /b/ — /p/, /k/ — /g/ оказались лежащими в пределах случайного варьирования. На основании эксперимента можно сделать вывод, что для английского языка гипотеза о маркированности может быть принята при различии средних частот классов в полтора раза, но не для членения по признакам звонкости — незвонкости (напряженности — ненапряженности, придыхательности — непридыхательности).

Значительная статистическая вариативность в системе заставляет ставить вопрос о выделении наиболее существенных дифференциальных признаков, занимающих ключевое положение в систематике смысловозначения. С этой точки зрения представляется целесообразным ввести в систему исходных признаков (major classes features) один модальный признак второго порядка, подняв его ранг на ступень выше признака фрикативности. Как известно, в системе Н. С. Трубецкого имеется три типа модальных признаков: первого порядка «фрикативность», второго порядка

«звонкость — придыхательность — напряженность», третьего порядка — «геминация». При этом два последние признака в классификационном дереве всегда занимают более далекое положение от вершины, чем модальные признаки первого порядка. В данной работе «турбулентность» предлагается как обобщенный признак, подчиняющий другие модальные признаки.

Признак турбулентности представляется необходимым для последовательного иерархического членения согласных: после того как проверены признаки согласности (наличие преграды) и гласности (наличие свободного, не зауженного протока), выделяются две основных подсистемы консонантизма: собственно согласные или шумные (есть преграда, нет протока, т. е. + согласность, — гласность) и сонорные (нет свободного протока, есть преграда, но она симультанно в момент возникновения нарушается, возникает спецификация: — гласность, — согласность). Симультанное нарушение преграды нельзя путать с задержанным размыканием у аффрикат, когда нарушение смычки, фрикативная рекурсия занимает от 60% до 68% длительности согласного [5, с. 38; 54, с. 68; 55; 56]. Поэтому совершенно неверно, что «носовые являются аффрикатами» [32, с. 39 и сл.]. «Турбулентный шум», возникающий при артикуляции аффрикат, соотносится со следующим в иерархии после гласности—согласности признаком турбулентности, который предполагает, что преграда так или иначе усложняется, становится дополнительным источником шума. С чисто физической точки зрения всякая речевая артикуляция вызывает не ламинарный, а турбулентный поток. При восприятии речи эффект «турбулентности» может быть достигнут за счет уменьшения скорости протяжки ленты на магнитофоне (т. е. общего понижения спектра). Растяжение звука *s* приводит к возникновению турбулентных фонов: это «твердые свистящие», свистяще-шипящие, хрипящие и т. д. вплоть до «светлой» *h*-образной градации [57, 58]. Границей этих вариаций является «чистый звук» *s*, причем ускорение скорости протяжки ленты не меняет его акустического восприятия. В ряде индоевропейских языков сдвиг фонемы **s* в более заднюю артикуляцию после *i*, *u*, *r*, *k*, а также в предвокальном и интервокальном положении приводит к аналогичному эффекту [48]. Турбулентные фонемы обычно не начинают, а замыкают цепочку следующих друг за другом диахронических изменений; они, как правило, бывают рецессивными, или отмеченными (в теории Гамкрелдзе — Меликишвили). Турбулентность предполагает также наложение, совмещение артикуляций [48], причем турбулентные фонемы занимают крайнее правое положение в градуальных оппозициях по гамма-параметру Дж. Фоули [32, с. 38]. В системе признаков Р. Якобсона аналогичный признак — резкость, но, с нашей точки зрения, межзубный спирант относится к турбулентным, в отличие от *s*. В системе Р. Якобсона обратное соотношение; *s* — резкое, *θ* — нерезкое. Представляется, что в описании Р. Якобсона преувеличена роль дополнительного шума от лабиализации *s* (ср. [26, с. 49]). Свистящий является доминантным по сравнению с *θ* [34, с. 17; 59]: в современном английском он в 8,5 раз чаще *θ*. В ряду диахронических вариантов *θ* занимает конечную позицию в ряду $t > t^h > > \theta$ либо предконечную в ряду $k > t' > t^{\theta} > \theta' > s$ [58]. В немецком оно аналогично аффрикатам, т. е. $t > t^h > ts$ [59]; при артикуляции *θ* площадь образования щели больше, чем у *s*. В сублитературном англо-американском произношении *θ* является аффрикатой или взрывным [60, с. 380]. Причем в этом случае влияние субстрата (идиш, итальянского, ирландского) следует видеть в ускорении тенденций, присущих английскому языку Нью-Йорка, а не в введении новых вариантов или новых структурных отношений [60, с. 307]. Фонема *θ* представляется более сложной, зашумленной еще и потому, что размыкание в интервокальном положении щели «оставляет» придыхание. В детской речи *θ* является «шепелявым» субститутотом как *s*, так и *f* [61, с. 141; 62, с. 204].

Из сонорных турбулентным является [r]: при наличии в системе звука *r̥* он образует градуальную оппозицию по степени турбулентности¹. В фо-

¹ Подобно тому, как эквиполентная оппозиция может быть представлена как наложение двух привативных, градуальная оппозиция описывается как совмещение двух (или более, если градаций признака больше) привативных оппозиций, у которых немар-

ноλογической литературе ранее термин «турбулентные» употреблялся как синоним «шумных» («bruisant» — [63, с. 161; 64, с. 105; 65]). «Выигрыш» от включения в систему признака турбулентности заключается в том, что он позволяет получить классы с маркированностью, подтверждаемой статистически. Средние частоты фрикативных и взрывных фактически равны (английский язык 3,44 и 3,41), класс аффрикат низкочастотен (0,88), что исключает тройственное противопоставление с немаркированным средним классом. В то же время среди турбулентных [tʃ, dʒ, θ, ð, ʃ, ʒ] маркированы аффрикаты (в два с половиной раза реже по сравнению с фрикативными), среди нетурбулентных маркированы фрикативные (в полтора раза реже взрывных). Признак турбулентности детерминирует маркированность по прерванности. Среди нетурбулентных маркирующим признаком является проточность. Данные соотношения представляются универсальными.

Одновременно выделяется класс, в котором наблюдается зависимость модальных признаков от локальных (— турбулентные), а также класс (+ турбулентные), не допускающий в синтагматике начальных сочетаний с другим согласным или конечных сочетаний согласных, не разделенных морфемной границей [66, с. 13, 31].

Структурная сложность дифференциальных признаков [41, 42] предполагает возможность их синтеза. Синтез нескольких признаков может давать обобщающий признак (cover feature): «зубные + губные = предсрединные». В этом случае соединяются независимые и несовместимые признаки. Признаки, находящиеся в интердепенденции, образуют один сложный или комплексный признак. Так, в языках, где нет передних огубленных, задняя артикуляция (засрединность) и огубленность образуют смыслоразличительный комплекс. Наиболее интересный случай образуют «эшелонированные» признаковые комплексы, когда признак на предыдущем узле классификационного дерева детерминирует последующий. Например, турбулентность предопределяет маркированность по признаку прерванности, немаркированность по признаку турбулентности — маркированность по признаку проточности. Наконец, признаки могут находиться в вероятностной зависимости: в предцентральной артикуляции повышается вероятность признака придыхательности, связанного взаимозависимостью с напряженностью, у турбулентных прерванных (аффрикат) возникает лабиализация. Признаки разной степени абстракции в фонологии, дифференциальные и интегральные фонологические свойства образуют континуум.

Поведение признаков на разных уровнях фонологической системы — фразовом, или просодии, и слоговом, или просодике, в подсистемах гласных, сонорных и шумных — подчиняется периодической закономерности. На нечетных позициях в этом ряду (просодия, гласные, шумные) преобладает тенденция синтеза и обобщения признаков, на четных (просодика, сонорные) преобладает анализ, вариативность и мультипликация признаков. Просодия имеет обобщающий синтезирующий характер. Просодическая структура фразы подчиняет словесные акценты, ритмизирует соотношения долгот и консонантных скоплений, объединяет различия в подсистемах тональности, тоничности и тона. Новые признаки возникают в слоговой структуре (просодике) в результате взаимодействия вокалических и консонантных компонентов слога. Таким образом генерируются признаки движения тона, сжатогортанные артикуляции, аспирация и т. д. [67].

Подсистема вокализма характеризуется как область синтеза новых признаков. Развитие индоевропейских языков шло от простого вокализма путем его усложнения. Согласные сонорные — это еще одна область генерации новых признаков. Исходные элементы в негации (—согласность, —гласность) порождают сонорность, силлабичность, зауженность (полу-

кированный член совпадает, а маркированные члены обладают одним и тем же признаком в разной степени. При переработке системы Хомского — Халле ряд лингвистов предлагал пару признаков «высокий — низкий» (high — low) заменить признаком степени открытости с тремя или четырьмя спецификациями [26, с. 102, 112; 65].

гласность), вибрантность (вкуче с признаком турбулентности), назальность (с признаком преградности, «обструентности»), латеральность и т. д. Подсистема шумных характеризуется строгой иерархической детерминацией «старшими» признаками параметров на нижних узлах классификационного дерева, наличием импликационных зависимостей (напряженность предполагает аспирацию, мягкость не совмещается с аспирацией и т. д.).

Периодичность распределения вариативности — константности внутри уровней связана, вероятно, с энергетическим балансом подсистем фонологической системы, частотной характеристикой. По верхнему порогу используемых акустических частот просодия относится к области наиболее низких частот, шумный консонантизм — к области наиболее высоких. Просодия в максимальной степени позволяет увеличить интенсивность (громкость) сигнала, в шумных согласных эта возможность наименьшая.

Таксономия дифференциальных признаков строится, исходя из принципа объективного существования фонологического различия, реально представленного в соответствующем фонемном классе. Существует ряд указаний на то, что первичными элементами языкового варьирования являются дифференциальные признаки: в терминах дифференциальных признаков происходит коммутация смысла и звучания².

ЛИТЕРАТУРА

1. Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960.
2. Jakobson R., Fant G. M., Halle M. Preliminaries to speech analysis. The distinctive features and their correlates. Cambridge (Mass.), 1952.
3. Зиндер Л. Р., Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А. Акустическая характеристика различия твердых и мягких согласных в русском языке. — Уч. зап. ЛГУ им. А. А. Жданова, 1964, № 325, сер. филол. наук, вып. 69.
4. Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А. О маркированности признака мягкости русских согласных. — ZPh, 1965, Bd. 18, Hf. 2.
5. Скалозуб Л. Г. Палатограммы и рентгенограммы согласных фонем русского литературного языка. Киев, 1963.
6. Чэжман В. М. Гісторыя проціпастаўленняў на цвёрдасці-мяккасці ў беларускай мове. Минск, 1970.
7. Kižera H., Monroe G. K. A comparative quantitative phonology of Russian, Czech and German. New York, 1968.
8. Zipf G. K. Relative frequency as a determinant of phonetic change. — In: Harvard studies in classical philology. Cambridge (Mass.), 1929, № 40.
9. Zipf G. K. Psycho-biology of language. Boston, 1935.
10. Реформатский А. А. Дихотомическая классификация дифференциальных признаков и фонематическая модель языка. — В кн.: Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. М., 1961.
11. Панов М. В. Русская фонетика. М., 1967.
12. Панов М. В. Современный русский язык. Фонетика. М., 1979.
13. Rotportl M. Zvukový rozbor ruštiny. Praha, 1962.
14. Широков О. С. О соотношении фонологической системы и частотности фонем. — В кн.: Конференция по структурной лингвистике, посвященная базисным проблемам фонологии. М., 1963.
15. Плоткин В. Я. Очерк диахронической фонологии английского языка. М., 1976.
16. Плоткин В. Я. Эволюция фонологических систем. М., 1982.
17. Каспранский Р. Р. Очерк теоретической и нормативной фонетики немецкого и русского языков. Горький, 1976.
18. Stepanavičius. Hierarchical relations within the system of distinctive features with special reference to English and Lithuanian. — Kalbotyra. 1981, v. 32, № 3.
19. Chomsky N., Halle M. The sound pattern of English. New York, 1968.
20. Harms R. T. Introduction to phonological theory. Englewood Cliffs, 1969.
21. Mc Crawley J. D. Le rôle d'un système de traits phonologiques dans une théorie du langage. — Langages, 1967, 8.
22. Halle M. Theoretical issues in phonology in the 1970 s. — In: Proceedings of the 7-th International Congress of phonetic sciences. The Hague, 1972.
23. Schane S. A. Generative phonology. Englewood Cliffs, 1973.
24. Ladefoged P. Preliminaries to linguistic phonetics. Chicago, 1971.
25. Ladefoged P. Phonetic prerequisites for a distinctive feature theory. — In: Papers in linguistics and phonetics to the memory of Pierre Delattre. The Hague, 1972.
26. Ladefoged P. A course in phonetics. New York, 1975.

² Вариативность звуковой формы слова с различием в один дифференциальный признак регулярно сопровождается семантическим различием в ведических текстах [68], ср. убедительную «признаковую» трактовку ларингальных и объяснение рядов шумных воздействием просодических признаков [69]. См. также убедительный анализ фонологико-типологических черт, сближающих протоиндоевропейский праязык с фонологией корнеизолирующих языков [16, с. 17 и сл.].

27. *Sommerstein A. H.* Modern phonology. London, 1977.
28. *Stevens K. N.* Segments, features and analysis/synthesis.— In: Language by ear and by eye. Cambridge (Mass.), 1972.
29. *Postal P. M.* Aspects of phonological theory. New York, 1968.
30. *Hooper I. B.* An introduction to natural generative phonology. New York, 1977.
31. *Vennemann T.* Phonological «uniqueness» in natural generative grammar.— *Glossa*, 1972, v. 6.
32. *Foley I.* Foundations of theoretical phonology. Cambridge, 1972.
33. *Denes P. B.* On the statistics of spoken English.— *ZPh*, 1964, Bd. 17, Hf. 1.
34. *Birkhan H.* Das «Zipfische Gesetz», das schwache Präteritum und die germanische Lautverschiebung. Wien, 1979.
35. *Lockwood D. G.* Markedness in stratificational phonology.— *Language*, 1969, v. 45, № 2, pt. 1.
36. *Melikitschvili I. G.* Einige universale Gesetzmässigkeiten in dem system der Affrikaten.— In: Theoretical problems of typology and the Northern Eurasian languages. Budapest, 1970.
37. *Меликишвили И. Г.* Отношение маркированности в фонологии (условия маркированности в классе шумных фонем): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Тбилиси, 1972.
38. *Меликишвили И. Г.* К изучению иерархических отношений единиц фонологического уровня.— *ВЯ*, 1974, № 3.
39. *Меликишвили И. Г.* Отношение маркированности в фонологии. Тбилиси, 1976 (на груз. яз.).
40. *Меликишвили И. Г.* Структура корня в общекартвельском и индоевропейском.— *ВЯ*, 1980, № 4.
41. *Джапаридзе З. Н.* О меризматическом уровне лингвистического анализа.— В кн.: Звуковой строй языка. М., 1979.
42. *Джапаридзе З. Н.* О компонентах различительных признаков фонем.— В кн.: Фонетика. Фонология. Итоги науки. М., 1979.
43. *Гамкрелидзе Т. В.* Языковое развитие и праязыковая реконструкция.— В кн.: II Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания. Диалектика развития языка. М., 1980.
44. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Реконструкция системы смычных общиндоевропейского языка. Глоттализированные смычные в индоевропейском.— *ВЯ*, 1980, 4.
45. *Saporta S.* Methodological considerations regarding a statistical approach to typologies.— *IJAL*, 1957, v. 23.
46. *Клычков Г. С.* Просодические и сегментные признаки в реконструкции общиндоевропейского консонантизма.— *ИАН СЛЯ*, 1981, № 2.
47. *O'Grady G. N.* Statistical investigations into an Australian language.— *Oceania*, 1957, v. XXVII, № 4.
48. *Karcevskij S.* Du dualisme asymétrique du signe linguistique.— *TCLP*, 1929, I.
49. *Martinet A.* Economie des changements phonétiques. Berne, 1955.
50. *Bourdon B.* L'expression des émotions et des tendances dans le langage. Paris, 1892.
51. *Kramský J.* A quantitative typology of languages.— *Languages and speech*, 1952, v. 2.
52. *Гак В. Г.* Сравнительная типология французского и русского языков. Л., 1977.
53. *Клычков Г. С.* Некоторые замечания о соотношении статистики речи и структуры языка.— *Ин. яз. в высшей школе*, 1962, № 2.
54. *Златоустова Л. В.* Фонетическая структура слова в потоке речи. Казань, 1962.
55. *Гаприндашвили Ш. Г.* К вопросу об артикуляционных особенностях шипящих и свистящих спиратов на материале некоторых иберийско-кавказских языков.— В кн.: Иберийско-кавказское языкознание, 1959, т. 9.
56. *Гаприндашвили Ш. Г.* Акустические градации турбулентных шелевых согласных.— *Уч. зап. МГПИИЯ им. М. Топеза*, 1971, т. 60.
57. *Sherman D.* Stop and fricative systems: a discussion of paradigmatic gaps and the question of language sampling.— In: Working papers on language universals, 1975, v. 17.
58. *Morgenstierne G.* Indo-European *k̂* in Kafiri.— *Norsk tidsskrift for sprogvidenskap*, 1945, v. 1.
59. *Vonficht T.* Mischung von Affrikaten mit Aspiraten für germ. *p t k* in hochdeutschen Mundarten.— *ZPh*, 1964, Bd. 17, Hf. 1.
60. *Labov W.* The social stratification of English in New York City. Washington, 1966.
61. *Moskowitz B. A.* The acquisition of fricatives: A study in phonetics and phonology.— *Journal of phonetics*, 1975, 3.
62. *Anderson V. A., Newby H. A.* Improving the child's speech. New York, 1973.
63. *Brozović D.* Sull'inventario dei fonemi serbo-croati e loro tratti distintivi.— *Die Welt der Slaven*, 1967, Bd. 12.
64. *Muljačić Z.* Fonologia generale e fonologia della lingua italiana. Bologna, 1969.
65. *Contreras H.* Simplicity, descriptive adequacy and binary features.— *Language*, 1969, v. 45, № 1.
66. *Торсуев Г. П.* Строение слога и аллофоны в английском языке. М., 1975.
67. *Bloch J.* Intonation en Penjabi. Une variante asiatique de la loi de Verner.— In: *Mélanges linguistiques offerts à J. Vendryès*. Paris, 1925.
68. *Bloomfield M., Edgerton F.* Vedic variants. A study of variant readings in the repeated Mantras of the Veda. II. Phonetics. Philadelphia, 1932.
69. *Герценберг Л. Г.* Вопросы реконструкции индоевропейской просодики. Л., 1981.

ЧЕСНОКОВА Л. Д.

**ВЫРАЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ КОЛИЧЕСТВА ГЛАГОЛЬНЫМИ
ФОРМАМИ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА**

Количественные представления в системе русского глагола практически еще не получили достаточно полного описания, хотя многие исследователи отмечают, что в языке наряду с количественными представлениями в сфере имен существительных существуют количественные представления в сфере глагола. Эти «представления...», — пишет В. З. Панфилов, — получают самое разнообразное выражение» [1, с. 163; см также 2]. В мышлении современного человека дискретное, прерывное количество, определяемое посредством счета [1, с. 158], представлено двумя видами оппозиций: 1) единичность — множество (один — много) и 2) определенное множество — неопределенное множество. Предметом рассмотрения в данной работе являются способы представления дискретного количества в системе собственно глагольных форм — инфинитива и личных форм глагола.

Действия, подобно предметам, могут подвергаться и счету. В связи с этим понятие единичности и множественности применительно к глаголам трактуется как выражение единичности или множественности самих действий. Так, О. Есперсен пишет: «...понятие множественности в глаголе должно предстать в виде... „совершать несколько действий“» [3]. Каждое действие, которое количественно превышает одно действие, относится к множественному числу [4], и соответственно — каждое действие, количественно равное единице, должно квалифицироваться как единственное число действий.

Количественные характеристики действий имеют свою специфику в практике человеческой деятельности. Это обусловлено тем, что человек не имеет регулярной потребности в точном счете действий, в отличие от счета предметов, которые являются продуктом производительной деятельности, объектом торговли, обладают разными видами стоимости и т. п. Поэтому количественные характеристики в сфере действий чаще связаны с понятием неопределенной множественности или единичности. Определенная же множественность действий встречается гораздо реже, и представлена она обычно небольшими числами: *дважды подчеркнул, три раза повторил, двадцать раз присел* и т. п.

Особенностью глагола со стороны выражения количественных отношений является, так сказать, многопрофильность (многосторонность) количественных характеристик. Это проявляется в том, что глагольное слово может выражать: 1) единичность или множество самих действий: *подпрыгнуть* (одно действие) — *подпрыгивать* (несколько действий); 2) единичность или множество производителей действия: *подпрыгнул* (один субъект производит действие) — *подпрыгнули* (несколько субъектов производят действие); 3) множество или количественную неопределенность объектов действий: *соединил, перецеловал, разбросал* (обязательно несколько предметов) — *толкнул, сшил* (неопределенное количество предметов — может быть и один, и несколько предметов). Иными словами, глагол может определять в количественном отношении само действие, производителя действия, объект действия.

Семантические различия категории плюральности у имен и глаголов некоторые исследователи видят в различном характере проявления дискретности: дискретность в пространстве (субстантивная плюральность) и дискретность во времени (глагольная плюральность) [5]. Это утверждение

справедливо в том отношении, что субстантивная плюральность отражает дискретность только пространственного характера и не может представлять дискретности временной. Действительно, словоформа *книги* обозначает множество отдельных предметов, каждый из которых занимает особое пространство (дискретность пространственная).

Что же касается глаголов, то оказывается, что множественность действий может быть дискретной как во времени (действия совершаются последовательно, каждое занимает свое время), так и в пространстве (действия совершаются в одно время, но каждое совершается в своем пространстве), более того, действия могут совершаться «неорганизованно», т. е. некоторые происходят одновременно, другие — последовательно, причем каждое из них совершается в отдельном, своем пространстве. Например, глагольные формы *подпрыгивает*, *покашливает* обозначают множество действий, совершающихся последовательно (временная дискретность), а *заплодировали*, *запели* обозначают множество одновременных действий, каждое из которых совершается в своем месте (*заплодировали в разных местах зала*) — дискретность пространственная. Словоформы *понабросали*, *притопывали* обозначают «неорганизованные» во временном отношении действия: некоторые из действий могли совершиться последовательно, другие — одновременно, при этом действия совершались в разных точках пространства (каждый притопывал на своем месте). Подобная многозначность количественных отношений в глаголе связана, как нам представляется, именно с многопрофильностью количественных характеристик в глагольном слове: обозначение количества действий, количества субъектов и объектов действий.

Анализ способов выражения категории количества в сфере русского глагола обнаруживает следующую систему. Количественная характеристика действий может быть выражена: лексико-грамматическими средствами глагола, лежащими в сфере категорий аспектуальности и вида (противопоставление однократных и многократных глаголов); морфологическими средствами, за счет морфологических категорий числа (противопоставление форм единственного и множественного числа); синтаксическими средствами, за счет сочетания слов с количественным значением (а также количественных словосочетаний) с глаголами, эти сочетания можно назвать количественно-глагольными сочетаниями.

Рассмотрим каждый из способов.

Лексико-грамматический способ выражения количественных значений проявляется в том, что значения единичности или множественности действий передаются лексико-грамматическими средствами глагола и предстают как способ глагольного действия со стороны его количественных характеристик. В соответствии с этим выделяется две группы глаголов — однократные глаголы и глаголы многократные (или многоактные).

Однократные глаголы обозначают одно действие, т. е. действие, которое совершилось один раз: *толкнуть*, *мигнуть*, *ударить*, *сфотографировать* и т. п. Многократные глаголы обозначают действие, которое совершается (должно совершаться) несколько раз. Термин «многократные» мы используем в широком значении и обозначаем им не только глаголы типа *зажигать*, *сказывать*, но и глаголы, обозначающие действия, состоящие из нескольких актов [6—10]: *подпрыгивать*, *толкать*, *мигать*, *вспыхивать* и др.

Многократные глаголы выражают неопределенное множество действий. Иногда, правда, высказывается мнение, что глаголы типа *перечитать*, *пересечь*, *воссоздать* имеют значение «сделать что-то снова, второй раз», т. е. обозначают определенное множество. Многократные глаголы наряду с идеей множества действий могут передавать и идею множества субъектов действий или множества объектов действий и тем самым организовывать определенным образом структуру предложения.

К числу многосубъектных глаголов относятся: *разбежаться* (в значении «убежать в разные стороны»), *разойтись*, *толпиться*, *наехать* (в значении «наехало много народу»), *повскакивать* и др. Многосубъектными яв-

ляются и глаголы, обозначающие «взаимное общение» [11]: *переговариваться, целоваться, обниматься, перешептываться* и др.

В структуре предложения многосубъектные глаголы-сказуемые сочетаются с подлежащим, называющим множество предметов, производящих действие. Значение множества предметов в современном русском языке может быть передано следующими формами: 1) существительным в форме мн. числа (*Реки соединились; Братья переписываются*), 2) сочетанием числительного с существительным (*Две реки соединились; Три брата переписываются*), 3) сочетанием им. с твор. падежом существительных (*Волга с Доном соединились; Брат с сестрой переписываются*), 4) сочетанием однородных членов (*Волга и Дон соединились; Брат и сестра переписываются*) [12, 13]. Помимо указанных форм, многосубъектные глаголы могут согласовываться с существительными, имеющими форму ед. числа, но своим лексическим значением называющими множество предметов (*народ, толпа* и др.).

К числу многообъектных глаголов следует отнести глаголы типа *переломать, перецеловать, побросать, натаскать, нарвать, поссорить, соединить, сравнивать* и др. В структуре предложения (и словосочетания) многообъектные глаголы «требуют» постановки дополнения, которое называло бы некоторое множество предметов. Значение множества предметов так же, как и при многосубъектных глаголах, передается теми же формами: *Соединили реки; Соединили две реки; Соединили Волгу с Доном; Соединили Волгу и Дон.*

Но отдельные из многообъектных глаголов могут сочетаться только с некоторыми из названных форм: *нарвать цветов, натаскать дров*. При некоторых многообъектных глаголах может быть дополнение в форме ед. числа от вещественных существительных: *натаскать муки, нарвать петрушки, укропа*. Возможность формы ед. числа не противоречит идее многообъектности глагола, т. к. вещественным существительным свойственно недискретное количество, они чужды идее счета, и форма ед. числа вещественных существительных не имеет значения единичности.

То или иное количественное значение при лексико-грамматическом его выражении оказывается как бы внутренним свойством слова, присущим глагольному слову независимо от его конкретных форм.

Вне системы однократных и многократных глаголов находятся количественно-нейтральные глаголы, которые своим лексико-грамматическим значением не передают каких-либо количественных значений. Например, глаголы *читать, писать, спать, есть* и др. не указывают на то, один или несколько раз совершалось действие. Для выражения количественных значений у подобных глаголов нужны специальные формы, морфологические или синтаксические.

Морфологический способ выражения количественных представлений в системе глагола проявляется в том, что значения единичности или множественности передаются за счет форм ед. и мн. числа соответствующей морфологической категории. В современном русском языке окончания глагола многозначны: они одновременно служат для выражения значений категорий числа, лица (в настоящем и будущем времени) или рода (в прошедшем времени). Только флексия *-и* не имеет иных грамматических значений, кроме числа, и служит выражением идеи неопределенного множества.

Форма мн. числа глагола (или: глагол в форме мн. числа) имеет два количественных значения: во-первых, она передает идею неопределенного множества субъектов действия (больше одного)¹, во-вторых, она выражает идею множества самих действий, т. е. обозначает, что действий было несколько, что однотипные действия повторялись несколько раз, ибо каждое действующее лицо совершало названное действие. Например, в предложении *На счет «раз» дети присели* глагол формой мн. числа пока-

¹ В научной и учебной литературе значение соотнесения действия с одним или несколькими его исполнителями (указание на один субъект или на несколько субъектов) считается единственным значением категории числа глагола [14, 15], что, как показывает анализ материала, оказывается неточным.

зывает, что несколько человек совершали действие и что действий было несколько, а именно столько, сколько было действующих лиц — детей, ибо каждый ребенок совершал это действие. Причем действия совершались одновременно, всеми лицами сразу. Следовательно, форма *присели* обозначает неопределенное множество одновременных действий. Поэтому мы считаем, что форма мн. числа глагола имеет номинативное количественное значение и обозначает неопределенное множество действий, совершаемых неопределенным множеством производителей действия.

Форма ед. числа глагола (или: глагол в форме ед. числа) обозначает, во-первых, что действие совершается одним субъектом, и, во-вторых, что совершается либо одно действие, либо несколько действий во временной последовательности. Форма ед. числа четко указывает на то, что действие совершалось лишь один раз, только для однократных глаголов; для глаголов же многократных или количественно-нейтральных эта форма оказывается количественно неопределенной. Если сравнить предложения *Брат приехал*, *Брат приезжал* и *Брат писал* с точки зрения количественного значения глаголов, то окажется, что глагольная форма *приехал* обозначает одно действие (действие совершилось один раз), форма *приезжал* является многозначной, т. к. она может выражать и единичность действия (приезжал однажды) и его многократность (приезжал неоднократно)², словоформа *писал* также многозначна: она может указывать и на одно действие, и на несколько повторяющихся действий. Многозначность этих форм может быть аннулирована только за счет контекста.

В противопоставлении морфологических форм «единственное число — множественное число» сильным членом оппозиции является форма мн. числа. Этот вывод подтверждается следующим фактом: если глагол имеет лексико-грамматическое значение однократности (одноактности), то форма мн. числа как бы «снимает» (нейтрализует) это значение и глагол начинает выражать множество действий. Например, глаголы *подпрыгнуть*, *присесть* — однократные глаголы, обозначающие, что действие совершалось (или будет совершаться) один раз. Форма же мн. числа этих глаголов (*Дети подпрыгнули*, а потом *присели*) как бы зачеркивает значение однократности, и глаголы в этой форме обозначают, что действие совершалось одновременно несколькими лицами и было совершено столько раз, сколько было лиц, хотя каждое лицо совершило одно действие.

В языке существуют различия в передаче количественных значений формами мн. числа многократных и однократных глаголов (*подпрыгивали* — *подпрыгнули*). Различие форм типа *подпрыгнули* — *подпрыгивали* заключается в том, что *подпрыгнули* означает, что было совершено несколько действий одновременно, но в разных точках пространства (дискретность пространственная), а *подпрыгивали* означает, что совершалось несколько действий в разных временных точках, хотя и обязательно, чтобы все действия совершались в строгой временной последовательности: одни совершили несколько прыжков, один за другим, другие, находясь в других точках пространства, могли совершить по одному прыжку, но одновременно (в подобном случае можно говорить о дискретности пространственно-временной).

Соотношение количественных характеристик глаголов в зависимости от формы числа и способов глагольного действия можно представить таблицей.

Все сказанное относится к количественным значениям глагольных форм, взятых изолированно, вне текста. При сочетании же глагольных словоформ — сказуемых с именами существительными — подлежащими могут происходить определенные изменения количественных значений глагольных словоформ под влиянием количественной семантики имен существительных³.

² Многократные и многоактные глаголы в форме ед. числа, как бы вопреки этой форме, часто обозначают множество действий (*искусал*, *переглядывается*, *подмигивает*). Но при этом идея множества действий передается не формой числа, а внутривидовыми количественными значениями глагола.

³ О специфике количественной семантики имен существительных см. [16, 8, 9, 17].

Можно выделить следующие типы влияния имен существительных на количественные значения глагольных форм.

1. Конкретные существительные, изменяющиеся по числам (*книга, год, дерево, врач*), не меняют количественных значений сочетающихся с ними глагольных форм. Именно при сочетании с подобными существительными наиболее последовательно реализуются количественные значения форм как ед., так и мн. числа глагола: *Прошел год, Прошли года; Врач приехал, Врачи приехали.*

2. Конкретные существительные без форм словоизменения типа *пальто, кафе, такси* не имеют формальных показателей для выражения количественных значений. В этом случае глагольная форма выражает количество и предметов, и действий в противопоставлении «один — много» [12, с. 58], в силу чего форма числа глагольного слова приобретает особую значимость: *Такси остановилось, Такси мчались мимо.*

Глагольные формы	Способы глагольного действия	Число субъектов	Число действий	Характер дискретности
<i>подпрыгнул</i>	однократный	один	одно	одна пространственная точка, одна временная точка
<i>подпрыгнули</i>	однократный	несколько	несколько	дискретность пространственная
<i>подпрыгивал</i>	многократный	один	несколько (чаще)	дискретность временная
<i>подпрыгивали</i>	многократный	несколько	несколько	дискретность пространственно-временная

3. Парные существительные типа *чулки, руки, почки* в форме мн. числа имеют два значения — значение раздельного множества, элементы которого существуют отдельно друг от друга, и значение нераздельного множества, элементы которого образуют единое целое [8, с. 136]: *чулки* — неопределенное множество штук и *чулки* — одна пара; *почки* — неопределенное множество и *почки* — орган. Поэтому при согласовании глагола с названными существительными во мн. числе форма мн. числа глагола утрачивает четкость количественного значения, возникает многозначность формы числа. Например, предложение *Чулки порвались* может означать, что порвалось несколько чулок, но может означать и то, что порвался один чулок, но испорчена вся пара. Предложение *Болят почки* может иметь два значения: «болят обе (несколько) почки» и «болит почка», но называется весь орган.

4. При сочетании со структурно-собрательными существительными типа *сани, очки, щипцы* употребляется только форма мн. числа глаголов, которая в подобных случаях не является дифференцирующей и не обозначает множества в противопоставлении единичности. Так, в предложении *Очки разбились* глагольная форма не помогает определить, о скольких предметах и действиях (об одном или о нескольких) идет речь.

5. Существительные абстрактные, вещественные, собирательные чужды идее счета и не имеют форм изменения по числу. При согласовании с ними формы числа глаголов не реализуют заложенные в них количественные значения и становятся чисто синтаксическими согласовательными формами: *Листья облетела; Сливки закипели; Воздух очистился.*

Изменения в количественном значении форм числа глаголов могут происходить под воздействием специфической семантики некоторых типов предложений.

В односоставных неопределенно-личных предложениях, особенность семантики которых заключается в неопределенности (и количественной и качественной) производителя действия, эта неопределенность передается глаголу-сказуемому, употребляющемуся в форме мн. числа. Например: *На нарушение этого правила смотрели сквозь пальцы* (Б. Лавренев). Кто

смотрел? Сколько человек — один (начальник) или много (все вокруг), — неизвестно. Форма мн. числа глагола теряет способность дифференцировать количественное противопоставление «один — много».

В определенно-личном предложении, сказуемое которого выражено формой мн. числа повелительного наклонения глагола при отсутствии обращения, сказуемое также утрачивает способность дифференцировать ед. и мн. число как производителей действия, так и самих действий. Так, в предложении *Ради бога, пойдите в сад* (А. Чехов) не известно, один человек или несколько должны пойти в сад. Сдвиги в значении происходят под влиянием формы вежливости, в соответствии с которой при обращении к одному лицу используется форма мн. числа глагола и личного местоимения второго лица. В результате возникает многозначность количественных значений субъекта действия и самого действия в структуре названных односоставных предложений, а также двусоставных, подлежащее которых представлено личным местоимением 2-го лица мн. числа. Поэтому предложение *Вы все время в Москве прожили? Не ездили в деревню?* (И. Тургенев) многозначно: не известно, какое количество лиц выражается местоимением и глагольной формой, не известно также количество действий.

В безличных предложениях форма ед. числа глагола не имеет количественного значения, т. е. не обозначает единичности действия, ни тем более единичности его производителя: *От воды веяло свежестью* (И. Тургенев).

Синтаксический способ выражения количественных отношений состоит в том, что путем присоединения специальных количественных слов к названиям считаемых объектов (предметов, действий, состояний, явлений) образуется количественное сочетание, которое совокупностью всех входящих в него слов выражает количество каких-то объектов, причем (в отличие от лексико-грамматического и морфологического способов, где и количество, и считаемые объекты передаются одним словом, одной словоформой) при синтаксическом способе количественное значение выражается одним словом, а считаемые объекты — другим, т. е. этот способ передает раздельное представление количества и качества (считаемые объекты) при одновременном их единстве (оба значения предстают как цельное значение единого словосочетания). Так, словосочетание *две книги* выражает определенное количество предметов, а *дважды прочитал* передает определенное количество действий.

В роли количественных слов при глаголах употребляются специальные наречия: *дважды, трижды, четырежды, впервые, вторично, повторно* (со значением определенного количества) и *неоднократно, многократно, много, мало, немало, столько, сколько* и др. (со значением неопределенного количества): *Его четырежды приводили на допрос* (Г. Гончаренко); *Михаил трижды разламывал горку...* (Ф. Абрамов); — *Товарищ начальник, — начал Кострицын вторично...* (В. Панова).

Наречия со значением определенного количества используются обычно только с глаголами (*дважды напомнил, трижды разрушал, впервые услышал, вторично пришел*). Однако в последнее время наречия *дважды, трижды, четырежды* стали употребляться с некоторыми существительными: *трижды герой, дважды лауреат* и даже *дважды дед: У сына дочь родилась, так что я теперь дважды дед* (Ф. Абрамов). Появление подобных сочетаний, очевидно, можно объяснить элиминацией глагольных форм. Ряд слов со значением неопределенного количества (*сколько, столько, мало, много, немного* и некот. др.) свободно употребляется как с глаголами, так и с именами существительными и может означать неопределенное количество как предметов, так и действий: *много дней и много ездит; сколько вопросов и сколько думал*.

В подобных случаях в тексте возникает многозначность: *Я много знаю слов, потому что много читаю* (В. Токарева). Сочетание *много читаю* обозначает одновременно и множество объектов, которые в данном случае не называются, но мыслятся (*много книг читаю*) и множества (длительность и регулярность) действий. Дать однозначную характеристику грамматической природы слова *много* (наречие или неопределенное числитель-

ное) в подобных случаях невозможно, здесь следует говорить о синкретизме: *мало ест, много читает, много рассказывал*.

Определенно-количественные числительные в русском языке непосредственно с глаголами не сочетаются, а наречий с определенно-количественным значением очень немного, поэтому значение определенного количества действий передается сочетанием «числительное + раз»: *Я эту бабушку всего три раза видела* (В. Панова); *Некоторые фильмы мы смотрели раз по двадцать* (Г. Титов); *Данная барышня всех затмила как совершенством техники, так и неутомимостью: танцевала семь, не то восемь раз* (В. Панова).

Основным значением слова *раз* является обозначение однократности действия⁴. Если же действие многократно, то к слову *раз* присоединяется числительное любого значения. И хотя в языке нет каких-либо ограничений в образовании сочетаний «по модели „числительное + раз“, ... однако в речевой практике обычно используются сочетания с числительными первого десятка... Это свидетельствует о том, что в практической деятельности человека нет необходимости, кроме особых случаев, заниматься счислением действий, процессов и состояний, ... если это количество более десяти...» [18].

Часто при количественной характеристике действий используются слова со значением неопределенного количества плюс слово *раз*: *Сколько раз, еще подростком, сидел я за этим столом...* (Ф. Абрамов); *Однажды я решил блеснуть и несколько раз пронесся через поляну по тоненькому льду* (Г. Титов); *Фамилия Супрунова, много раз повторенная, доставляла ей наслаждение* (В. Панова).

Количественно-глагольные словосочетания параллельны количественно-именным сочетаниям по характеру их денотативного значения. Ср.: *две подписи и дважды подписать, два раза подписать; три прыжка и трижды прыгнуть, три раза прыгнуть; первая встреча и впервые встретиться, в первый раз встретиться; Есть летчики, которые, освоив машину, могут выполнять абсолютно одинаково сотни взлетов и посадок, сотни раз абсолютно идентично уйти на боевой разворот, на «петлю», на «бочку»* (Г. Титов).

Со стороны грамматической структуры количественно-глагольные сочетания имеют свою специфику. В отличие от количественно-именных сочетаний, где стержневым является количественное числительное (в им. и вин. падежах, а также в дат. с *по*), а существительное — зависимым, в количественно-глагольных, напротив, стержневым словом всегда является глагол, а слово или оборот с количественным значением оказываются регулярно зависимыми от глагола компонентами. Однако грамматический вопрос в пределах данных сочетаний имеет двустороннюю направленность: в сочетании *дважды подчеркнул* вопрос может быть задан и от стержневого слова — от глагола (подчеркнул сколько раз?), и от зависимого количественного слова (что сделал дважды?).

Добавление к глаголу количественных слов или количественного оборота «числительное + раз» может выполнять разные функции: во-первых, может конкретизировать количественное значение: вместо значения неопределенного множества называть конкретное определенное количество (*переписывать — трижды переписывать; подчеркивали — два раза подчеркивали*); во-вторых, привносить количественное значение, т. е. глаголу, не имеющему количественной характеристики, давать такую характеристику (*писать — дважды писать, два раза писал*); в-третьих, менять количественную характеристику, т. е. глаголу со значением однократного действия давать значение многократности с указанием как на определенное, так и на неопределенное множество (*прыгнуть — пять раз прыгнуть, много раз прыгнуть*).

⁴ Нужно отметить некоторую неточность в определении основного значения слова *раз*, данному в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова, где значение этого слова трактуется как «обозначение однократного действия». *Раз* обозначает не действие, а однократность, т. е. дает количественную характеристику действию, названному глаголом.

Характер функции зависит, с одной стороны, от лексико-грамматических свойств глагольного слова (глаголы однократные, многократные и количественно-неопределенные), с другой — от формы слова.

Функция конкретизации проявляется в тех случаях, когда глагол в своем лексико-грамматическом значении или в значении своей числовой формы уже содержит идею множественности, причем, как правило, идею неопределенной множественности, которая вообще не имеет какой-либо квалификации. Так, например, глагол *подпрыгивать* является многократным, однако значение множества неопределенно. В сочетании же *два раза подпрыгивает* или *дважды подпрыгивает* неопределенное множество конкретизируется и становится определенным.

Если глагол используется в форме мн. числа, то количественная конкретизация может касаться как действий, так и действующих лиц. Так, наречия типа *дважды*, *вторично* и обороты типа *три раза*, *третий раз* конкретизируют количество действий, а наречия типа *вдвоем*, *впятером* и количественно-именные сочетания (*два человека*, *пять штук* и др.) конкретизируют количество субъектов действия.

Так, словоформа *пришли* указывает и на множество действующих предметов, и на множество самих действий, но множество неопределенное как в одном, так и в другом случае. В сочетании *Пришли вдвоем* или *Два человека пришли* множество действующих лиц имеет определенное количественное значение. В сочетаниях *Пришли вторично*, *Пришли второй раз* множество действий также получает определенное количественное выражение. Например: *Пили чай вторым...* (В. Панова); — *Да как все-то вшестером на пожню выйдете...* *Целая бригада Пряслиных* (Ф. Абрамов); *В третий раз скрипнули ворота...* (Ф. Абрамов).

Конкретизация количества может носить чисто оценочный характер, когда количество действий оценивается как большое или небольшое: *мало стал*, *много гулял*, *много раз повторял*.

Функция привнесения количественных значений имеет место тогда, когда глагол не содержит никакого указания на количественную характеристику действия (*читать*, *петь*, *писать* и т. п.), а его форма, форма ед. числа, обозначает только, что количество действующих лиц равно единице. В этом случае добавление к глаголу соответствующих количественных слов и оборотов привносит, добавляет к глаголу ту или иную количественную характеристику. Ср.: *читать* и *дважды читать*, *писал* и *пять раз писал*.

Функция изменения количественных значений глагола происходит тогда, когда глагол имеет значение однократности действия, однако в действительности это действие может происходить неоднократно, возникает значение множества однократных действий. Так, глаголы типа *прыгнуть*, *толкнуть*, *сказать*, *взмахнуть* и т. п. обозначают однократные действия, однако в сочетаниях *трижды прыгнул*, *два раза толкнул*, *дважды взмахнул рукой* и т. п. передается уже множественность действий с указанием на их конкретное число.

Анализ способов выражения количественных значений в системе русского глагола показывает, что существует определенное взаимодействие между ними. Глагол в форме инфинитива передает те или иные количественные значения лексико-грамматическим способом (в сфере глагольной аспектуальности и вида) без влияния иных способов. Однако эти значения, присущие начальной неизменяемой форме глагола, могут получать определенные изменения, когда глагол используется в спрягаемой форме, за счет морфологических форм числа. Т. е. морфологический способ выражения количественных значений как бы накладывается на лексико-грамматический и производит определенные изменения: форма мн. числа позволяет представить однократные действия как совершаемые несколько раз. Форма мн. числа глаголов передает, как и форма мн. числа существительных, неопределенное множество.

Употребление глагольных форм в структуре предложения может приводить к дальнейшему изменению количественных значений этих форм за счет особенностей количественных значений имен существительных, вы-

ступающих в роли подлежащего, а также под влиянием семантики особых структурных видов предложений. Синтаксические средства выражения количественных значений могут либо изменять существенным образом начальное количественное значение глагола, либо конкретизировать неопределенные количественные значения, либо приносить (добавлять) количественные значения в характеристику действий.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Панфилов В. З.* Философские проблемы языкознания. М., 1977.
2. *Панфилов В. З.* Грамматика пивхского языка. Т. 2. М., 1965, с. 79—85.
3. *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958, с. 244.
4. *Крейнович Е. А.* Способы действия в глаголе кетского языка.— Кетский сборник. М., 1968, с. 83.
5. *Хартунг Ю.* Дистрибутивный и суммарно-дистрибутивный способы глагольного действия в современном русском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Ростов-на-Дону, 1979.
6. *Виноградов В. В.* Русский язык (Грамматическое учение о слове). 2-е изд. М., 1972, с. 387.
7. *Маслов Ю. С.* Система основных понятий и терминов славянской аспектологии.— В кн.: Вопросы общего языкознания. Л., 1965, с. 70—79.
8. *Соболева П. А.* Словообразовательная полисемия и омонимия. М., 1980, с. 241—242.
9. *Милославский И. Г.* Морфологические категории современного русского языка. М., 1981, с. 177—178.
10. *Бондарко А. В.* Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983.
11. *Буланин Л. Л.* Трудные вопросы морфологии. М., 1976, с. 123.
12. *Чеснокова Л. Д.* Связи слов в современном русском языке. М., 1980, с. 41.
13. *Чеснокова Л. Д.* Семантика сочинительных связей в структуре простого предложения.— В кн.: Предложение и текст в семантическом аспекте. Калинин, 1978.
14. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970, с. 365.
15. Русская грамматика. Т. I. М., 1980, с. 640.
16. *Зализняк А. А.* Русское именное словоизменение. М., 1967.
17. *Яцкевич Л. Г.* О семантической и функциональной неоднородности форм числа имен существительных в речи.— В кн.: Грамматическая семантика языковых единиц. Вологда, 1981.
18. *Чеснокова Л. Д.* Категория количества и синтаксические структуры.— ВЯ, 1981, № 2, с. 46.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

РЕПИНА Т. А.

О ДАЛМАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ И ЕГО МЕСТЕ В ГРУППЕ
РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

История изучения романских языков в нашей стране складывалась таким образом, что интерес исследователей оказался сосредоточенным на живых, ныне функционирующих языках — французском, испанском, итальянском, португальском, румынском, молдавском¹. Вымерший далматинский язык не привлек к себе достаточно пристального внимания². Это нетрудно объяснить, однако вряд ли это можно принять как оправданное положение вещей. Своеобразие формирования романского ареала состояло в дроблении разговорной латыни на многочисленные, отличные от нее и друг от друга разновидности романской речи. Факт существования или вымирания языка не имеет принципиального значения для понимания тех процессов, которые привели к образованию романских языков, а представление о диапазоне возможных реализаций тех или иных направлений исторического развития необходимо иметь во всей их полноте, поскольку вымершие языки исторически также принимали участие в этих процессах. Для романского языкознания изучение далматинского языка имеет важное значение еще и потому, что территориально он находился в балканороманской зоне, дающей пример языков и диалектов, относимых к восточнороманскому типу. Место далматинского по отношению к западно- или восточнороманской языковой структуре не определено, мнения ученых расходятся, что затрудняет решение проблемы классификации романских языков. В настоящей статье, не ставя целью дать исчерпывающее описание строя далматинского языка и предложить окончательное решение проблемы его места в классификации романских языков, мы хотели бы привлечь к нему внимание романистов и поделиться некоторыми соображениями, возникшими в процессе изучения далматинских текстов и истории вопроса.

Далматинский язык был распространен на побережье исторической области Далмация (бывшей римской провинции) и на прилегающих к побережью островах Адриатического моря (в настоящее время эти территории входят в состав Социалистической Федеративной Республики Югославии). Он известен в двух территориальных разновидностях: северной, которую называют вельотским диалектом (иногда название «вельотский» распространяют на язык в целом) и южной (рагузинский или рагузанский диалект). Предполагается существование в древние времена еще одной (центральной) территориальной разновидности далматинского языка. Письменные свидетельства южного диалекта (г. Рагуза, ныне Дубровник) немногочисленны и относятся к периоду XIII—XVI вв. Сведения о северном диалекте (о. Велья, ныне Крк) датируются XIX в. Гипотеза о существовании центрального диалекта (г. Зара, ныне Задар) выдвинута на основании некоторых косвенных свидетельств [3].

Одним из первых обратил внимание на романскую речь города (острова) Велья работавший там в середине XIX в. врач Дж. Б. Кубич, который

¹ О романских языках, их генетической и структурной общности и истории изучения см. [1].

² Высказаны лишь отдельные соображения, главным образом по вопросам исторической фонетики этого языка в соотношении с фонетикой румынского языка [2].

собрал и частично опубликовал в местных изданиях образцы этой речи и некоторые сведения о ее носителях (он не дает специального названия, а пишет об этом языке как об «un antico linguaggio che parlavasi nella città di Veglia»). К изучению данной разновидности романской речи, названной им вельютской, призвал в 70-х годах прошлого столетия известный итальянский лингвист Г. И. Асколи [4]. В 1886 г. профессор одного из австрийских университетов (г. Грац), уроженец полуострова Истрия (г. Ровинь), А. Ивз [5] опубликовал материалы о вельютской речи. А. Ивз анкетировал последнего носителя этой речи, жителя острова Велья³ Антонио Удину по прозвищу Бурбур, которому тогда было 59 лет, а также некоторых других местных жителей, сохранивших воспоминания о вельютской речи.

Термин «далматинский язык» был введен в 1906 г. итальянским филологом М. Дж. Бартоли. В своей известной монографии [6] М. Бартоли анализирует с точки зрения их познавательной ценности и достоверности все доступные ему источники сведений о вельютском и рагузинском диалектах далматинского языка. Он дает исторический очерк условий возникновения, существования и затухания романской речи на территории бывшей римской провинции Иллирии (Далмации). Во второй том его монографии включены записи далматинского языка, в том числе и в первую очередь все то, что рассказал ему о себе и своей жизни Антонио Удина. В исследовании приводится список далматинских слов, дается очерк фонетики далматинского языка, его морфологии и словообразования с учетом исторических изменений. Труд М. Бартоли до сих пор остается наиболее ценным, а в известной степени и единственным источником сведений о далматинском языке, именно на него опираются все более поздние исследования⁴.

Материалы, по которым восстанавливаются факты далматинского языка⁵, объединяются в три группы источников, две из которых дают представление как о фонетике и лексике, так и об особенностях грамматического строя языка, третья — главным образом о словаре и некоторых способах словообразования. Названные группы источников: 1) непосредственные свидетельства человека, владевшего этим языком как родным (Антонио Удины); 2) отдельные слова и предложения, а также краткие (в несколько строк) тексты на далматинском языке, записанные со слов местных жителей, понимавших вельютскую речь, но уже активно ею не владевших⁶; 3) косвенные свидетельства: вельютские слова в латинских и сербохорватских документах и в текстах, написанных на венецианском диалекте итальянского языка, обнаруженных на острове Велья, и данные топонимики этих мест. Среди всех источников особенно ценными являются, конечно, свидетельства Антонио Удины, хотя и они носят до известной степени относительный характер⁷. Предельный срок существования дал-

³ Образование топонима *Veglia* предположительно представляют следующим образом: *Veglia* < позднелат. *vecla* < классич. лат. *vetula* (*vetulus*), уменьшит. к *vetus*, *-eris* «старый, древний».

⁴ Библиографию работ, посвященных далматинскому языку и относящихся к периоду с 1906 по 1966 г., см. [7].

⁵ Поскольку в силу объективных причин наиболее полно письменными свидетельствами представлена северная разновидность далматинского языка, на ее основе обычно и ведется его изучение. Приводимые далее факты и рассуждения также относятся именно к этой его территориальной разновидности.

⁶ Среди источников данной группы — обнаруженные М. Бартоли [6, т. I, с. 15—18; т. II, с. 1—4] записи некоего Мате Карабаича, скончавшегося незадолго до приезда на остров итальянского ученого. Его родственники предоставили в распоряжение М. Бартоли записную книжку покойного. М. Карабаич, славянин по происхождению, сделал ряд записей в 40-х годах XIX в. в возрасте 10—11 лет, когда он обучался в школе совместно с детьми, для которых вельютская речь была родной. Это самые ранние по времени записи северного варианта далматинского языка.

⁷ Лингвистическая судьба последнего носителя далматинского языка складывалась не самым благоприятным для последующих исследователей образом. Бабушка и дедушка общались с ним на их родном языке (вельютском, или далматинском). Родители же предпочитали разговаривать с ним на венецианском диалекте итальянского языка, пользуясь далматинским лишь в общении друг с другом и считая его своеобразным «тайным» языком. Удина говорит, однако, что он понимал этот язык уже с раннего

матинского языка — 1898 г., год гибели А. Удины (от взрыва мины, в возрасте 77 лет).

Изучение далматинского языка затруднено рядом моментов. Это прежде всего отсутствие унификации в записи далматинских слов и форм. При передаче одних и тех же звуков⁸ нередко используются разные буквы и буквенные сочетания, в том числе снабженные диакритическими знаками⁹. Это, во-вторых, большая вариативность самих слов и форм, сохранившихся в памяти носителя языка и тех, кто когда-то общался с носителями далматинского языка¹⁰. И, наконец, трудность состоит в невозможности, в силу ограниченного объема имеющихся данных, полностью восстановить систему языка.

Отсутствие ранних письменных свидетельств далматинского языка в вельотском варианте осложняет изучение процесса формирования его звукового и грамматического строя. Тем не менее наличие необходимых сведений об исходной языковой основе и о конечном этапе истории языка позволяет составить некоторое представление о своеобразии исторических преобразований, которые имели место в данной зоне романского языкового ареала.

Фонетическое развитие далматинского языка носило весьма своеобразный характер. Так, например, с одной стороны, в далматинском языке, подобно тому, как это наблюдалось в итальянском и румынском, но в отличие от испанского и французского, как правило, не происходило протезы гласного, ср. лат. *spina*¹¹ «шип, колючка» > далм. *spaina*, итал. *spina*, рум. *spin*, но исп. *espina*, франц. *épine*; лат. *strictus* «тугой; узкий, тесный» > далм. *strat (striat, struat)*, итал. *stretto*, рум. *strimt* (позднелат. **strictus*), но исп. *estrecho*, франц. *étroit* и т. п. С другой стороны, однако, в далматинском языке наблюдалась протеза согласного (полугласного), не характерная для других романских языков, например: лат. *annus* «год» > далм. *iaiu*; лат. *aqua* «вода» > далм. *iaqua*; лат. *oculus* «глаз» > далм. *vaklo (uaclo)* и т. д.

В отличие от большинства других романских языков, далматинский унаследовал неизменной группу согласных *cl*: лат. *clamare* «громко кричать, звать» > далм. *clamaar*, франц. *clamer*, исп. *llamar* (книжн. *clamar*), итал. *chiamare*, рум. *cheta*; лат. *clavis* «ключ» > далм. *kluf (kluw)*, франц. *clef*, исп. *llave* (книжн. *clave*), итал. *chiave*, рум. *cheie* и т. п.

возраста. В школе он обучался немецкому и литературному итальянскому языку. В ходе своей трудовой деятельности он имел дело с носителями сербохорватского языка, фриульского диалекта и ряда других языков и диалектов. В течение примерно 20 последних лет своей жизни Антонио Удина, оставшись единственным носителем далматинского языка, был лишен возможности использовать его как средство общения [6, т. I, с. 21—27].

⁸ Описание системы фонем далматинского языка и их дистрибуции можно найти в монографии Р. Л. Хэдлича [8, с. 57—70].

⁹ Наибольшие расхождения наблюдаются в графическом обозначении восьми согласных, в том числе четырех аффрикат:

[ts]	z c e s s̃ ts	[l']	l' l̃ l̃ gl̃ ly
[dz]	z̃ z̃ z̃ z̃ dz	[n']	ñ ñ ñ gñ nj̃ ny
[tʃ]	č č č ch tš	[ɲ]	ñ ñ ɲ
[dʒ]	ǰ ǰ ǰ dǰ gj	[z]	š s̃ š z̃

В настоящей статье применены графические обозначения, использованные М. Бартоли в его собственных записях далматинского языка. В приведенной таблице они даны первыми.

Следует оговорить, что для обозначения полугласного [w] М. Бартоли пользуется знаком краткости под буквой *u*: *puart* «часть»; полугласный йот [j] в его записи обозначается двойкой, как *u* или как *ǰ*: *ǰaǰn* «год». Мы передаем звук [w] буквой *u*, звук [j] — буквой *i* без каких-либо дополнительных знаков, поскольку их произношение как полугласных определено позицией (перед гласным, после гласного, между гласными) и сомнений, как правило, не вызывает: *puart*, *iaiu* и т. п.

¹⁰ Ср. зафиксированные в списке слов М. Бартоли варианты существительного со значением «сын» (лат. *filius*, -i): *feil*, *fel'*, *fel'ǰ*, *fel'*, *fuvel* [6, т. II, с. 182] или варианты числительного «восемь» (лат. *octo*): *vapto*, *guapto*, *uapto*, *vual*, *uat*, *octo* и т. п.

¹¹ Для удобства изложения в тех случаях, когда основа латинских существительных в номинативе и косвенных падежах совпадала, приводится форма номинатива. Если основа была разной (*imperator*, *imperatoris*), по традиции дается форма аккузатива, номинатив указывается в скобках.

Наибольшее своеобразие далматинского языка проявляется в фонетическом развитии ударных гласных, особенно в открытом слоге. Здесь отмечены следующие регулярные соответствия ¹²:

Лат.	Далм.	Примеры
\bar{i}	$>$ ai	<i>amicus</i> «друг» $>$ <i>amaiko</i> , <i>gallina</i> «курица» $>$ <i>galaina</i> , <i>maritus</i> «муж» $>$ <i>marait</i>
\bar{e}	$>$ ai	<i>cena</i> «главная трапеза, обед» $>$ <i>kaina</i> «ужин», <i>cera</i> «воск» $>$ <i>kaira</i> , <i>plenus</i> «полный» $>$ <i>plain</i>
\check{i}	$>$ ai	<i>camisia</i> «нижняя рубашка, сорочка» $>$ <i>kamisa</i> , <i>fides</i> «вера, доверие» $>$ <i>faid</i> , <i>nivem</i> (nix) «снег» $>$ <i>nai</i> , <i>pilus</i> «волос» $>$ <i>pail</i>
\check{e}	$>$ ia	<i>fides</i> $>$ <i>fiad</i> , <i>nivem</i> $>$ <i>niav</i> , <i>videt</i> «он (она) видит» $>$ <i>viad</i>
\bar{e}	$>$ i	<i>bene</i> «хорошо» $>$ <i>bin</i> , <i>decem</i> «десять» $>$ <i>dik</i> , <i>leporem</i> (lepus) «заяц» $>$ <i>lipro</i>
\bar{a}	$>$ u	<i>caput</i> «голова» $>$ <i>kip</i> , <i>mare</i> «море» $>$ <i>mur</i> , <i>rarus</i> «редкий» $>$ <i>gur</i> , <i>stare</i> «стоять, находиться» $>$ <i>stur</i>
\bar{o}	$>$ u	<i>coquere</i> «варить; печь, жарить» $>$ <i>cicro</i> , <i>focus</i> «(позднелат.) огонь» $>$ <i>fuk</i> , <i>locus</i> «место» $>$ <i>luk</i>
\bar{o}	$>$ au	<i>colorem</i> (color) «цвет» $>$ <i>kolaur</i> , <i>hora</i> «время, час» $>$ <i>iaura</i> , <i>imperatorem</i> (imperator) «(позднелат.) император» $>$ <i>inperataur</i> , <i>nomen</i> «имя, название» $>$ <i>naum</i>
\bar{u}	$>$ au	<i>crucem</i> (cruz) «крест» $>$ <i>krauk</i> , <i>gula</i> «глотка, горло» $>$ <i>gaula</i> , <i>nucem</i> (nux) «орех» $>$ <i>nauk</i> , <i>supra</i> «над, на» $>$ <i>saupra</i>
\bar{u}	$>$ oi	<i>crudus</i> «сырой, необработанный» $>$ <i>croit</i> , <i>durus</i> «жесткий» $>$ <i>doir</i> , <i>flumen</i> «течение, река» $>$ <i>floim</i> , <i>luna</i> «луна» $>$ <i>loina</i>

Приведенные данные свидетельствуют о весьма необычных для романского ареала фонетических соответствиях между латинскими гласными и далматинскими звуками. Обращает на себя внимание, в частности, переход $a > u$, дифтонгизация \bar{i} , \bar{u} , не свойственная другим романским языкам [4, с. 164—168], а также тот факт, что ударный \bar{e} в открытом слоге, в отличие от других романских языков, не подвергся дифтонгизации (*decem > dik*) ¹³.

Что касается такой важной черты романского исторического вокализма, как изменение гласных заднего ряда, то она, как известно, представлена двумя типами фонетического развития:

	Западнороманский тип				Восточнороманский тип			
Классич. лат.	\bar{o}	\bar{u}	\bar{y}	\bar{u}	\bar{o}	\bar{u}	\bar{y}	\bar{u}
Позд. лат.	\bar{o}	\bar{u}	\bar{y}	\bar{u}	\bar{o}	\bar{u}	\bar{y}	\bar{u}

Для далматинской зоны восстановить позднелатинский этап оказывается затруднительным. Однако прямое соотнесение латинских гласных с далматинскими, засвидетельствованными в языке XIX в., обнаруживает

¹² Они представлены в монографии Р. Л. Хэдлича [8, с. 72—73]. Мы, однако, предполагаем латинские звуки в иной, несколько более привычной для романстических работ последовательности (от переднеязычных к заднеязычным). Данные, приведенные Р. Л. Хэдличем, были проверены по словарю М. Бартоля [6, т. II, с. 169—236] и текстам, что позволило дополнить таблицу новыми примерами и внести уточнение в отношении \check{i} , которое, как оказалось, обнаруживает в открытом слоге под ударением двойное развитие.

¹³ В закрытом слоге под ударением дифтонгизация имела место: $\bar{e} > ia$: *ferrum* «железо» $>$ *fiar*, *lente* «медленно» $>$ *liant*, *terra* «земля» $>$ *tiara*. П. Губерина [9, 10] объясняет дифтонгизацию ударных гласных влиянием на далматинский язык славянских (чакавских) говоров. Он выделяет три периода в истории далматинского языка: старовельотский (X—XII вв.), средневельотский (XIII—XVIII вв.) и современный вельотский (XIX в.) и доказывает, что в первый период гласные в далматинском языке вообще не подвергались дифтонгизации, во второй период дифтонгизация имела место лишь в некоторых случаях. Таким образом, в соответствии с его точкой зрения, дифтонгизация, наблюдаемая в далматинском языке XIX в., представляет собой сравнительно позднее явление.

единый результат развития латинских *ō* и *ū* в открытом слоге под ударением:

Классич. лат.	<i>ō</i>	<i>ō</i>	<i>ū</i>	<i>ū</i>
Далм. язык XIX в.	<i>i</i>	<i>au</i>		<i>oi</i>

Мнение Р. Л. Хэдлича [8, с. 86] о том, что «в латинском языке Вельи система гласных с начала седьмого века была той же, какой ее предполагают в ранний период для всех западнороманских языков..., и существенно отличалась от восточной группы», хотя оно и оспаривается некоторыми исследователями [11], заслуживает внимания и дальнейшей тщательной проверки с использованием всех существующих источников сведений о далматинском языке.

Засвидетельствованные в записях далматинского языка грамматические формы, хотя и не дают полной картины, позволяют составить некоторое представление о его грамматическом строе.

Существительное в далматинском языке изменялось по родам и числам: ед. ч. муж. р. *amaic* (*amaiko*) «друг» — мн. ч. муж. р. *amaiki* (*amaič*) — ед. ч. жен. р. *amaika*, мн. ч. жен. р. *amaike*, однако в ряде случаев флексия отсутствовала и единственным показателем рода и числа существительного становился сопровождающий его артикль (детерминатив со значением «этот, тот» и др.): *el* (*ioin, kost, kol*) *buč* «вол» — мн. ч. *i* (*kosti, koli*) *buč*; *la* (*ioina, kosta, kola*) *nuat* «ночь» — мн. ч. *le* (*koste, kole*) *nuat*. Обычное место определенного артикля и детерминативов — в препозиции к существительному. Способностью к склонению существительное, артикли и детерминативы в далматинском языке не обладали, падежные отношения передавались предлогами: *la ruoma*¹⁴ *del iarber* «ветвь дерева», *ioina baret di luona de le beste* «берет из шерсти животных»; (*iu*) *la dua al pauper* «я отдал ее бедняку».

Прилагательные в большинстве случаев изменяются по родам и числам: *vetruñ* «старый», *-i, -a, -e*. В некоторых случаях форма прилагательного остается неизменяемой, ср.: *ioin pais foriast* «чужая страна» и *kuolke lanġa foriast* «какой-нибудь иностранный язык». Ср. также: *gruonđ* «большой, -ие» (ед. ч. и мн. ч. муж. р.), но (жен. р.) *gruonda* (ед. ч.), *gruonde* (мн. ч.).

Степени сравнения прилагательных образуются при помощи наречия *ple*: *ple vetruñ* «старший (старше)», *ple buñ* «лучший (лучше)» (сравнительная степень); *ple buñ de toči* «самый хороший из всех» (превосходная степень), например: *iara uñ iom ple rispetabil de toči kuinč perko el era re!* «это был самый уважаемый человек из всех (сколько их было), так как это был король» [6, т. II, с. 21].

Парадигма личных местоимений представлена ударными и неударными формами. Она восстанавливается, однако, лишь частично, поскольку некоторые формы не засвидетельствованы. В парадигме местоимений обращают на себя внимание следующие моменты: 1) вариативность форм, ср.: *ial fero vetruñ* «он был стариком»; *el fero muart* «он умер»; (*ial, el* «он»); *coñ iu* и *coñ main* «со мной» и т. п.; 2) употребление в качестве ударных форм 1-го и 2-го л. мн. числа местоимений *noiltri, voiltri*, например: *kuoñ ke se inkontrume noiltri ke favlume, kosaik in veklisuñ* «когда собирались мы, которые говорили по-вельотски» [6, т. II, с. 9], ср. в испанском: *nosotros, vosotros* (итал. *noi altri*, франц. *nous autres*).

Притяжательные местоимения встречаются в текстах только в формах 1-го и 3-го лица. Они ставятся перед существительным, имеющим при себе определенный артикль, как в итальянском: *i forlañ favlua toč ne la sua lanġa* «фриульцы всё выражали на своем языке» [6, т. II, с. 11], в том числе,

¹⁴ Буквенное сочетание *uo* используется в записях, осуществленных М. Бартоли, который квалифицирует его как «висящий» (восходяще-нисходящий) дифтонг [6, т. II, с. 319—320]. Р. Л. Хэдлич, однако, рассматривает его как аллофон [u] и в особый звуковой тип не выделяет [8, с. 64—65]. В текстах, собранных М. Бартоли, одни и те же слова в одноименных контекстах записаны то через *u*, то через *uo*, ср.: *tra di a dorut el fuok* «три дня длился пожар (букв. огонь)» и *e-l praimo dai, ke fero el fuok* «и в первый день, как полыхал пожар (букв. как был огонь)» [6, т. II, с. 7]. Мы сохраняем запись М. Бартоли (*uo*), но без надстрочного и подстрочного знаков.

в данном случае в отличие от итальянского, и при именах родства: *el mi tuota* «мой отец», *la maia niena* «моя мать».

Относительное местоимение имело неизменяемую форму *ke: i vetruni ke sapaia favlur iñ veklisuñ* «старика, которые умели говорить по-вельотски»; *la vetruna ke se klamua...* «старушка, которую звали...».

Количественные числительные поддаются наиболее полному восстановлению: *ioin* (жен. р. *ioina*), *doi* (жен. р. *doie*), *tra*, *quatro*, *čičk*, *sis*, *sapto*, *vapto*, *ni*, *dik*; *dikioñko*, *dikdoi*, *diktra*, *quatuarko*, *dikčičk*, *setco*, *diksapto*, *dikvapto*, *dikinu*, *viant*, *viant ioin (doi)*; *tranta*, *quaranta*, *cinčkuanta*, *sessuanta*, *septuanta*, *octuanta*, *nonuanta*, *ziant*; *mel*¹⁵.

Засвидетельствованы некоторые формы порядковых числительных: *praimo* «первый», *trato* «третий», *siapto* «седьмой», *vatvo* «восьмой» и т. п. Они изменяются по родам: *el trato dai* «третий день», но *di trata klas* «третьего класса». Имеются собирательные числительные, например, *kvarantaina* «сорок» (ср. итал. *quarantina*, франц. *quarantaine*).

Глаголы в далматинском языке группируются по четырем типам (группам) в зависимости от формы инфинитива:

- I -*ur*: *favlur* «говорить», *žokur* «играть», *levur* «брать»
- II -*ar*: *bar* «пить», *mirar* «умереть», *vedar* «видеть»
- III -*ro*: *debro* «сказать», *puoscro* «спасти», *rakalgro* «собирать»
- IV -*er*: *koprér* «закрывать», *piárder* «терять»

В историческом плане, как видно из приведенных иллюстраций, наблюдался, как и в других романских языках, переход глаголов из одного типа в другой, ср. позднелат. *morire* (IV) > далм. *mirar* (II); лат. *perdere* (III) > далм. *piárder* (IV) и др.

В записанных исследователями далматинских текстах относительно регулярно употребляются три времени индикатива: презенс, имперфект, сложный перфект. Последний образуется при помощи вспомогательного глагола *avar* «иметь» и причастия прошедшего времени: *iu iai stat a skol tra iain* «я учился (букв. оставался) в школе три года»; *iñ slav iu no iai mui studiut* «на славянском (языке) я больше не обучался»; *el profesaur ive iu det ke...* «профессор Ивэ сказал, что...» [6, т. II, с. 9, 13, 15]¹⁶.

Поддаются восстановлению два относительно регулярных типа парадигмы спряжения: один на -*ia* для первой группы (I) глаголов и другой на -*ia* для всех остальных групп (II—IV). При этом одна и та же парадигма чаще всего выражает не только презенс индикатива и конъюнктива, но и имперфект индикатива, иными словами, трем временам соответствует по существу одна парадигма, в которой, к тому же, совпадают по форме все лица единственного числа и третье лицо множественного числа¹⁷.

Парадигма глаголов <i>favlur</i> и <i>debro</i> :			
Ед. ч.	1 <i>favlúa</i>	Ед. ч.	1 <i>dekaia</i>
	2 <i>favlua</i>		2 <i>dekaia</i>
	3 <i>favlua</i>		3 <i>dekaia</i>
Мн. ч.	1 <i>favlume</i>	Мн. ч.	1 <i>dekaimé</i>
	2 <i>favlute</i>		2 <i>dekaite</i>
	3 <i>favlua</i>		3 <i>dekaia</i> ¹⁸ .

¹⁵ Мы отвлекаемся от многочисленных вариантов форм количественных числительных, ср.: *dikioñko*, *ioñko* «одинадцать», *dikdoi*, *dotko* «двенадцать», *diktra*, *tretko* «тринадцать», *dikvarto*, *dichidapto*, *dikduat* «восемнадцать» и т. д. [6, т. II, с. 169—236]. Выявить регулярности использования той или иной формы не удастся, они находятся в отношении свободного варьирования.

¹⁶ Впрочем, ср.: *el fero muart* «он умер». М. Бартоли при переводе этого примера на итальянский язык использует сложный перфект. Возможно, образование данной глагольной формы в далматинском языке производилось в отдельных случаях также при помощи вспомогательного глагола *saité* «быть». Скорее всего, однако, *fero* — это имперфект глагола *saité*, а вся форма — аналитический плюсквамперфект глагола *mirar*. Вопрос нуждается в специальном изучении.

¹⁷ Поскольку употребление времен поддается восстановлению в основном по записям речи А. Удины, возможно, что в его памяти сохранилась лишь парадигма настоящего времени индикатива, которую он и воспроизводит независимо от условий контекста и передаваемого ею значения.

¹⁸ Некоторые глаголы имеют особую парадигму спряжения; например, глагол *vener*: *iu viñ*, *te viñ*, *ial (iala) vine* и т. д. Что касается приведенной парадигмы глагола *debro*, то М. Бартоли в грамматическом очерке отмечает также возможность использования в 1-м л. ед. ч. формы *dekaio*, во 2-м л. ед. ч. — *dekai* [6, т. II, с. 391].

Формы других времен встречаются спорадически и не дают оснований для восстановления соответствующих парадигм, ср. будущее время *venaro* «я приду, он придет», *barme* «мы выпьем»; плюсквамперфект индикатива(?): *avas piers* «я (он) потерял» и т. п.

Неличные формы глагола представлены инфинитивом, причастием прошедшего времени (*favlut, piers, vedut* или *vedoit* и др.) и деепричастием (*favlund, plangand, vedando* и т. п.).

Конкуренция инфинитива и конъюнктива в приглагольной позиции, как в румынском, не наблюдается, ср.: *ma i felgi no-i saraia naiika nol'a favlur kosaik in forlan* «но сыновья уже не умеют (не умели) так говорить по-фриульски» и в румынском: *dar fiii nu mai stiu (stiau) sa vorbeasca asa (de bine) dialectul friulan*.

В функции наречия используются главным образом прилагательные: *kantua biin* «он хорошо поет (пел)». Суффиксальные образования единичны: *quartemiant* «сильно».

Основу засвидетельствованной лексики составляют слова латинского фонда: *avar* < *habere*, *bin* < *bene*, *dekro* < *dicere*, *diant* < *dentem (dens)*, *floim* < < *flumen*, *frutro* < *fratrem (frater)*, *iom (iomno)* < *homo (hominem)* и многие другие. В области абстрактной лексики преобладают заимствования из итальянского: *afet* (итал. *effetto*), *alegraia* (итал. *allegria*), *sostuanza* (итал. *sostanza*) и др. Ряд слов заимствован из сербохорватского языка, например, *niena* «мать» (сербохорв. *nena*), *ninapto* «жених», *ninapta* «невеста» (ср. серб.-хорв. *нинати* «качать ребенка»), *trok* «юноша, мальчик» [др.-сербохорв. *отрокъ* «несовершеннолетний», ср. болг. (устар.) *отрѣк* «мальчик», русск. (устар.) *отрок*, др.-руссск. *отрокъ* «слуга, работник» [12]] и т. п.

В области словообразования наиболее распространенным способом создания новых слов является суффиксация, ср.: *mor* «стена» — *murataur* «каменщик», *bial* «красивый» — *beliaz* «красота» и т. п. Обозначение людей и животных разного пола осуществляется либо при помощи окончаний: *trok* «юноша» — *troka* «девушка»; *kavul* «лошадь» — *kavula* (жен. р.), либо сушлетьивно: *tuota* — *niena*.

Словообразование и словоизменение могут сопровождаться чередованием звуков, в основном чередованием гласных. Наиболее характерные из них:

Неударная позиция	Ударная позиция	Примеры
e — [i	<i>vener</i> «приходить» — <i>vine</i> «он приходит»
	a	<i>kresua</i> «я расту» — <i>kraskro</i> «расти»
	ai	<i>kenur</i> «ужинать» — <i>kaina</i> «ужин»
	ia	<i>pensuar</i> «думать» — <i>pians</i> «он думает»
o — [a	<i>rakolua</i> «я собираю» — <i>rakalgro</i> «собирать»
	u	<i>sonuar</i> «звонить» — <i>suna</i> «он звонит»
	ua	<i>portur</i> «нести» — <i>puarta</i> «он несет»
u —	o	<i>murataur</i> «каменщик» — <i>mor</i> «стена»
a —	u	<i>taknur</i> «молоть (муку)» — <i>tukna</i> «жернов»

Чередования согласных, судя по имеющемуся материалу, немногочисленны, они представлены единичными случаями палатализации конечного согласного при образовании формы множественного числа существительных, ср.: *puark* «свинья» — *puarč* (мн. ч.), *diant* «зуб» — *dianč* (мн. ч.).

Сказанное о далматинском языке может дополнить приводимый ниже фрагмент текста из рассказа Антонио Удины, который воспроизводится в записи М. Бартоли (с коррективами, отмеченными в примечаниях 9 и 14):

el mi tuota e-l su fero d-akuard ke furme el matrimoñ noiiltri doi; e dapu iu iai kaminut... viant kal... e ple! a verbenik, per kost a fur del matrimoñ... ma iu se iai stufat, perko iu iai avut taima dei troki, de kuolke pitra ke-i me butua... e kosaik iu iai piers la ninapta per kualp de koli troki... [6, т. II, с. 13] «Мой отец и ее (отец) согласились, чтобы мы с ней (букв. мы оба) поженились; и потом я ездил... двадцать раз... и больше в Вербенник по этому делу женитьбы... Но я отступился, так как испугался парней, которые ки-

дали в меня камнями (букв.: испугался нескольких камней, которыми они меня били)... И таким образом я потерял невесту по вине этих парней...».

Среди приведенных выше грамматических характеристик далматинского языка обращают на себя внимание особенно следующие три: 1) препозиция определенного артикля; 2) передача падежных отношений при помощи предлогов и, следовательно, отсутствие в далматинском языке склонения существительных; 3) отсутствие конкуренции инфинитива и конъюнктива в приглагольной позиции. Языки, относимые к группе восточнороманских (румынский, молдавский), обнаруживают, как известно, реализацию прямо противоположных черт, а именно постпозицию определенного артикля, наличие склонения существительных, ярко выраженную конкуренцию инфинитива и конъюнктива в приглагольной позиции. Расхождения такого типа можно, вероятно, отнести к числу типологических, поскольку они затрагивают структуру языка в целом.

Сходства и различия языков особенно наглядны при сопоставлении одних и тех же словосочетаний (в приведенном выше отрывке далматинского текста мы выделили их полужирным шрифтом):

Далматинский язык	Румынский язык
<i>kost afur del matrimoñ</i>	<i>această treabă a căsătoriei</i>
<i>la ninapta</i>	<i>logodnica</i>
<i>(per kualp) de koli troki</i>	<i>(din vina) acelor băieți</i>

Ср.:

Итальянский язык	Французский язык
<i>quest'affare del matrimonio</i>	<i>cette affaire du mariage</i>
<i>la sposa</i>	<i>la fiancée</i>
<i>(per la colpa) di quei ragazzi</i>	<i>(par le tort) de ces garçons</i>

Все сказанное дает, как нам кажется, основания говорить о том, что далматинский язык представлял западнороманский тип грамматической структуры¹⁹.

Рассматриваемые в настоящей статье вопросы заставляют задуматься, помимо проблемы классификации романских языков, также над некоторыми другими вопросами романского языкознания, и прежде всего над проблемой единства или диалектальности самой народной латыни. Несходство типов структуры у языков, территориально расположенных в смежной зоне, наводит на мысль о том, что уже в недрах латыни на Балканском полуострове, вероятнее всего в силу разной хронологии романизации соответствующих областей, сложились две ее территориальные разновидности²⁰. Это, в свою очередь, позволяет с большей определенностью говорить о сравнительно ранней дифференциации территориальных вариантов латинской разговорной речи, легкой в основу будущих романских языков, и проливает некоторый дополнительный свет на проблему их формирования.

С другой стороны, факты далматинского языка свидетельствуют о том, что в области грамматики далматинский язык, территориально относящийся к балканороманской зоне, остался за пределами области балканского лингвистического взаимодействия (такие черты, как постпозиция определенного артикля или вытеснение инфинитива конъюнктивом, относятся, как известно, к числу наиболее показательных балканизмов). Вопрос о причинах подобного положения вещей остается открытым.

¹⁹ Мнения ученых по данному вопросу расходятся (см., например, [13, с. 56, карта 9; 14]). Впрочем, вопрос решался до сих пор на основе фонетических критериев. Наиболее справедливой представляется классификация К. Тальявини [15], который, хотя и с некоторыми оговорками, относит далматинский язык к итало-романской подгруппе.

²⁰ Аналогичную мысль, доказывая, правда, в плане интересующих нас вопросов прямо противоположное мнение о том, что далматинский язык, наряду с румынским, относится к восточнороманским языкам, высказала А. В. Широкова: «Экстралингвистические факторы, т. е. разное время завоевания провинций, ... способствовали распадению прото-балкано-романского диалекта на два самостоятельных: прото-далматинский и прото-румынский (во II—IV вв. н. э.), положивших начало самостоятельному развитию этих языков» [2, с. 221].

Изложенное, как нам кажется, делает очевидной необходимость включения далматинского языка в круг лингвистических исследований, говорит в пользу дальнейшего последовательного и углубленного изучения этого весьма своеобразного романского языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аписова Т. Б., Репина Т. А., Таривердиева М. А. Введение в романскую филологию. М., 1982.
2. Широкова А. В. Периодизация балкано-романских диалектов (На материале вокализма румынского и далматинского языков).— В кн.: Лингвогеография, диалектология и история языка.— Кишинев, 1973, с. 218—232.
3. Rosenkranz B. Die Gliederung des Dalmatischen.— ZRPh, 1955, Bd. 71, Hf 3—4.
4. Ascoli G. I. Saggi ladini.— AGI, 1873, v. 1, p. 433—447.
5. Ive A. L'antico dialetto di Veglia.— AGI, 1886, v. 9, p. 115—187.
6. Bartoli M. G. Das Dalmatische. V. I—II. Wien, 1906.
7. Muljačić Ž. Bibliographie de linguistique romane. Domaine dalmate et istriote avec les zones limitrophes (1906—1966).— Revue de linguistique romane, 1969, t. 33, № 129—130, p. 144—167; № 131—132, p. 356—391.
8. Hadlich R. L. The phonological history of Vegliote. Valencia, 1965.
9. Guberina P. La diphtongaison vegliote est-elle une diphtongaison romane?— Atti [del] VIII Congresso Internazionale di studi romanzi, v. II: Comunicazioni, pt. 2—3. Firenze, 1960.
10. Guberina P. Le problème de la diphtongaison en vegliote.— Studia romanica et anglica zagradiensia, 1960, № 9—10.
11. Rosetti A. Sur l'appartenance du dalmate.— In: Festschrift Walther von Wartburg zum 80. Geburtstag. Bd. I. Tübingen, 1968.
12. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1971, т. III, с. 172—173.
13. Wartburg W. von. La fragmentation linguistique de la Romania. Paris, 1967.
14. Vidos B. E. Manual de lingüística románica. Madrid, 1963, p. 265, 315.
15. Tagliavini C. Le origini delle lingue neolatine. Introduzione alla filologia romanza. 6. ed. Bologna, 1972, p. 354—355.

ЕФИМОВ А. Ю.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВЬЕТНАМСКИХ ТОНОВ

Теория происхождения тонов во вьетнамском языке была выдвинута А. Ж. Одрикуром, в основном в его работах [1, 2]. Согласно этой теории, тоны во вьетнамском языке возникли из сегментных единиц аустроазиатского праязыка. До появления работ А. Ж. Одрикура преобладало мнение о том, что вьетнамский — язык тайского происхождения, а его тоны являются рефлексамии каких-либо тонов тайского праязыка. В последнее время теория А. Ж. Одрикура получила дальнейшее подтверждение при рассмотрении вьетнамского в русле общего развития аустроазиатских языков и является сейчас одной из основ аустроазиатской компаративистики. В значительной степени благодаря ей может считаться доказанным факт генетического родства вьетмыонгских и, в частности, вьетнамского и других аустроазиатских языков. Однако наряду с материалом, подтверждающим большинство приводимых А. Ж. Одрикуром соответствий, накоплен и целый ряд фактов, позволяющих внести некоторые дополнения и изменения в его теорию. Следует также в эксплицитной форме отразить отдельные, лишь затронутые автором теории, положения.

Одно из них касается пересмотра времени перехода из нетонального состояния в тональное. А. Ж. Одрикур отмечал возникновение тонов непосредственно во вьетнамском языке. Тем не менее сейчас достаточно очевидно, что образование тонов произошло уже в протовьетмыонгском языке за много сотен лет до появления вьетнамского языка как такового. Самым существенным доказательством этого являются четкие тональные соответствия между вьетмыонгскими языками, среди которых нет ни одного бестонового. Иными словами, тоны — общая вьетмыонгская, а не собственно вьетнамская инновация.

Однако данная неточность не влечет за собой существенных недостатков в теории, поскольку за основу берется ханойский диалект, весьма архаичный в области тонов. При грубом рассмотрении шесть тонов ханойского диалекта полностью соответствуют шести тонам вьетмыонгского праязыка. Поэтому описание механизма происхождения тонов верно с системной точки зрения, несмотря на подобный перенос во времени (т. е. экстраполяция ханойских тонов на протовьетмыонгское состояние).

Более тщательное рассмотрение, впрочем, убеждает нас, что шесть вьетмыонгских тонов, хотя и полностью соответствуют шести ханойским, все же были несколько иными по реализации. Состояние в протовьетмыонгском языке после образования тонов можно описать с помощью следующей реконструкции на основании картины, представленной ханойским диалектом.

1. Современный высокий ровный тон *bảŋg*¹ возводится к такому же ровному тону высокого регистра.

2. Современный падающий тон *hууêù* возводится к ровному тону низкого регистра. Кстати, многие исследователи считают, что *hууêù* и в современном языке — ровный низкий тон.

3. Восходящий высокий тон *sảc* возводится к такому же восходящему тону высокого регистра.

4. «Тяжелый» низкий ровный тон *пảŋg* возводится к нисходящему тону низкого регистра.

¹ В связи с невозможностью набора двух диакритических знаков над одной буквой надстрочный знак тона во вьетнамских словах со знаками «дужка» или «циркумфлекс» сдвигается вправо.

5. Антициркумфлексный тон hoi возводится к антициркумфлексному тону высокого регистра.

6. Антициркумфлексный глоттализированный тон $pg\bar{a}$ возводится к антициркумфлексному тону низкого регистра.

Для простоты в дальнейшем будем обозначать протовьетмыонгские тоны такими же терминами, как и современные ханойские, т. е. протовьетмыонгский $ba\bar{ng}$, протовьетмыонгский $pg\bar{a}$ и т. п.

Подобная реконструкция необходима для большей систематизации протовьетмыонгского состояния, более оправданного разбиения тонов на составляющие их регистры и контуры. При принятии подобных положений мы получаем схему вьетмыонгских тонов, состоящую из трех контуров: ровного, неровного однонаправленного (восходящего или нисходящего) и антициркумфлексного, каждый из которых мог реализоваться как в верхнем, так и в нижнем регистре. Вполне возможно, что регистровые различия в праязыке сопровождались и фонационными различиями.

Материалы языка тхавунг, представленные М. Ферлю [3, 4], показывают, что этому состоянию, возможно, предшествовала ситуация, когда во вьетмыонгском праязыке было только четыре тона. Антициркумфлексные тоны еще не успели возникнуть (по крайней мере, на фонологическом уровне), так как не отпали финали, вызывавшие их образование. Иными словами, не исключено, что не все шесть тонов появились одновременно. Однако данной особенностью можно легко пренебречь, прежде всего потому, что она ничего не меняет принципиально в механизме образования тонов, а лишь означает, что процесс их образования был значительно растянут во времени. Во-вторых, не исключено, что и в тхавунг существует антициркумфлексный контур и [h]-образное придыхание в конце можно считать его интегральным признаком, а не считать, наоборот, антициркумфлексный контур интегральным признаком финали $-/h/$. Весьма характерен тот факт, что такая ситуация свойственна даже современному вьетнамскому языку (по крайней мере, его южным диалектам), хотя это, судя по всему, нигде не описано. Об этом могут свидетельствовать недавние заимствования из вьетнамского в некоторые соседние языки, например, вьетнамское $m\bar{}$ «американцы» дало в австронезийском языке $tyru\ mi : h$. Слово *американцы* — новое, явно не восходящее к претональному протовьетмыонгскому состоянию с финалью $-*h$. Подобных примеров довольно много.

Раскроем вкратце суть положений рассматриваемой теории. Согласно А. Ж. Одрикуру, появлению тонов способствовали два процесса. Один из них, так называемая бифуркация (bipartition) — появление двух регистров в зависимости от качества инициали. Другой процесс, так называемая трифуркация (tripartition) — появление тональных контуров в зависимости от качества финали в слоге. В области бифуркации теория осталась неизменной на протяжении ряда лет, в области трифуркации она претерпела определенные изменения. Констатация самого факта изменения теории, насколько нам известно, нигде не была отмечена.

Суть процесса бифуркации (по А. Ж. Одрикуру) сводится к следующему. В праязыке было два ряда сильных смычных инициалей: глухие и преглоттализированные звонкие, а также один ряд слабых смычных инициалей: простые звонкие. В слогах после сильных возник высокий регистр, после слабых — низкий. Затем простые звонкие оглушились, преглоттализированные стали простыми звонкими, и регистры приобрели фонологическое значение.

Схема А. Ж. Одрикура не объясняет возникновения регистров в словах с другими инициалами, например, с назальными, плавными и т. п. Принципиально эту ситуацию возможно описать следующим образом. После возникновения фонологического различия регистров после шумных смычных инициалей возникла совершенно естественная потребность реализовать все слоги в одном из двух регистров, т. е. «подтянуть» слоги с назальными, плавными и т. д. инициалами до регистрового уровня слогов с шумными смычными инициалами. Это «подтягивание», вероятно, проис-

ходило на протяжении значительного времени и осуществлялось по-разному в различных языках (так как процесс подобный бифуркации, очевидно, имел место на более глубоком, чем протовьетмыонгский, уровне). Часто назальные и т. п. инициалы давали низкий регистр, а слоги с высоким регистром появлялись за счет заимствований. Однако имеются и языки (к их числу, возможно, относятся и вьетмыонгские), где после подобных инициалей появилась оппозиция регистров в исконных словах, отчасти за счет аффиксации, отчасти просто в результате свободного выбора. Этим, по-видимому, можно объяснить такие восходящие к единому корню дублиеты во вьетнамском языке, как $m̄i$ «глаз» — $m̄i$ «лицо», pa — pa «этот», $m̄i$ — $m̄i$ «один» и т. п. В словах с назальными инициалами вьетнамский регистр часто не соответствует фонациям других аустроазиатских языков (после смычных инициалей высокий регистр соответствует голосовой фонации, а низкий расслабленной придыхательной фонации других языков). Ср., например, вьетнамские $m̄u$ «ты», $m̄i$ «комар» (низкий регистр) и суойские ma «ты», m : h «комар» (голосовая фонация). Это показывает, что бифуркация явилась параллельным процессом для различных аустроазиатских групп. Не будем подробно останавливаться на этом, так как наша задача — обсуждение вопросов, связанных с возникновением собственно вьетмыонгских тонов.

Интерпретация процесса трифуркации в работе 1954 г. существенным образом отличается от той, которая дана А. Ж. Одрикуром в работе 1966 г. Если в первой появлении антициркумфлексного контура связывается с отпадением финали $-*h$, а появление неровного однонаправленного контура — с отпадением финальной гортанной смычки (остальные финали должны были бы давать ровный контур), то во второй приводится иная схема, согласно которой глухие шумные смычные финали $-*p$, $-*t$, $-*c$, $-*k$, $-*ʔ$ дали неровный однонаправленный контур, т. е. тоны $s̄a$ и pa ng, глухие шумные фрикативные $-*s$ и $-*h$ дали антициркумфлексный контур, т. е. тоны ho i и pa , а остальные сонорные $-*y$, $-*r$, $-*l$, $-*w$, $-*m$, $-*n$, $-*r^2$, $-*j$, а также $-*θ$ — ровный контур, т. е. тоны ba ng и huy en. Фонологизация тонов произошла за счет отпадения некоторых финалей ($-*ʔ$, $-*h$, $-*s$, $-*r$, $-*l$), а также за счет заимствований. (Ниже автором данной статьи будут предложены и другие изменения схем трифуркации.)

Выскажем перед этим еще одно общее замечание. Оно касается следующего. А. Ж. Одрикур исходит из предположения о том, что процесс трифуркации предшествовал процессу бифуркации, т. е. сначала произошло появление контуров, а затем — регистров. Анализ материала родственных вьетнамскому языков позволяет изменить относительную хронологию этих процессов. Явление, подобное бифуркации, т. е. появление двух просодем (регистров или фонаций) после оглушения исконных звонких характерно для многих аустроазиатских языков различных групп: палаянских, катуйских, кхмерского, монского. Все это заставляет предположить, что на фонетическом уровне оппозиция таких просодем характеризовала уже аустроазиатский праязык, или, по крайней мере, промежуточный подпраязык — предок индокитайских аустроазиатских языков. Это обстоятельство, по-видимому, и вызвало мощное параллельное развитие в языках различных групп. Что касается процессов трифуркации, т. е. образования контуров в зависимости от характера финали, то это, скорее всего, — вьетмыонгская инновация. Появление тональных контуров не характерно для языков других аустроазиатских групп, а если и происходит, то зачастую совершенно иным образом, чем во вьетмыонгских языках. Например, в языке джех появление восходящего контура вызывается отпадением финали $-h$ и переходом шумных смычных в назальные [5].

Основные изменения схем А. Ж. Одрикура, предлагаемые на основе рассмотрения аустроазиатских реконструкций и родственных вьетнамскому аустроазиатских языков, заключены в области трифуркации. Одно из таких изменений — расширение числа финалей, непосредственно оказавших влияние на образование вьетнамских тональных контуров. По-

² Знак η обозначает палатальный носовой.

добное расширение производится на основе соответствий, устанавливаемых между вьетнамским и центральноасийским языком темиар³. В заднем, т. е. постпалатальном ряду финалей, имеются обычные соответствия, восходящие к *-*ʔ* и *-*k*. Мы не приводим эти соответствия, поскольку они не имеют непосредственного отношения к проблеме данной статьи (подробнее об этом см. [6]). Эти соответствия дают обычное развитие в протовьетмыонгском с неровным однонаправленным контуром, т. е. с тонами *sǎc* и *ñǎng*. Наряду с этим имеется и третий тип соответствий, когда финальной гортанной смычке в темиар соответствует ровный протовьетмыонгский контур (в данном случае тон *bǎng*). Примеры: 1) «глубокий»: вьетн. *sâu/səw/*, протовьетмыонг. **kǎw* — темиар *jeuʔ*; 2) «задний»: вьетн. *sau/sa:w/*, протовьетмыонг. **kǎw* — темиар *krōʔ*; 3) «три»: вьетн. *ba/ba:/*, протовьетмыонг. **pa* — темиар *nǎʔ*; 4) «рука»: вьетн. *tay/tay/*, протовьетмыонг. **sǎu* — темиар *tiʔ* [здесь и далее в примерах используется общая транскрипция, почти не отличающаяся от транскрипции МФА; основные отличия: *y* — йот, *c(ç)* и *j(j)* — палатальные смычные]. Так как по схеме А. Ж. Одрикура ровный контур могли дать только звонкие или сонорные финали (в отличие от двух других контуров, возникавших перед глухими или шумными финалями), остается только предположить, что протопинально в данном случае могли быть либо звонкий смычный велярный *-*g*, либо увулярный сонорный *-*R*.

Уточнения, вносимые в теорию А. Ж. Одрикура, связаны также с пересмотром характера контурных развитий тех или иных финалей. Наиболее важным в этом плане представляется признание того, что финаль *-*l* протоаустроазиатского языка давала в протовьетмыонгском не ровный, как указывает А. Ж. Одрикур, а однонаправленный неровный контур. Практически все вьетмыонгские слова с финальным *-*l*, имеющие соответствия в других аустроазиатских языках, подтверждают это. Ввиду отсутствия общей аустроазиатской реконструкции обратимся к внешним примерам из реконструкций отдельных аустроазиатских групп, а также из отдельных аустроазиатских языков⁴.

1) «ветер»: вьетн. *gió /yó/* — ср. протосеверобахнарич. **kaʷa: l*, протомнонг. **sa: l*, кхмер. *kuw: l*, древнемон. *kyāl/kyal/*; 2) «колено»: вьетн. *gói /góy/*, протовьетмыонг. **gol* — ср. протокатуич. **kə: l*; 3) «гореть»: вьетн. *cháú /cáy/*, протовьетмыонг. **čǎl* — ср. нанкаури *həl-ə*; 4) «крыша»: вьетн. *mái /má:y/*, протовьетмыонг. **mbal* — ср. кхмер. *dəmboul*; 5) «соль»: вьетн. *mió /miáy/* — ср. кхмер. *ʔəmbəl*; 6) общее значение: «дерево, сажать (дерево), рубить (дерево)»: вьетн. *cáy /kəy/* «сажать», протовьетмыонг. **kǎl*, а также вьетн. *gây/gáy/* «палка» — ср. протокатуич. **ɽkal* «дерево, рубить дерево»; 7) «рассада риса»: вьетн. *má /má:/* — ср. протоваич. **smal/g* «семья»; 8) вьетн. *vây /váy/* «грязный, пачкать», а также вьетн. *bui /bui/* «пыль» — ср. понг. *kabəlʔ* «щепел»; 9) вьетн. *mé /mé/* «край» — ср. протомнонг. **kmə:l* «верх»; 10) «тыква»: вьетн. *bí /bí/*, протовьетмыонг. **pil/g* — ср. кхмер. *lɔw < *ləbu:*. В кхмерском произошла метатеза. Другое внешнее соответствие — протосеверобахнарич. **pi:* (правда, в данном случае не ясна причина падения финали). Ср. также монск. *khari:* — здесь нулевая финаль может восходить и к *-*θ* и к *-*l*; 11) «бедро»: вьетн. *vê /vé/*, протовьетмыонг. **bel* — ср. протосеверобахнарич. **blé:w*, протокатуич. **lə:w*, протомнонг. **blu:*, кхмер. *pləw < *blu:*; 12) «тигр»: вьетн. (нгеан.) *khái/k'á:y/*, протовьетмыонг. **k'al* — ср. протосеверобахнарич. **kla:*, протокатуич. **kala:* (**kula:*), кхмер. *kla:*, монск. *kla.ɿ*

³ Материал по темиар взят из [7].

⁴ Материалы по аустроазиатским реконструкциям взяты из следующих источников: по вьетмыонгской [8], по вайческой [9], по мнотонгской [10], по северобахнарической [11]. Неопубликованные материалы по протокатуическому и протокатуическому состояниям получены автором в процессе произведенных реконструкций (факты катуйической реконструкции частично отражены в [12]). Информация по отдельным языкам взята из источников: по суой [13], по нанкаури [14], по монскому [15], по древнемонскому [16], по кэхо [17], по кхен [18], по кхариа [19], по бру [20], по седанг [11]. Данные по языкам тьру, понг, ма взяты из находящихся в печати материалов советско-вьетнамской полевой экспедиции.

Следует обратить внимание на то, что в примерах 10—12 протовьетмыонгская финаль *-*l* соответствует инициалам в других аустроазиатских группах. Объясняется это следующим образом. Практически во всех современных аустроазиатских языках Индокитая представлена структура слова с так называемым «пресиллабом» или «слабым слогом». Этот безударный слог, предшествующий основному слогу, сильно ограничен дистрибуционно. В нем, как правило, встречается только одна гласная фонема. Если же в нем встречается несколько гласных фонем, то исторически они все-таки восходят к одной. Однако в аустроазиатском языке картина была, вероятно, иной. Об этом свидетельствует материал западных аустроазиатских языков (мунда, никобарских), где нефинальные слоги значительно более «равноправны» и, в частности, допускают употребление нескольких гласных фонем. В некоторых аустроазиатских языках Индокитая сохранились архаизмы, свидетельствующие о поливокализме нефинальных слогов. В бру, в частности, в слабом слоге после *k* сохранилась оппозиция гласных *a* — *u* (в остальных случаях в слабом слоге встречается только *a*). И характерно, что слово «тигр» в бру звучит именно *kula:*. Судя по всему, вьетнамские слова «тигр», «тыква» и «бедро» также представляют собой корни, восходящие к аустроазиатским словам с гласной **u* в пресиллабе. Ср. также внешний материал для слова «бедро»: *kхарпа b'ulu*, *нанкаури ru:*. Этим можно объяснить своеобразный «перелом» этих корней, при котором проходившая в протовьетнамском моносиллабизация вызвала отпадение сильного финального слога (во всех остальных случаях упрощению подвергались слабые нефинальные слоги).

Итак, можно констатировать, что почти все протовьетмыонгские корни с финалью *-*l*, возводимые к аустроазиатским корням, вызвали появление неровного однонаправленного контура. Наоборот, те вьетмыонгские корни с финалью *-*l*, которые дали ровный контур, не связаны с исконной аустроазиатской лексикой. Таковы слова *sai* (<протовьетмыонг. **kal*) «закрывать», *dau* (<**dal*) «веревка», *mau* (<**mal*) «удача», *noi* (<**nol*) «горшок», *thau* (<**t'al*) «труп», *vai* (<**bal*) «плечо», *vi* (<**bul*) «закапывать» и т. д.

В ряду оканчивающихся на *-*l* вьетмыонгских корней, возводимых к исконным аустроазиатским, можно найти только два исключения, дающие ровный контур. Этого вряд ли достаточно для реконструкции особой финали. Таковы: 1) «плуг»: вьетн. *sau* /kàu/, протовьетмыонг. **kāl* — ср. кхмер. *peŋkoəl* < **paŋgal* и 2) «тамаринд»: вьетн. *me* — ср. протокаатуич. **mil*, кхэо *mil*, ма *mil*, кхмер. *ʔeprɨl* < **ʔambil*. Дать полностью обоснованное объяснение этих исключений в настоящее время не представляется возможным. Однако можно предположить воздействие характера фонаций этих слогов на позднейшее образование контуров. Отметим, что оба кхмерских примера имеют преназализованную инициаль, а преназализованные в аустроазиатских языках обычно связаны с особым характером фонаций. Наблюдается также нарушение схемы во вьетнамском слове *sau* /kəu/ (протовьетмыонг. **kəl*) «дерево», являющемся дублетом (вернее даже триплетом) к корням, представленным в примере 6. Данный дублет можно было бы объяснить позднейшим изменением тона в связи с семантической дифференциацией.

Изменение может быть внесено и в части, касающейся контуров, которые возникают перед назальными финалями. По схеме А. Ж. Одрикура, назальные дают только ровный контур. Рассматриваемый материал, однако, показывает, что исконные аустроазиатские корни с назальными финалями наряду с ровным с такой же (или даже с несколько большей) частотой порождают и однонаправленный неровный контур. Обратимся к примерам.

* 1) «вошь»: вьетн. *gân* /gəŋ/ — ср. протокаатуич. **taraŋ*; 2) «отруби, мякина»: вьетн. *sám* /kám/ — ср. протокаатуич. **ka:m* «мука, отруби», кхмер. *ʔrka:m* «шелуха, мякина»; 3) «стрелять»: вьетн. *bãŋ/bán/*, кхен *raŋ* — ср. протомнонг. **raŋ*, протосеверобахнарич. **reŋ*, протокаатуич. **raŋ*, кхмер. *baŋ* < **raŋ*; 4) «змея»: вьетн. *gáŋ/gán/*, протовьетмыонг. **gân* — ср. протокаатуич. **kasaŋ* «змея», протосеверобахнарич. **kaseŋ*

«веревка», протомнонг. *bran «червяк»; 5) «гром»: вьетн. sâh/sâm/, протовьетмыонг. *krêm — ср. протокаатуич. *grwm, монск. karâm proa; 6) «четыре»: вьетн. bôn/bún/, протовьетмыонг. *ron — ср. протомнонг. *ruen, протокаатуич. *rwan, монск. ron, кхмер. buen < *ruen; 7) «восемь»: вьетн. tám/tá:m/, протовьетмыонг. *sam — ср. протосеверобахнарич. *tahra:m, монск. tesa:m; 8) «девять»: вьетн. chín/cín/, протовьетмыонг. *çin — ср. протомнонг. *sin, протосеверобахнарич. *taçin; 9) «живот»: вьетн. bung/buŋ/ — ср. протокаатуич. *truŋ «желудок», кхмер. ruŋ ruəh; 10) «твердый»: вьетн. gâh/gáp/ — ср. кхмер. gaw; 11) «крыло, плечо»: вьетн. cánh/ká:p/, протовьетмыонг. *keŋ, а также «носить на коромысле» gánh /gá:p/ — ср. протосеверобахнарич. *kiaŋ «носить», протокаатуич. *take:ŋ «локоть»; 12) «край, кромка»: вьетн. cãnh /kã:p/ ср. протосеверобахнарич. *kə:p; 13) «кусать»: вьетн. cấh /káp/, кхен káp — ср. протосеверобахнарич. *gaʔe:p; 14) вьетн. gấh/gam/ «грызть, глодать», ngoam /ruam/ «хватать, кусать (о животных)» — ср. кхмер. kham «кусать»; 15) «пресноводный краб»: вьетн. gam /gá:m/, а также dam /yá:m/ «соленый краб» — ср. протосеверобахнарич. *kata:m, протокаатуич. *kata:m, кхмер. kda:m < *kata:m, монск. khata:m или keta:m; 16) «яйцо»: вьетн. trú'ng /tú'ŋ/, протовьетмыонг. *kleŋ — ср. седанг. kləŋ «семья», протокаатуич. *kləŋ «яйцо», «зерно, зрочок»; 17) «черенок листа»: вьетн. sibúg/kuáp/, протовьетмыонг. *kuap — ср. протосеверобахнарич. *ʔakà:ŋ; 18) «зрелый»: вьетн. chín /cín/ — ср. протомнонг. *sin «готовый (о пище)», протосеверобахнарич. *cín «готовый (о пище)»; 19) вьетн. gang /gá:ŋ/ «заря, светать», sáng /sá:ŋ/ «светить, сиять» — ср. протомнонг. *ʔa:ŋ «свет», протокаатуич. *ʔa:ŋ «огонь, свет»; 20) «занимать, брать в долг»: вьетн. thi'p'n /mshəp/ — ср. протокаатуич. *ma:p.

Наряду с этими примерами имеется немало вьетмыонгских корней, в которых назальные финали дали ровный контур, что совпадает со схемой А. Ж. Одрикура. 1) «вид гонга»: вьетн. sô'ng /kô'ŋ/ — ср. протосеверобахнарич. *gəŋ, протокаатуич. *gɑ : ŋ, кхмер. kɑ : ŋ < *ga : ŋ; 2) «год»: вьетн. năh/nam, протовьетмыонг. *năh, кр. : ŋ < *ga : ŋ; *sənam, протосеверобахнарич. *hanam, кхмер. spam; 3) «вязать, плести, ткать»: вьетн. đap/da : n/, протовьетмыонг. *təp — ср. протомнонг. *ta : p, протосеверобахнарич. *ta : p, протокаатуич. *ta : p, кхмер. tɔp; 4) «ребенок»: вьетн. con/kon/, протовьетмыонг. *kən — ср. протомнонг. *kə : n, протосеверобахнарич. *kə : n, протокаатуич. *kɑ : n, кхмер. kouh, монск. kon; 5) «нога»: вьетн. chân/cəh/, протовьетмыонг. *çəh, а также пунгск. ciŋ⁴ — ср. протомнонг. *jəŋ, седанг seəŋ, протокаатуич. *jɔh : ŋ, *yur, кхмер. sə : ŋ < *jə : ŋ; 6) «птица»: вьетн. chim/cim/, протовьетмыонг. *çim — ср. протомнонг. *sim, протосеверобахнарич. *sè : m, протокаатуич. *çl : m или *ʔaçl : m; 7) вьетн. đăm/dəm/, протовьетмыонг. *təm «прорасти» — ср. кхмер. dam < *tam «сажать»; 8) «вид гонга»: вьетн. chiêng /ciəŋ/, chính /ci:p/, giêng /yieŋ/ — ср. протосеверобахнарич. *çiŋ; 9) «росток бамбука»: вьетн. măng /maŋ/ — ср. протосеверобахнарич. *daʔbaŋ, протокаатуич. *ʔabaŋ или *ʔambaŋ «бамбук», кхмер. tumreəŋ < *dambaŋ; 10) «пять»: вьетн. năh /nam/, nhăm /ɲam/, lăm /lam/, протовьетмыонг. *ndăm — ср. протомнонг. *pam, протосеверобахнарич. *baʔdam, кхмерское pam; 11) «река»: вьетн. sông /soŋ/, протовьетмыонг. *kroŋ — ср. протомнонг. *krə : ŋ, седанг krəŋ, монск. kruŋ; 12) «кость»: вьетн. xư'ô'ng /swəŋ/, протовьетмыонг. *səŋ — ср. протомнонг. *kətɪ : ŋ, протосеверобахнарич. *katsè : ŋ, протокаатуич. *pɛh : ŋ, кхмер. sʔəŋ; 13) вьетн. cành/kà : ŋ/ «клевня», cãnh /kà : p/ «ветвь», протовьетмыонг. *keŋ — ср. монск. kapain; 14) «пчела»: вьетн. ong /ʔəŋ/ — ср. протосеверобахнарич. *ʔə : ŋ «оса», протокаатуич. *hɑ : ŋ «пчела, оса».

Как видно из приведенных примеров, в протовьетмыонгских корнях с назальными финалями возникали как ровные, так и неровные однонаправленные контуры. Имеется также некоторое количество дублетов (и триплетов), предположительно восходящих к одному корню, но имеющих различные контуры. Ср., например: sâh «гром» и sâm «с шумом, с силой», gam «пресноводный краб», dam «соленый краб» и am «краб», gang и gáp

«жарить», trúng «яйцо» и tròng «зрачок, ядро, центр». Ни на основании современного вьетнамского материала, ни на основании имеющихся вьетнамских реконструкций [4, 8, 21] объяснить эту двойственность невозможно. Решить данную проблему может только общая аустроазиатская реконструкция. Можно, однако, предложить некоторые предварительные решения. Таких решений может быть три. 1) Различные типы контура порождаются в каждом отдельном случае различными типами рифм. Данное решение имеет один серьезный контраргумент — рифмы с назальными финалями порождают только ровный и однонаправленный неровный контуры, но никогда не порождают антициркумфлексный контур. 2) Различные типы контура возникают под влиянием фонаций праязыка. 3) Различные типы контура просто позволяют реконструировать различные виды финалей в праязыке. Известно, что современные аустроазиатские языки Индокитая обладают определенной асимметрией инициального и финального инвентарей фонем в том смысле, что звонкие смычные встречаются только в начале слога и не употребляются в конце. Если предположить, что в аустроазиатском праязыке это было не так, то можно возвести вьетнамские слоги с назальными финалями и неровным контуром к соответствующим (гоморганным) звонким смычным, т. е. вьетнамское *m к аустроазиатскому *b , вьетнамское *n , к аустроазиатскому *d и т. д. В этом случае, естественно, для рассмотренных выше слогов, давших в качестве рефлексов протовьетнамский ровный контур и гортанную смычку в тембар, следует реконструировать нечто отличное от *g , т. е., очевидно, *R . Для слогов с ровным контуром реконструируются обычные назальные финали.

Возникает вопрос, почему в данном случае звонкие дали неровный контур, в то время как в остальных случаях они дали ровный контур. Может быть, схема развития была такова, что сначала звонкие перешли в глоттализированные назальные и именно в это время произошло появление контуров, а затем уже эти глоттализированные совпали с обычными назальными, т. е.:

$^*b \rightarrow ^*?m \rightarrow ^*?m$ + неровный контур $\rightarrow m$ + неровный контур
 $^*d \rightarrow ^*?n \rightarrow ^*?n$ + неровный контур $\rightarrow n$ + неровный контур
 $^*j \rightarrow ^*?ɲ \rightarrow ^*?ɲ$ + неровный контур $\rightarrow ɲ$ + неровный контур
 $^*g \rightarrow ^*?ŋ \rightarrow ^*?ŋ$ + неровный контур $\rightarrow ŋ$ + неровный контур

Такое решение, по-видимому, получает некоторые дополнительные аргументы на материале аслийских языков, в которых финальные носовые часто соответствуют звонким смычным.

До сих пор мы рассматривали в основном образование ровного и однонаправленного неровного контуров. Что касается появления антициркумфлексных тонов, то здесь схема А. Ж. Одрикура требует минимальных уточнений. Действительно, появление тонов hoi и $ngā$ вызывалось присутствием фрикативных шумных финалей *h и *s . Хотелось бы сделать лишь одно дополнение: в некоторых случаях появление антициркумфлексного контура вызывалось не только финалью *s , но и аналогичной инициальной пресиллаба. Примеров тому, правда, только три, два явных и один предположительный — 1) «подсечно-огневое поле»: вьетн. $gāu$ / $tāu$ — ср. протокатуич. *sare ; ма сге, кхмер. $srae < ^*sre$; 2) «шапка»: вьетн. $thū$, протовьетнамг. *thu — ср. ма сэмU. В третьем примере можно лишь косвенно реконструировать инициаль *s , так как материал других аустроазиатских языков не предоставляет нам этой возможности. Это вьетн. $gā'a$, $gā'a/gāə$ «мыть» — ср. протокатуич. *aga : w, протосеверобахнарич. *ga : w, протомнонг. *ga : w. Можно предположить, что в данном случае преф. *sə явился инновацией вьетнамской группы, затем он отпал при проходившей во вьетнамском моносиллабизации, но дал антициркумфлексный тон.

Таким образом, схема развития тонов во вьетнамских языках, предложенная А. Ж. Одрикуром, может быть определенным образом дополнена и пересмотрена. Количество финалей, порождавших неров-

ный однонаправленный тон, т. е. тоны sǎc и pǎng, значительно увеличивается, инвентарь финалей, способствовавших возникновению ровного контура, т. е. тонов bǎng и huyêh, существенно видоизменяется. Выявляется, что антициркумфлексный контур, включающий тоны hoi и ngā, возникал не только под влиянием шумных фрикативных финалей, но и под влиянием подобных же инициалей. В целом можно отметить, что изучение развития вьетнамских тонов только начинается, окончательно решить все вопросы, связанные с их возникновением, снять противоречия в дублетах поможет общая аустроазиатская реконструкция.

ЛИТЕРАТУРА

1. Haudricourt A. G. De l'origine des tons en vietnamien.— JA, 1954, t. 242.
2. Haudricourt A. G. The limits and connections of Austroasiatic in the North-East.— In: Studies in comparative Austroasiatic linguistics. The Hague — Paris, 1966.
3. Ferlus M. Le groupe viet-muong.— Asie de Sud-Est et Monde Insulin dien, 1974, v. 5, № 1.
4. M. Ferlus. Vietnamien et proto-viet-muong.— Asie de Sud-Est et Monde Insulin dien, 1975, v. 6, № 4.
5. Gradin D. Consonantal tone in Jêh phonemics.— Mon-Khmer Studies. II. Saigon, 1966, p. 42, 43.
6. Ефимов А. Ю. Историческое развитие аустроазиатских ритм с заднеязычными и ларингальными финалями.— В кн.: Проблемы языков Азии и Африки (фонетика, морфология, синтаксис, семантика). М., 1979.
7. Carey J. Tengleq Kui Serok. A Study of Temiar language with an ethnographical summary. Kuala Lumpur, 1961.
8. Соколовская Н. К. Материалы к сравнительно-этимологическому словарю вьетмыонгских языков.— В кн.: Исследования по фонологии и грамматике восточных языков. М., 1978.
9. Diffloth G. The Wa languages.— Linguistics of the Tibeto-Burman Area, 1980, v. 5, no. 2.
10. Blood H. F. A reconstruction of Proto-Muong. s. l., 1966.
11. Smith K. D. A phonological reconstruction of Proto-North-Bahnar.c.— Language data. Santa Ana, 1972.
12. Ефимов А. Ю. Проблемы реконструкции системы инициалей протокаатуического языка. М., 1982. Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР 23.04.82, № 9884.
13. Ferlus M. Lexique scoti-langais — Asie de Sud-Est et Monde Insulin dien, 1974, v. 5, № 1.
14. Man E. H. Dictionary of The Central Nicobarese language (English-Nicobarese and Nicobarese-English)... London, 1889.
15. Halliday R. A Mon-English dictionary. Rangoon, 1955.
16. Shorto H. L. A dictionary of the Men inscriptions from the sixth to the sixteenth centuries. London, 1971.
17. Dournes J. Dictionnaire Srê (K'cho)-Francais. s. l., s. a.
18. Barker M. A., Barker M. E. Proto-Vietnamuong (Annamuong) final consonants and vowels.— Lingua, 1970, v. 24.
19. Biligiri H. S. Kharia. Phenology, grammar and vocabulary. Poona, 1965.
20. Miller C. Nuan. Brū language lessons. Brū-Viêt-Anh. Saigon, 1974.
21. Thompson L. C. Proto-Viet-Muong phonology.— In: Austroasiatic studies. Honolulu, 1976.

АСИНОВСКИЙ А. С., ВАХТИН Н. Б., ГОЛОВКО Е. В.

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМАНДОРСКИХ
АЛЕУТОВ

Вводные замечания. Командорские острова, открытые Второй Камчатской экспедицией Витуса Беринга в 1741 г., расположены приблизительно в 160 км к востоку от побережья Камчатки и включают, помимо двух мелких островков, два крупных острова: о. Беринга (площадь ок. 1660 км²) и о. Медный (площадь ок. 186 км²). В отличие от островов Алеутской гряды [1], Командорские острова не имели коренного населения (по крайней мере, не найдено пока окончательных доказательств наличия древних обитателей).

Заселение Командорских островов началось в 1826 г., когда Российско-Американская компания завезла сюда промысловых рабочих — алеутов с островов Атка и Атту, а также представителей других национальностей: эскимосов, айнов, тлингитов и др. (см. подробнее [2, с. 97—98]). К 1909 г. население обоих островов составляло 552 человека, из которых алеутов (включая сюда детей от смешанных браков — «креолов») было 501 чел.

С некоторыми оговорками можно сказать, что на о. Медном преобладали переселенцы с о. Атту (234 чел. в 1909 г.), а на о. Беринга — переселенцы с о. Атка (267 чел. в том же году). Каждая из этих групп говорила на своем диалекте — см. подробнее ниже.

В результате этих многочисленных переселений на Командорах сложилась в некотором смысле уникальная лингвистическая ситуация: носители двух различных диалектов алеутского языка — аткинского и аттуанского, оторванные от «материнских» групп, в течение 150 лет существовали в тесном контакте друг с другом и с русским населением. Расстояние между о. Беринга и о. Медным — около 47 км. — не препятствовало постоянным контактам, хотя и обеспечивало чувство изолированности и самостоятельности для каждой из двух групп.

В данной статье предлагаются некоторые сведения о современной ситуации на Командорских островах. Работа основана на полевых материалах, собранных авторами летом 1982 г. в ходе лингвистической экспедиции к алеутам. Выводы работы, естественно, не могут претендовать на окончательность и полноту, а являются предварительными.

Подавляющее большинство советских алеутов живет на территории Камчатской области. По данным переписи 1979 г. их — 365 чел., из которых 300 человек — сельские и 65 — городские жители [3]. Основная масса алеутов — 276 чел.¹, или 76%, — проживает на Командорских островах, составляющих Алеутский национальный район, с районным центром в с. Никольское. В XIX — первой половине XX в. на островах существовало два крупных поселка: Никольское на о. Беринга и Преображенское на о. Медный; кроме того, постоянно возникали и исчезали более мелкие поселения промысловиков в 2—3 хозяйства, большей частью сезонные, но в некоторых из них жили круглый год. Из двух поселков Никольское всегда было несколько крупнее. По данным загов Командорских островов, например, в 1930—1950-е годы из всех родившихся на островах алеутов в Никольском родилось 56,7% алеутов, в Преображен-

¹ Данные похозяйственных книг с. Никольское; малочисленность народности позволила не прибегать к выборкам, а учесть при статистическом обследовании населения всех жителей.

ском — 43,3%. Такое положение сохранялось и в дореволюционный период, что видно из материалов Е. К. Суворова [2, с. 104] и других.

В середине 50-х годов XX в. из-за ускоряющихся темпов экономического развития островов, концентрации производства и населения в с. Никольском поселок Преображенское стал быстро терять свое значение. К 1960 г. в Преображенском осталось всего несколько семей, главным образом — пожилые люди. 1969 г. можно, видимо, считать последним годом существования Преображенского: в следующем году Преображенский загс уже не функционирует, и все алеутское население Командор сосредоточивается в с. Никольском на о. Беринга.

Алеуты о. Беринга и русское окружение. В настоящее время с. Никольское является центром проживания алеутов. Население поселка — 1516 чел. (июнь 1982 г.), из них алеутов 276 чел., или 18,2%. В поселке 115 хозяйств, включающих алеутов и состоящих в среднем из трех человек (минимум 1, максимум 8). Чисто алеутских хозяйств 53, или 46% (включая одиноких); остальные 62 хозяйства смешанные.

(Отметим, что национальность взрослых мы, естественно, фиксировали в соответствии с паспортными данными; в определении же «национальности» детей некоторую помощь оказывает тот факт, что в поселке существует практика записи национальности детей в похозяйственных книгах со слов родителей. В случае межнациональных браков, например, русско-алеутского, ребенка «записывают», как правило, алеутом. На весь поселок есть только три случая русско-алеутских браков, дети от которых «записаны» русскими. Встречаются и семьи, где отец и мать по паспорту русские и лишь одна из бабушек — алеутка, и при этом детей стараются «записать» алеутами.)

Ассимиляционные процессы. Любопытные результаты дает анализ типов браков между жителями бывшего с. Преображенского («медновцами»), жителями с. Никольского («беринговцами») и приезжими. Для каждого из ныне живущих в поселке алеутов были получены сведения о месте рождения его самого и его родителей (о. Беринга, далее — Б, о. Медный, далее — М, и приезжий («русский», далее — Р), после чего алеуты были разделены на три возрастные группы: старшие, т. е. родившиеся до начала переселения медновцев в с. Никольское (приблизительно до 1953 г.), средние, родившиеся в период активного переселения (между 1953 и 1966 гг.), и младшие, родившиеся после 1966 г., т. е. после фактического завершения переселения. Место рождения родителей фиксировалось независимо от того, был ли зарегистрирован брак. Браки были выделены «внутриостровные» (например, беринговский мужчина и беринговская женщина, или соответственно, оба медновские, сокращенно Б + Б или М + М. «межостровные» (М + Б или Б + М), и «смешанные», т. е. браки с приезжими (Р + Б, Б + Р, Р + М, М + Р). Отдельно выделялись случаи, когда отец неизвестен (? + Б или ? + М). Результаты подсчетов суммированы в табл. 1.

Таблица 1

Типы браков	«Старшие», т.е. родившие детей до 1953 г. *	«Средние», т.е. родившие детей в 1953—1966 гг.	«Младшие», т.е. родившие детей после 1966 г.
Б + Б	12,38%	1,64%	2,27%
М + М	26,67%	13,11%	0
Б + М	9,52%	9,84%	5,68%
М + Б	8,57%	6,67%	0
Р + Б	18,10%	14,75%	18,18%
Р + М	14,28%	23,0%	28,13%
М + Р	2,86%	3,28%	11,36%
Б + Р	0,95%	0	12,5%
? + Б	4,76%	8,20%	6,82%
? + М	1,9%	14,75%	17,05%

* Поскольку выделенные возрастные группы неравноценны по численности, результаты даются в процентах.

Как видно из подсчетов, основным результатом является изменение типа браков, и в первую очередь — почти полное исчезновение ситуации, когда беринговский или медновский мужчина выбирал себе жену из «своей» группы, а следовательно — быстрое исчезновение границ между «медновскими» и «беринговскими» алеутами, что естественно в условиях проживания в одном поселке. Следствием этого является возросшее число браков алеутских женщин с приезжими и увеличение числа случаев, когда отец ребенка неизвестен. Видимо, значительное число «смешанных» браков у младшего поколения дает основание говорить об очень высокой степени этнического выравнивания коренного и приезжего населения. Признаком такого выравнивания является, на наш взгляд, резкое увеличение процента браков мужчин-алеутов и приезжих женщин.

Динамика процесса хорошо видна на следующем графике.

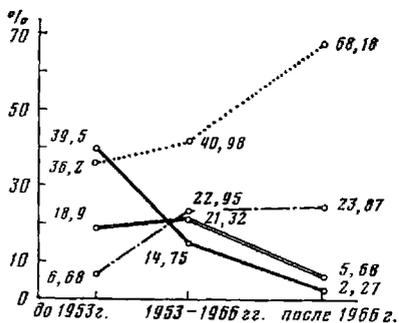


Рис. 1

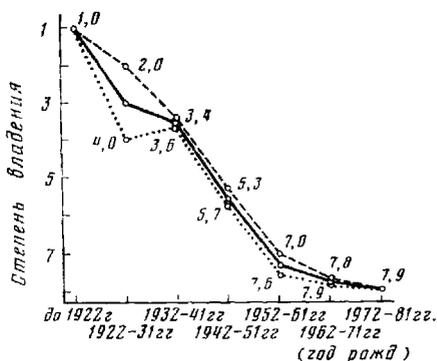


Рис. 2

Рис. 1. Динамика изменения типов браков по возрастным группам. Условные обозначения: — «внутриостровные» браки, = «межостровные» браки, смешанные браки, — — — — — отец неизвестен

Рис. 2. Изменение степени владения языком у алеутов разных возрастов. Условные обозначения: беринговский диалект, — — — — — медновский диалект, — средняя

Степень владения языком. Подавляющее преобладание смешанных браков, проживание в поселке, для 82% населения которого родным языком является русский, отсутствие школьного преподавания алеутского языка, сама малочисленность группы командорских алеутов неизбежно должны были привести к утере алеутами своего языка. В настоящее время алеуты молодого поколения практически не говорят и не понимают по-алеутски; алеутский язык функционирует лишь как язык бытового общения представителей старшего поколения. Уже в 1963 г. Г. А. Меновщиков отмечал отход молодого поколения от пользования родным языком; в то время, по его данным, из старшего поколения владели родным языком не более 50 чел., причем из них хорошо — около 30 [4].

Для того, чтобы получить более или менее надежные данные о степени владения языком командорских алеутов, было проведено специальное исследование, в основу которого была положена следующая шкала из восьми степеней владения: 1 — свободно владеет языком; 2 — все понимает и может говорить на любые темы, однако при общении со сверстниками предпочитает русский язык; 3 — все понимает и объясняется «ломаным языком»; 4 — понимает и мог бы объяснить, но по собственной инициативе на языке не говорит; 5 — понимает до определенной степени обращенную к нему речь, но активно участвовать в разговоре не может; 6 — понимает общий смысл сказанного; 7 — понимает отдельные слова и бытовые фразы; 8 — не владеет языком.

Информантам предлагалось «расставить оценки» односельчанам: насколько тот или иной человек владеет алеутским языком. Полученные

данные были затем откорректированы путем вопросов на сравнение разных жителей поселка с теми алеутами, о которых у авторов были надежные собственные наблюдения, т. е. вопросов типа «Кто говорит лучше — А или Б?»

Полученные данные были затем усреднены для каждой из 7 возрастных групп: 1) до 10 лет; 2) 10—19 лет; 3) 20—29 лет; 4) 30—39 лет; 5) 40—49 лет; 6) 50—59 лет; 7) старше 60 лет. Результаты подсчетов представлены на рис. 2.

Естественно, что цифровые данные имеют некоторую погрешность, поскольку количество людей в каждой возрастной группе невелико (особенно это касается самых старших). Так, резкое падение кривой беринговского диалекта для поколения 1922—1931 года рождения объясняется наличием всего двух (!) человек, которые по причинам биографическим совершенно не знают языка. Однако тенденция изменения проявляется довольно отчетливо. Заметим, что разброс по степени владения языком внутри каждой группы очень мал (за исключением 2-й возрастной группы, в которую входит 4 чел. со второй степенью и 2 чел. с восьмой).

Столь очевидная корреляция степени владения языком и возраста ясно говорит о быстром исчезновении языка командорских алеутов. Людей, которые могли бы служить дикторами для исследователей-лингвистов, с каждым годом становится все меньше, и это — исключительно люди старшего поколения. Потенциальных информантов, даже по очень либеральным оценкам (мы включили сюда первую, вторую и, с некоторой натяжкой, третью степень владения языком), по беринговскому диалекту 21 чел., по медновскому — 22 чел. (см. табл. 2).

Таблица 2

Диалекты		Медновский				Беринговский			
		более 60	50—59	40—49	30—39	более 60	50—59	40—49	30—39
Сте- пень	1 степень	5	3	1	0	4	0	0	0
	2 степень	0	0	5	1	0	4	5	0
	3 степень	0	0	5	2	0	0	7	1

Обращает на себя внимание несколько более благоприятное положение медновского диалекта. В каждой возрастной группе носители медновского диалекта знают свой язык несколько лучше. (Это не относится к двум последним возрастным группам, где различие несущественно: алеутская молодежь практически не знает языка, независимо от диалекта.) Некоторые соображения о причинах большей «живучести» медновского диалекта см. ниже.

При взгляде на график создается впечатление, что основной переломной точкой является скачок от третьей к четвертой возрастной группе. Третья возрастная группа — это алеуты, родившиеся между 1932 и 1941 гг., т. е. люди, чье детство пришлось на годы интенсивного введения школьного преподавания для народов Севера. В отличие от большинства других северных народностей, командорские алеуты, по причине их крайней малочисленности, не имели своей письменности, а следовательно — букварей, учебников и программ преподавания родного языка².

Диалектная ситуация. Характеристика диалектов. В настоящее время на о. Беринга в с. Никольское проживают носители двух диалектов алеутского языка, которые мы называем здесь «беринговский» и «медновский». Командорские алеуты, по крайней мере, старшее поколение, отчетливо осознают свою принадлежность к двум различным группам, что отражается и в самоназваниях, и в названиях для представителей другой группы. Так, алеуты, родившиеся в с. Никольском, заявляют, что они «настоящие алеуты», *уна́нас*, а о представителях другой группы говорят, что те — не алеуты, а «медновские».

² За исключением рукописного буквара, составленного Е. П. Орловой с помощью алеутов — студентов Дальневосточного техникума народов Севера.

(Впрочем, самоназванием беринговцев в настоящее время все-таки скорее является русское «алеуты»; алеутским словом *уна́нас* чаще называют американских алеутов.) Выходцы с о. Медный, напротив, называют себя «алеутами», а представителей другой группы — «беринговцами».

Среди беринговских алеутов наблюдается проявление своеобразного «аристократизма» по отношению к медновцам. Например, беринговцы, прожившие 3—4 года на о. Медном (пусть даже в детстве), уже не считаются «истинными» беринговцами, хорошими знатоками языка, хотя по нашей шкале часто имеют по крайней мере вторую степень владения языком. Среди медновцев ничего подобного не наблюдается.

Алеуты (особенно беринговцы) вполне отчетливо сознают свое родство с американскими алеутами: нынешнее поколение старше 60 лет хорошо помнит рассказы своих бабушек об этом переселении. Алеутам старшего поколения известно, что на Алеутских островах жители носят те же фамилии, что и они (Бадаевы, Голодовы, Хабаровы и др.). В сознании командорских алеутов американские алеуты не являются однородной группой. Они выделяют группу *уна́нас* — «те, которые говорят, как мы» и знают о существовании алеутов *қанáнас*, живущих «где-то далеко на востоке». От одной из наших информанток удалось записать передразнивание речи *қанáнас* (фраза «я вас не понимаю», воспроизведенная ею со слов матери).

Беринговский и медновский диалекты, имеющие различных предков, в течение 150 лет тесно контактировали между собой. Окончательные выводы о результатах диалектного взаимодействия сейчас делать рано; в качестве предварительных можно предложить следующие наблюдения.

Беринговский диалект. На нем говорят алеуты — потомки выходцев с о. Атка, переселенные на о. Беринга в 1826 г. и в последующие годы. Насколько можно судить по имеющимся публикациям [см. 5—7], современный беринговский диалект идентичен диалекту о. Атка — с той оговоркой, что он представляет собой не современный аткинский, а находится гораздо ближе к тому языку, на котором говорили алеуты о. Атка 150 лет тому назад. В 40-х годах прошлого века Я. Нецветовым и в 60-х — Л. Саломатовым был осуществлен ряд переводов церковной литературы на алеутский язык. Многие слова, встречающиеся в этих переводах, для современных американских алеутов являются архаичными, неупотребительными. Для беринговцев это — живые слова, входящие в активный словарный запас. Например, слово *кймдуж* «дождь», отмеченное в саломатовском переводе Евангелия от Луки и не опознаваемое современными аткинцами ³, употребляется на о. Беринга. В то же время аткинское слово *чйхтал* «дождь» не опознается беринговцами, а глагол *чйхтал* «1) он есть влажный, сырой; 2) идет дождь» употребляется на о. Беринга только в первом значении. Глагол (*тин*) *дактикух* «прекращать, останавливать(ся)», встречающийся в переводах Евангелий и не опознаваемый на о. Атка, является высокочастотным в речи беринговцев и наряду с глагольным суф. *-қада-* употребляется для выражения фазы прекращения действия. Беринговское междометие *тагá* «а ну, берись; ну; итак» не опознается аткинцами; глагол *малхунул* не опознается в значении «быть лукавым» и др. В беринговском отмечен ряд слов, отсутствующих в словаре К. Бергсланда [5]; с другой стороны, беринговцы не опознают отдельные слова современного аткинского. Некоторые основы имен, развившиеся в аткинском в класс основ на *-и*, в беринговском не претерпели таких изменений, ср. атк. *қамиги-х* «дверь» — бер. *қамих*; атк. *исуги-х* «нерпа» — бер. *исух* и др. Почти все грамматические формы, отмеченные в работе К. Бергсланда и М. Диркса как характерные для «старого языка», свободно употребляются беринговцами, например, в субъектно-объектном спряжении форма 3-е л. мн. ч. Сб + 3-е л. мн. ч. Об: атк. *ауқа-һин* «мы их сделали», бер. *ауқа-мас* и др. Сюда же можно отнести отрицательные формы

³ Формы, не опознаваемые современными аткинцами, имеют в словаре К. Бергсланда специальную помету.

объектного спряжения глагола, глагольную форму со значением комитативности (совместности) *агитал* (ср. атк. *ас*) и др.

Однако различия между беринговским и аткинским диалектами не объясняются только чисто историческими, структурными причинами. Беринговский диалект испытывает на себе мощное влияние русского языка. Так, при исследовании морфологии глагола выяснилось, что четыре аткинских суффикса не опознаются информантами-беринговцами, а словоформы с тремя другими суффиксами, легко полученные Г. А. Меновщиковым в 1963 г. [8, 9], спустя 20 лет не даются информантами «с ходу», хотя и опознаются. Значения утерянных суффиксов восполняются употреблением многочисленных русских наречий типа *давно*, *опять*, *сейчас*, союзов *а*, *но* и др. Следует заметить, что еще в первой половине XIX в. практически все комаддорские алеуты в той или иной степени знали русский язык и пользовались им для межостровного общения [2, с. 99].

Социальные функции диалекта ограничиваются бытовым общением представителей старшего поколения. Фольклор практически отсутствует. В отличие от аткинских алеутов (см. записи фольклора в [10]), беринговские алеуты не рассказывают на родном языке русских сказок, которые на Атке воспринимаются уже как свой, «исконный» фольклор. Во время экспедиции нам удалось записать лишь несколько текстовых отрывков бытового характера. Показателем исчезновения языка можно считать быструю замену алеутской терминологии родства на русскую. То же касается микропонимки. Вообще многие элементы старой культуры оказались вытесненными под воздействием русской культуры; элементы последней воспринимаются сейчас как «исконно алеутские». Так, национальным музыкальным инструментом считается балалайка; алеутские песни уже в XIX в. исполнялись в традиционной русской манере и на мотив народных русских песен (см. нотную запись алеутских песен в [11]).

Однако в последние годы заметна некоторая активизация интереса к своему языку, своей культуре, особенно среди алеутов среднего поколения — возраста 40—50 лет. По их инициативе был создан «клуб старожилов», который, во всяком случае на первых порах, являлся центром притяжения для всех заинтересованных в возрождении национальной культуры и языка.

Медновский диалект. Является потомком диалекта о. Атту. Этот последний почти не исследовался; в настоящее время он полностью исчез, а в свое время в силу, видимо, случайных причин, не оказался в сфере внимания исследователей. Некоторые, крайне фрагментарные сведения о диалекте находим у В. И. Иохельсона [12]. Кроме того, до нас дошли семь из записанных им в начале XX в. тридцати текстов на аттуанском диалекте. Они опубликованы вместе с еще пятью текстами К. Бергсланда и Т. Бенкса [13].

Современный медновский диалект является результатом длительного воздействия на диалект о. Атту русского языка и соседнего беринговского диалекта и представляет собой в некотором смысле уникальное явление⁴. Вся система глагольного лица, времени, некоторые падежные показатели имени в медновском диалекте — из русского языка. Например, личная парадигма глагола *алу-* «смеяться» имеет вид:

<i>алу-ю</i>	«Я смеюсь»	<i>алу-им</i>	«Мы смеемся»
<i>алу-ишь</i>	«Ты смеешься»	<i>алу-ити</i>	«Вы смеетесь»
<i>алу-ит</i>	«Он смеется»	<i>алу-йат</i>	«Они смеются»

В прошедшем времени все глаголы получают показатель *-л*, после которого следуют показатели числа и лица, также заимствованные из русского, ср.: *Тиң айхача-л-йа* «Я поехал», *Тиң амунахтаса-л-и* «Меня увезли», *Тймис айхача-л-и-ми* «Мы поехали», *Акутал ма-л-ти?* «Как ты это сделал?» и др. Будущее время выражается аналитически, при помощи «русского» вспомогательного глагола *бу-* + «инфинитив» с русским же оконча-

⁴ Честь первооткрывателя этого интереснейшего диалекта принадлежит Г. А. Меновщикову — см. [14].

нием *-ть* (для собственно алеутского языка инфинитив не характерен), ср.: *Иа ни бу игахта-ть* «Я не получу», *Қанан аслага бұдишь анқа-ть?* «Когда ты встанешь?». Отрицание везде выражается при помощи «русской» частицы *ни* (вместо «нормального» для алеутского языка суффиксального способа), ср.: *Тин ни қақачыл* «Он не высох». Притяжательный падеж на *-м* в некоторых случаях заменяется на «русский» падеж на *-ин*: *Сашин ула* «Сашин дом» (вместо *Саша-м ула*). Ср. отрывок текста на медновском диалекте:

<i>Тимис</i>	<i>айгача-л-и-ми</i>	<i>таназ</i>	<i>агача-л-и-ми</i>	<i>Машина-мис</i>
Мы	ехать-прош-мн-1л	берег	терять-прош-мн-1л	мотор-наш
<i>абага-л</i>	<i>нас тигийисакали-л-и</i>			<i>Акут будит.</i>
<i>ломаться-прош.</i>	<i>нас течением-стало-уносить-прош-мн</i>			Что будет.
<i>Таңа-ть та ничу.</i>	<i>Салугулаз иласакали-л-и</i>			<i>салугулаз</i>
Пить-инф	то нечего.	Дождь ждать-начали-прош-мн		дождь
<i>та нитү.</i>	<i>И зузим сотак салугулаз</i>	<i>нибыла.</i>		
То нет.	И восемь суток дождь	не было.		

(«Мы поехали. Мотор у нас сломался, и нас стало уносить течением. Что делать? Пить-то нечего. Мы стали ждать дождя, а дождя нет. Восемь суток не было дождя.»)

Отметим, что замене на русские подверглись только словоизменительные суффиксы. Многочисленные суффиксы словообразования (в приведенном отрывке — суф. начинательности *-калы-*, каузативный суф. *-ча-* и др.) остались чисто алеутскими. Далее, замене на русские подверглись только формы показателей. Стержень алеутской грамматики — агглютинативный характер словоформы (например, показатели лица после показателей времени — ср. формы прошедшего времени) и жесткий порядок слов (IS — O — V) — сохранился в неизменном виде. (Исключением можно, видимо, считать полное исчезновение субъектно-объектного спряжения.) Случай столь глубокой интерференции может служить материалом для выводов относительно того, что является центром и периферией грамматической системы языка.

Медновский диалект в его современном виде сложился, очевидно, уже после переселения с о. Атту на о. Медный. Парадигмы спряжения, записанные В. И. Иохельсоном на о. Атту, не дают ничего похожего на современное положение. Можно, конечно, считать медновский диалект «просто шагом вперед по пути полного исчезновения языка» [15], однако этому мешает ряд соображений. Язык в данном виде существует уже как минимум два поколения: информанты утверждают, что их родители говорили точно так же. Более того, в массе своей словообразовательные элементы не осознаются информантами как заимствованные из русского⁵ (ср. ниже). Это подтверждают и фонетические наблюдения: согласные увулярного ряда [q], [ŋ], [ɣ] и лабиовелярный [ɣ^w] в медновском и иногда в беринговском диалектах произносятся как заднеязычные [k], [x], [ɣ] и [β], что может быть расценено как русифицированное произношение. Но если в речи беринговцев, слабо владеющих своим языком, такое произношение осознается как неправильное («не умею сказать как надо»), то медновцы воспринимают это произношение как норму; «правильное» же произношение этих согласных как увулярных расценивают как диалектное отличие («в беринговском так, а у нас — так»).

При фактически неизмеримо большем влиянии русского языка на медновский, чем на беринговский, субъективно, для самих носителей языка это влияние гораздо менее заметно. Воздерживаясь пока от того, чтобы давать окончательную интерпретацию этому явлению, отметим лишь, что медновский диалект пошел по чрезвычайно редкому и сложному пути развития, аналогов которому не территории СССР, видимо, нет.

Современный медновский и беринговский диалекты полностью взаимопонятны. Медновский заимствовал из беринговского большое количество полнозначных слов; расхождение в лексическом запасе не мешает пониманию. Медновское глагольное словоизменение вообще не представляет затруднений для беринговцев, свободно владеющих русским языком. Кроме

⁵ Это же отмечал Г. А. Меновщикова [см. 14, с. 104].

того, медновцы охотно и легко переходят на беринговский диалект при общении с коренными беринговцами (любопытно, что обратного перехода мы не наблюдали ни разу).

Перспективы существования диалектов. Как уже отмечалось, беринговский находится в настоящее время на грани исчезновения. Из табл. 2 видно, что людей, способных передать молодому поколению сведения о беринговском диалекте, практически не осталось.

С медновским дело обстоит несколько лучше. Число говорящих здесь почти то же, однако они моложе: средний возраст беринговцев с первой степенью владения языком — 65 лет, со второй — 54 года, с третьей — 43 года, а для медновцев соответствующие цифры — 59 лет, 43 года и 42 года. Кроме того, медновский диалект практически неуязвим для дальнейшей интерференции со стороны русского языка: язык такого «смешанного» типа будет, видимо, вытесняться гораздо медленнее, чем «чистый» беринговский. Сосуществование с русским языком парадоксальным образом способствует сохранению медновского диалекта, именно — тех элементов, которые совпадают в обоих языках (так, говорящий по-русски медновец никогда не «забудет» спряжения медновского глагола по той простой причине, что оно такое же, как в русском! — тем более, что это совпадение носителями не осознается).

Кроме чисто языковых факторов, большей сохранности медновского диалекта способствовали и некоторые экстралингвистические причины. Поселок Преображенское никогда не был центром района; приезжего населения там было меньше и оно было более постоянным. Достаточно сказать, что многие русские, долго жившие в Преображенском, говорили с коренными жителями по-медновски (об этом факте писал и Г. А. Меновщиков [14, с. 102]) — практика, никогда не имевшая места в Никольском.

На фоне этих фактов тем более странным выглядит то обстоятельство, что именно медновский диалект подвергся столь решительной интерференции. Если такая интерференция, как считает К. Бергсланд, просто шаг на пути к полному исчезновению языка, то мы сегодня должны были бы обнаружить «русские» окончания скорее в беринговском.

С другой стороны, по некоторым данным, в начале XX в. на о. Медный русский язык был распространен больше и был известен лучше, чем на о. Беринга: о. Медный, богатый в те времена каланами (морскими бобрами), больше привлекал русских переселенцев. Кроме того, алеуты и айны с Камчатки, переселенные на о. Медный в 1888 г., лучше владели русским языком, чем алеутским⁶.

Несколько лучшей сохранности медновского диалекта способствовало, возможно, и то, что социальная активность выходцев с Медного всегда была выше, чем у беринговцев. К примеру, руководящие посты в районе (райисполкоме, райкоме КПСС, сельских советах) за всю историю существования Советской власти занимали 22 медновских и только 11 беринговских алеута — и это при численном преобладании беринговцев.

Таковы некоторые предварительные данные об алеутах Командорских островов и их языке. Исследования необходимо продолжать. Очевидно, на новый лингвистический материал можно рассчитывать только по медновскому диалекту: думается, что это уникальное — лингвистическое явление заслуживает специального внимания языковедов, а также, возможно, психологов и этнографов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ляпунова Р. Г. Очерки по этнографии алеутов. Л., 1975.
2. Суворов Е. К. Командорские острова и пушной промысел на них. СПб., 1912.
3. Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 г. Национальный состав Камчатской области. Петропавловск-Камчатский, 1981.
4. Меновщиков Г. А. Новые данные о языке алеутов Командорских островов. — Изв. Сиб. отд. АН СССР, сер. I обществ. наук, 1965, № 1, вып. 1.
5. Bergsland K. Atkan Aleut-English dictionary. Anchorage, 1980.
6. Bergsland K., Dirks M. Introduction to Atkan grammar. Anchorage, 1978.

⁶ Эти данные приводит И. С. Гурвич [16].

7. *Bergsland K., Dirks M.* Atkan Aleut school grammar. Anchorage, 1981.
8. *Меновицкое Г. А.* Алеутский язык.— В кн.: Языки народов СССР. Т. 5. Л., 1968.
9. *Меновицкое Г. А.* Алеутско-русский словарь.— В кн.: Языки и топонимия. Томск, 1977, с. 137.
10. *Kasakam unikangis.* Russian stories. Told by John Nevzorov. Written by K. Bergsland and M. Dirks. Anchorage, 1978.
11. *Бондарева Н. А.* Семь недель на Командорах. Петропавловск-Камчатский, 1966, с. 44—53.
12. *Jochelson V. L.* Essay on the grammar of the Aleut language. 1930, ms., 73 pp.
13. *Bergsland K.* Aleut dialects of Atka and Attu.— In: Transactions of the American Philosophical Society, New Series, 1959, v. 49, pt. 3, p. 104—128.
14. *Меновицкое Г. А.* К вопросу о проницаемости грамматического строя языка.— ВЯ, 1964, № 5.
15. *Bergsland K.* The comparison of the Eskimo-Aleut and Uralic.— *Finno-Ugrica Suecana*, 1979, № 2, p. 13.
16. *Гурвич И. С.* Алеуты Командорских островов.— СЭ, 1970, № 5, с. 122.

ЧЕРНЯХОВСКАЯ Л. А.

СМЫСЛОВАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТА И ЕЕ ЕДИНИЦЫ

Под текстом мы будем понимать такую упорядоченную и письменно зафиксированную совокупность языковых знаков, которая вместе с заголовком образует законченное и литературно обработанное речевое произведение¹. Под смыслом текста понимается психическое отображение сегмента реальности, образуемое в сознании индивида в результате взаимодействия текста с фоновым знанием индивида. Предлагается различать три уровня смысла текста. П е р в ы й у р о в е н ь с м ы с л а — психическое отображение сегмента реальности в сознании отправителя (далее О) в процессе переноса отображения в текст. С одной стороны, смысл порождаемого текста существует для О как его субъективное переживание, когда для его выражения еще только подбирается соответствующий набор знаков. С другой стороны, это субъективное переживание опосредовано социальным опытом О и социальностью языка. В т о р о й у р о в е н ь с м ы с л а — это смысл уже созданного текста, когда субъективное переживание О перенесено в вербальную форму линейной цепочки знаков и смысл получил независимое от О существование как заложенное в текст потенциальное психическое переживание некоего получателя (далее П). На этом уровне смысл полностью объективизирован языковыми средствами и не зависит от субъективного уровня фонового знания О или П текста. Такое объективное состояние смысла, потенциально содержащегося в тексте, рассматривается здесь как содержание текста, ориентированное на некий усредненный уровень знания потенциального П.

Т р е т ь и й у р о в е н ь с м ы с л а — психическое отображение сегмента реальности в сознании П, образованное в результате взаимодействия текста с фоновым знанием П. Оно является субъективным переживанием П, аналогичным переживанию О, перенесенному в текст, но не идентичным ему, т. е. оно зависит от уровня фонового знания П и некоторых его индивидуальных психических особенностей.

Ввиду того, что психическое переживание — субъективно, анализу подвергается смысл текста на его втором уровне, т. е. исследуется «содержание» текста. Оно рассматривается как потенциальное психическое переживание, продуцируемое текстом при его восприятии П с некоторым усредненным уровнем фонового знания (индивидуальные психические особенности восприятия текста при этом игнорируются).

Существенную часть смысла текста составляет информация, заложенная в текст О. Под информацией здесь имеется в виду идеальный продукт отражательного процесса, понимаемого как процесс активного взаимодействия социально развитого мозга и окружающей среды [2].

Информация рассматривается как превращенная форма мира, перенесенная на новый субстрат [3].

Информация на биологическом субстрате индивида может иметь форму актуально идеального (психическое переживание в процессе познания или в процессе коммуникации). Информацию, хранящуюся в долговременной памяти как статическое неосознаваемое, можно рассматривать как потенциально идеальное. Информацию, перерабатываемую в сфере неосознаваемого, можно рассматривать как виртуально идеальное. Информацию, перенесенную во вторичную материальную систему как заложенное в нее потенциальное психическое переживание, можно рассматривать

¹ См. аналогичную трактовку термина «текст» у И. Р. Гальперина [1; там же см. литературу вопроса].

как потенциально идеальное на внешнематериальном субстрате. Информацию — энциклопедическое знание — можно рассматривать как потенциально идеальный продукт, имеющий двойственную сущность. С одной стороны, существуя на внешнематериальном субстрате как информация, перенесенная туда с биологического субстрата индивидов, составляющих общество, энциклопедическое знание — многократно превращенная форма мира — представляет собой социальное знание, продукт психической деятельности развивающегося общества. С другой стороны, это индивидуальное знание человека о мире, накапливаемое в процессе его личного социального опыта и существующее на его биологическом субстрате. Социальное и индивидуальное знание взаимно обогащают друг друга. Информация сегментирована в социальном знании на сегменты (понятия), содержащие обобщения относительно превращенной формы мира. Информация, составляющая понятие, рассматривается как его семантика.

Язык рассматривается как часть когнитивной информации, служащая для выражения, хранения, обмена знанием индивидов в обществе. Посредством языка (как и вся когнитивная информация, имеющая два субстрата существования — биологический и внешнематериальный) когнитивная информация переносится с одного субстрата на другой и приобретает форму существования то как потенциально, то как актуально идеального. Языковое знание противопоставляется когнитивному как специфический вид когнитивной информации, обобщенной, структурированной на дискретные единицы и упорядоченной в систему. Языковая информация представляет когнитивную информацию как набор знаков, соотносящихся с этими понятиями.

Относительно содержания порождаемого текста язык рассматривается как первичный идеальный продукт, служащий средством формирования нового для индивида идеального продукта, который является психическим переживанием O и который, формируясь языком, переносится на его внешнематериальный субстрат, образуя текст.

Отображение экстралингвистической ситуации, содержащееся в тексте, не изоморфно, а скорее гомоморфно этой ситуации, т. к. в отображении ее свойства воспроизводятся только частично. Отображения некоторых из них требует национальная специфика языка. Язык навязывает отображению обязательный в его пределах комплекс информации; другие свойства отображаемого отбираются непосредственно O . Их набор зависит от его коммуникативного намерения и создает индивидуальное своеобразие порождаемого индивидом текста. Комплекс информации, навязываемой тексту языком (комплекс языковых значений), исследован лингвистикой, выделяющей служащие этой цели грамматические, лексические, стилистические средства. Комплекс информации, передаваемый посредством языка (семантический комплекс, содержащий субъективно отобранные O свойства отображаемой реальности и его коммуникативное намерение), значительно труднее поддается исследованию, ибо его невозможно рассматривать помимо выражающих его лингвистических средств. Однако в смысл текста входят оба эти информационные комплекса², которые в совокупности образуют информационный инвариант смысла текста. Его извлекают из текста (понимание), передают с языка на язык (перевод), пересказывают (изложение), реферировать. Исходя из предположения, что информационный инвариант смысла текста имеет свою собственную структуру, не связанную непосредственно с языковыми структурами, через которые он манифестируется, был разработан специальный метод анализа текста, который позволил выявить структуру информационного инварианта его смысла.

² Трактовка смысла текста как совокупности лингвистической информации, содержащейся в упорядоченном наборе языковых знаков, и информации, непосредственно отображающей сегмент реальности, по-видимому, близка к тому, что у стоиков называлось «лектоном» — «бестелесный предмет осмысленного высказывания, не сводимый к физическим звукам, при помощи которых оно высказано... Ему свойственна своя имманентная истинность, не всегда соответствующая объективной истинности материальных вещей» [4].

Суть метода — в опоре на сетку денотатов, выделяемых в тексте предметными именами, и в привлечении к анализу информации из фонового знания некоего «усредненного» П. Этот метод дает возможность проследить тот момент, когда взаимодействие упорядоченного набора языковых знаков со знанием П продуцирует у П отображение сегмента реальности, т. е. момент, когда обобщенное значение знака превращается для П в единичное обозначение «предмета» реальности, т. е. приобретает для П смысл.

В основу методики анализа положен принцип опредмечивания познаваемой реальности языковыми номинациями, когда в отображаемых языком экстралингвистических ситуациях вычлняются их сегменты, а затем их отображением оперируют как номинациями, приписывая этим сегментам грамматическое значение предметности [так, любой факт реальности, получивший языковую номинацию, чисто грамматически можно рассматривать как своего рода «предмет»: «Он сломал ногу, и это (этот факт) помешало ему уехать» или: «Нога помешала ему уехать»].

В процессе анализа в качестве узловых единиц рассматриваются предметные имена в идентифицирующей функции³. В качестве простых предметных имен рассматриваются не только существительные и их субституты, но и атрибутивные словосочетания, в которых область значения предметного имени сужается сравнительно с областью значения того же имени без атрибута. Предметные имена, как бы ни была ограничена область их значения посредством атрибутов, сами по себе не соотносятся ни с какими «предметами» реальности и, следовательно, обладают только значением, но не смыслом.

При анализе предметных имен, включенных в текст в идентифицирующей функции, принимается во внимание не только значение этих имен, но и информация об именуемом «предмете», эксплицированная в пределах предыдущего контекста, а также информация, имплицитруемая контекстом, рассчитанная на определенный уровень знания П (точнее, на уровень социального знания в пределах культуры, носителя которой адресуется текст). Например, в текстовом отрезке: *В Москву он приехал утром «предмет» экстралингвистической реальности, именуемый Москва*, подразумевается известным для П, т. к. это имя собственное, независимо от контекста, для носителя русского языка почти всегда соотносится с определенным «предметом» реальности — столицей СССР. Такое соотнесение имплицитруется даже не контекстом, а уровнем знания потенциальных П этого текста. Следовательно, это имя, даже впервые включенное в контекст, продуцирует у потенциального П сегмент отображения реальности без дополнительной информации, необходимой обычно для соотнесения имени с именуемым «предметом» реальности. Однако большинство предметных имен приобретает смысл, т. е. соотносится с сегментом реальности и участвует в продуцировании его отображения, только при наличии в контексте всей необходимой информации о соотнесении этого имени с «предметом» реальности (она содержится либо в ближайшем окружении этого имени, либо в предыдущем контексте). Рассмотрим, например, следующий текстовый отрезок: *В ФРГ к столетнему юбилею известного немецкого физика Отто Гана были выпущены специальные серебряные монеты достоинством в пять марок*. В этом отрезке выделим номинативную группу *специальные серебряные монеты достоинством в пять марок*. Выделяем идентификатор: *специальные серебряные монеты* и классификатор *достоинством в пять марок*. Классификатор содержит два предметных имени, одно из которых — *пять марок* — в свою очередь внутри этой номинативной группы является классификатором, который характеризует по свойству идентификатор *достоинство*. Сочетание *пять марок* рассматривается вне контекста как простое предметное имя, область значения которого ограничена только числительным и которое может обозначать и количество монет, и количество почтовых марок. Уже в минимальном контексте словосочетания более высокого ранга *достоинством в пять марок* область значения предметного имени *пять марок* резко ограничивается, оно соотно-

³ О понятиях идентифицирующей и классифицирующей функций имен см. [5].

сится с денежной единицей. В предметном имени следующего, более высокого ранга *серебряные монеты достоинством в пять марок* сочетание *достоинством в пять марок* использовано в роли классификатора. В роли идентификатора здесь выступает сочетание *серебряная монета*, где атрибут *серебряная* сужает область значения слова *монета*. Через классификатор сочетание *серебряная монета* характеризуется по свойству, причем атрибут еще более сужает область значения этого предметного имени. Однако несмотря на иерархичность этого сочетания, оно остается предметным именем, пока не включается в контекст приведенного выше текстового отрезка. Именно в нем содержится информация, необходимая для соотнесения указанного предметного имени с «предметом» экстралингвистической реальности. Этот текстовый отрезок как бы «вводит» в текст «предмет», о котором дальше пойдет речь в тексте. Момент, когда предметное имя, независимо от степени сложности его внутренней иерархической организации, получает в тексте (и в совокупности со знанием П) всю необходимую информацию, позволяющую соотнести его с соответствующим «предметом» реальности, и есть момент превращения общего в единичное, обобщенного значения имени «для всех» в конкретный смысл для П. Это момент, когда потенциальное отображение сегмента реальности, заложенное О в текст, переносится, при взаимодействии со знанием П, на биологический субстрат сознания П, актуализуясь как его психическое переживание.

Анализ текста с помощью предлагаемого метода дал возможность обнаружить наличие в тексте информационных комплексов определенного и регулярного состава, которые можно рассматривать как строевые элементы информационного инварианта. Анализ текста с помощью предлагаемого метода показал, что при всем разнообразии содержания в любом тексте имеются информационные комплексы строго определенного состава, взаимосвязанные и иерархически входящие друг в друга. Эти комплексы не всегда полностью представлены в тексте, часть информации может содержаться в знании П, но в целом наличие этих комплексов является обязательным для адекватного восприятия текста, и они могут рассматриваться как строевые элементы информационного инварианта смысла любого текста, независимо от его конкретного содержания.

Как показал анализ содержательной структуры текстов, эта структура представляет собой нелинейное и не дискретное образование, обладающее, однако, определенной иерархической структурой, в которой иерархически организованные сегменты отображения реальности связаны друг с другом различного вида связями. Выделено три типа таких сегментов, которые рассматриваются как типы строевых элементов смысла текста.

Нижний ярус иерархии образуют единицы, которые получили название элементарных смысловых единиц (ЭСЕ). Принято, что текстовый отрезок содержит ЭСЕ, если при взаимодействии с неким усредненным П он включает в себя следующий комплекс информации: имя «предмета», информацию о наличии в экстралингвистической реальности «предмета», называемого этим именем, иначе говоря — о свойстве существования «предмета» реальности (сема бытийности обычно содержится в глагольной форме); оценку степени реальности существования «предмета» относительно экстралингвистической ситуации (т. е. модальность содержится либо в глагольной форме, либо в отдельных модальных словах типа «если», «быть может», «вряд ли» и пр.), временные параметры (они могут содержаться как в глагольной форме, так и в отдельном члене предложения — обстоятельстве), пространственные параметры (обычно содержатся в обстоятельстве). Совокупность знаков в идентифицирующей и классифицирующей функциях, которая при взаимодействии с фоновым знанием П продуцирует в его сознании ЭСЕ, будем называть предикатным выражением (ПВ). Информационные составляющие ЭСЕ не обязательно полностью представлены в текстовом отрезке, выделенном как ПВ. Информация о некоторых из этих информационных составляющих может содержаться либо в предыдущем контексте (включая заголовок), либо в фоновом знании П (нет соответствующего знания, нет и понимания). Например, текстовый «от-

резок» *Сегодня утром здесь шел дождь* содержит ПВ, информационные составляющие которого полностью представлены в тексте (при условии, что П знает, что означает *здесь*). Напротив, текстовый отрезок: «Ночь, Улица, Фонарь, Аптека. Бесмысленный и тусклый свет...» содержит только предметные имена, но каждое из предметных имен здесь представляет ПВ, а недостающие информационные компоненты «дописываются» П (приблизительно так: *Сейчас там, где я (автор) нахожусь, стоит ночь. Я нахожусь на улице. Там светит фонарь...* и пр.). Недостающая информация может содержаться в фоновом знании П, например, фраза *Вода кипит при 100° С*, даже взятая вне контекста, имеет смысл для П, но разный, в зависимости от уровня его знания, т. к. любой П, даже с самым низким уровнем фонового знания, понимает, что речь идет о воде на поверхности Земли, а не, скажем, в космосе. П с более высоким уровнем знания поймет также, что речь идет о воде на определенной высоте над уровнем моря (с понижением давления точка кипения воды понижается). Другими словами, чем выше уровень знания П, тем больше смысла содержит для него этот текстовый отрезок.

Соответственно ПВ, содержащее ЭСЕ, может представлять собой простое или придаточное предложение (развернутое ПВ), атрибутивное словосочетание (свернутое ПВ) или даже просто предметное имя (нулевое ПВ). Если же при взаимодействии текстового отрезка со знанием П отсутствует хотя бы один из компонентов описанного выше информационного комплекса, этот отрезок следует рассматривать как псевдопредикатное выражение, имеющее псевдосмысл. Так, предложение *Девочка гуляет*, взятое вне контекста, можно рассматривать только как псевдопредикатное выражение; если П неизвестны из контекста или ситуации пространственные параметры этого события, этот текстовый отрезок имеет для него только псевдосмысл.

Помимо указанных выше обязательных информационных составляющих, ПВ может содержать еще одну характеристику идентификатора («предмета») — не только по наличию свойства существования, но и по какому-либо другому свойству (или нескольким свойствам). Эта характеристика включает и субъективную оценку «предмета» О. Сюда включаются и случаи, когда имя-идентификатор имеет атрибут: вне контекста этот атрибут сужает область значения имени, а в контексте может рассматриваться как информация о свойстве идентификатора. Такую смысловую единицу мы рассматриваем как усложненную (УСЕ) первой степени усложненности. Так, сказочный зачин *Жил-был король...* рассматривается как ЭСЕ. Однако если идентификатор имеет атрибут, как в (1) *Жил-был храбрый и умный король...*, этот текстовый отрезок содержит УСЕ первой степени усложненности. Тот же сегмент реальности может быть отображен и в виде двух предложений: (2) *Жил-был король. Он был умен и храбр...* или в виде сложноподчиненного предложения: (3) *Жил-был король, который был умен и храбр...*, или в виде предложения с атрибутом в позиции: (4) *Жил-был король, умный и храбрый...* Однако в вариантах 2, 3, 4 содержится не одна, а две смысловые единицы. Первая из них (*Жил-был король*) представляет собой ЭСЕ, а вторая — УСЕ. Но эти УСЕ качественно отличаются от УСЕ первой степени усложненности, поскольку в их состав, помимо информации характеристики, в качестве одного из информационных компонентов входит ЭСЕ, представленная субститутом. В первом случае это *он*, во втором — *который*, а в третьем субститут имплицитируется. УСЕ, в состав которых в качестве информационных составляющих входит как минимум одна ЭСЕ, рассматриваются как УСЕ второй степени сложности.

Приведенные выше примеры (2, 3, 4) представляют собой УСЕ второй степени сложности. УСЕ, наряду с ЭСЕ, также могут в качестве информационных составляющих входить в состав более крупных смысловых единиц. Рассмотрим в качестве примера следующий текстовый отрезок: *Впервые за свою 540-летнюю историю аристократический колледж для мальчиков в английском городе Итоне нарушил традицию. Он принял на работу учительницу.*

Отрезок *аристократический колледж для мальчиков в английском городе Итоне* представляет собой УСЕ-1 второй степени сложности, т. к., во-первых, в его состав входит ЭСЕ *английский город Итон* (рассматривается как нулевое ПВ, т. к. все информационные параметры, соотносящиеся имя с «предметом» реальности, должны присутствовать в знании П, иначе не будет понимания), и, во-вторых, в нем содержится информация характеризации колледжа по его свойствам. Отрезок *свою 540-летнюю историю* рассматривается как УСЕ-2, т. к. в нем ЭСЕ представлена субститутом *свой*. В пределах первого предложения эти две УСЕ взаимно характеризуют друг друга, соответственно как локатор времени и как объект локации. Эта взаимная характеристика объединяет их в более крупную УСЕ следующего, более высокого ранга. В следующем предложении УСЕ-1 характеризуется по свойству. Предложение *Он принял на работу учительницу* не рассматривается как самостоятельная УСЕ, ибо в нем содержится уточнение свойства, названного в предыдущем предложении (уточняется, какая именно традиция нарушена).

Одной из особенностей УСЕ является их способность вводить новые ЭСЕ. Это происходит в том случае, если уточнитель свойства — предметное имя — далее в тексте либо повторяется, либо представляется субститутом. Так, в рассматриваемом выше примере уточнитель *учительница* далее в тексте представлен субститутом (подчеркнуто): *27-летняя Элиан Вожель преподает французский язык*, который рассматривается уже как ЭСЕ.

Поскольку весь текст представляет собой иерархию смысловых единиц, от элементарных до наиболее усложненных, необходимы критерии выделения в этом недискретном образовании более или менее стабильных УСЕ, которые можно было бы рассматривать в качестве опорных смысловых единиц. И прежде всего необходимо вычленить в тексте отрезки, содержащие такие единицы. С этой целью разработаны критерии деления текста на отрезки, содержащие УСЕ определенного уровня сложности, — УСЕ, содержащие как минимум одну ЭСЕ и содержащие информацию характеризации. Они могут содержать и несколько ЭСЕ и одну или несколько УСЕ разной степени сложности, но к ним предъявляются следующие смысловые ограничения. В УСЕ — опорной единице текста — должна сохраняться постоянность всех обязательных информационных составляющих (кроме характеризации по свойству, которая не является обязательным информационным компонентом УСЕ). Изменение параметра времени или места, изменение модальности свидетельствуют о начале новой УСЕ текста. Введение в текст нового «предмета» свидетельствует о том же. Так, отрезок *В некотором царстве жил король. Он был умен и храбр. У него было три дочери* рассматривается как отрезок, содержащий одну опорную УСЕ, т. к. в пределах этого отрезка вводится «предмет» реальности, именуемый предметным именем *король* (с указанием необходимых параметров, соотносящихся имя с «предметом»). Кроме того, этот «предмет» в пределах отрезка характеризуется по разным свойствам: имя представлено субститутами *у него, он*, однако пространственные, временные и модальные параметры в пределах этого отрезка остаются неизменными. Другой новый «предмет» в отрезке не вводится, т. к. предметное имя «три дочери» здесь используется в функции идентификатора. Если дальше идет отрезок текста типа: *Однажды король отправился на охоту*, то изменение временного параметра *однажды* *отправился* свидетельствует о начале новой опорной УСЕ. Если дальше идет отрезок типа *Дочери очень любили отца*, вторичное упоминание имени *дочери* (или субститута, например, *они, девочки* и пр.) также свидетельствует о начале новой УСЕ, т. к. имя, выступавшее ранее в функции характеризации, здесь выполняет роль идентификатора, и П из предыдущего контекста имеет достаточно информации, чтобы соотнести это имя с соответствующим «предметом» экстралингвистической реальности.

Текстовый отрезок, содержащий такую опорную УСЕ, мы называем высказыванием. Поскольку критерии его выделения в тексте чисто смысловые, высказывание не имеет единой синтаксической формы. Оно может

представлять собой простое предложение, сложноподчиненное или сложносочиненное предложение, сверхфразовое единство, но может быть и частью предложения (придаточным), как например: *У короля было три дочери, которые его очень любили.* Здесь придаточное содержит самостоятельную УСЕ, т. к. *которые* — субститут имени *три дочери* из предыдущего предложения. Повторяясь в тексте в функции идентификатора, при наличии необходимой информации в знании П, это предметное имя соотносится для П с экстралингвистической ситуацией и обретает смысл, подвергаясь в этом текстовом отрезке характеристике по свойству (характеризатор *его очень любили* содержит ЭСЕ, представленную вместо предметного имени *король* субститутном *его*).

Если разбивать текст на высказывания по этим критериям, обнаруживается, что высказывание не всегда носит характер непрерывной линейности. Оно может быть вставленным в другое высказывание, которое по отношению к вставленному является рамочным⁴. Например: *Евгений Петрович перевел взгляд на Ларису. Она сидела на диване рядом с Нелли... Евгений Петрович чувствовал себя усталым...* В этом текстовом отрезке по указанным выше критериям выделяется два высказывания: рамочное *Евгений Петрович перевел взгляд на Ларису...* *Евгений Петрович чувствовал себя усталым*, где «предмет», именуемый *Евгений Петрович*, характеризуется по разным свойствам — в первом предложении по внешнему отношению к другому «предмету», именуемого *Лариса*, во втором — по своему внутреннему свойству. Во вставленном высказывании «предмет» *Лариса* характеризуется по внешнему свойству, относительно другого «предмета». Если бы последнее предложение шло непосредственно за первым, например *Евгений Петрович посмотрел на Ларису... Он почувствовал досаду* (в результате этого действия), то эти два отрезка рассматривались бы как самостоятельные высказывания, т. к. временной параметр в них неодинаков. Другими словами, единой синтаксической формы для высказывания как носителя опорной УСЕ не существует, критерии его вычленения из текста — сугубо смысловые.

Описанные выше ЭСЕ и УСЕ, получающие выражение в тексте через ПВ и высказывания (текстовые отрезки, содержащие как минимум два ПВ), могут рассматриваться и как единицы перевода, поскольку, как показывают исследования, несмотря на различия в использовании средств различных языков при построении текста одного содержания (сопоставлялись английский оригинал и русский перевод), разными языками продуцируются одни и те же информационные комплексы — сегменты отображения реальности, содержащиеся в тексте. Границами выражающих их текстовых отрезков являются указанные выше критерии, а не количество предложений (простых, придаточных или сложных) и не их синтаксическая организация.

Как показали исследования, для продуцирования сегмента отображения реальности в русском и английском языках используется довольно жесткий и ограниченный набор синтаксических структур, ограниченное количество их типов и сочетаний, а также ограниченное количество способов введения сегментов отображения реальности в текст. Хотя эти способы и варьируют в пределах каждого из сопоставляемых языков и не совпадают в некоторых конкретных случаях, в принципе обязательные наборы таких средств в этих языках оказываются одинаковыми. С другой стороны, языковые единицы сопоставляемых языков используются внутри этих наборов по-разному.

Национальная «специфика» того или иного языка заставляет отправителя выделять как существенные те или иные свойства отображаемого в разных языках по-разному, в зависимости от грамматического строя языка, системы его лексических единиц, культурных традиций носителей языка.

⁴ Иногда такие отрезки рассматривают как единое высказывание, именуемое «развитие с петлей» [см. 6].

ЭСЕ и УСЕ, иерархически входя одна в другую, образуют все более крупные сегменты отображения реальности, которые, в конечном счете, сводятся к двум смысловым компонентам, составляющим весь текст, — гипертеме и гиперреме. Оба эти компонента не обязательно содержатся в целых линейных отрезках текста (наоборот, крайне редко возможно разделить текст на две части так, чтобы одна из них составляла его гипертему, а другая — его гиперрему). Оба базовые компонента могут продуцироваться несколькими отрезками текста, не составляющими линейного целого, но объединенными логической связью. Эта связь может быть выражена формально, через языковые единицы, но может и просто вытекать из содержания УСЕ, содержащихся в этих отрезках.

Бывает также, что один из базовых компонентов (или даже оба) не имеет непосредственного выражения в тексте, а образуется благодаря логической связи между самыми крупными УСЕ, выделенными в тексте, причем связь устанавливается только на основе фонового знания реципиента. Например:

Сила привычки

1. Впервые за свою 540-летнюю историю аристократический колледж для мальчиков в английском городе Итоне нарушил традицию. Он принял на работу учительницу. 2. 27-летняя Элиан Вожель преподает французский язык. 3. Воспитанники колледжа от нее в восторге. Она тоже довольна ими. 4. Одно ее смущает. По привычке, обращаясь к ней, они говорят не «мисс» или «мадемуазель», а «сэр».

В этом тексте формально содержится 4 самых крупных УСЕ (УСЕ-1, УСЕ-2, УСЕ-3 и УСЕ-4). Информация УСЕ-1 может быть представлена как: «факт принятия на работу учительницы в мужской колледж в нарушение традиции». Информация УСЕ-2: «учительница успешно выполняет свои функции». Фоновое знание П позволяет ему сделать вывод, вытекающий из содержания этих УСЕ: «нарушение традиции в колледже привело к положительному результату». Этот вывод представляет собой УСЕ более высокого ранга иерархии УСЕ текста — его гипертему, причем УСЕ, не имеющую в тексте прямого выражения, т. к. причинно-следственная связь между УСЕ-1 и УСЕ-2 только имплицитруется. УСЕ-3 содержит информацию: «Учительница и ученики довольны друг другом». УСЕ-4 — «ее смущает, что к ней обращаются как к мужчине». Логическая связь между этими двумя УСЕ имплицитруется только социальным опытом П, на основе которого в его сознании возникает новая УСЕ, более высокого ранга, с кратким содержанием: «в работе учительницы есть курьезная сторона». Эта новая УСЕ — более высокого ранга, чем все УСЕ, представленные текстом. Она им только имплицитруется, полностью отсутствуя вербально. Эта имплицитруемая УСЕ и есть гиперрема текста. Между гипертемой и гиперремой устанавливается логическая связь (опять-таки, никак не представленная в тексте формально, а вытекающая из социального опыта П). Эта связь и создает самую крупную УСЕ — целый текст, краткое содержание которого, следовательно (по содержанию гипертемы и гиперремы), можно представить как: «в нарушение традиции колледж взял на работу учительницу, которая успешно выполняет свои функции; но в ее работе есть курьезная сторона».

Независимо от степени формальной выраженности или невыраженности в тексте базовых компонентов смысла, они являются неотъемлемыми составными компонентами смысловой структуры любого текста, образуя УСЕ самого высшего ранга иерархии. Содержащаяся в них информация может быть перефразирована, представлена в свернутом виде и в этом случае составляет краткое содержание текста (его реферат).

Смысловые единицы разных степеней сложности составляют строевые элементы текста. Однако смысл текста образует не только набор смысловых единиц, но и связи между ними. На основании анализа текстов разного содержания оказалось возможным выделить три типа внутритекстовых связей, объединяющих информацию текста в информационные комплексы, а информационные комплексы разной степени сложности — друг с другом.

Связь, которая объединяет информацию, соотносящую имя с «предметом» реальности в единый комплекс, продуцирующий сегмент отображения реальности, рассматривается как внутренняя связь. Это связь, в результате которой предметному имени, соотносимому с «предметом» реальности, приписывается некоторое свойство (даже если это свойство существования, сема бытийности). Эта связь получила название «предметной», т. к. через нее не устанавливаются никаких связей именуемого «предмета» с другими, известными или неизвестными П. Такая связь объединяет в единый информационный комплекс текстовые отрезки типа *Он побледнел; Девочка гуляет*, если при этом из предыдущего контекста известны все необходимые параметры имени, представленного субститутом *он* или имени *девочка*.

В тексте этот вид связи представлен так называемой одинарной предикацией и выражается либо бытийным предложением (ЭСЕ), либо предложением с простым, составным именным или составным глагольным сказуемым, при котором возможен уточнитель, выраженный предметным именем, без его последующего упоминания в тексте.

Как отмечено выше, в текстовом отрезке, содержащем информационный комплекс, продуцирующий сегмент отображения реальности, при одинарной связи в качестве уточнителей свойства могут быть использованы предметные имена, не соотношенные с реальностью. Например, в текстовых отрезках *Он читает книгу; Она готовит обед* имена *книга* и *обед* рассматриваются только как уточнители свойств, приписываемых О «предметам», представленным здесь местоимениями *он, она*. Однако в отрезке *Он читает книгу, которую взял вчера в библиотеке* ситуация уже иная. Слово *книга* представлено далее субститутом *которая*. Кроме того, есть информация, необходимая для соотношения этого имени с «предметом» реальности. В этом случае имя *книга* рассматривается уже не как уточнитель, а как имя другого «предмета» реальности, отображенного в тексте. Следовательно, этот текстовый отрезок продуцирует уже не один, а два сегмента отображения реальности, т. е. содержит две смысловые единицы, связанные друг с другом так, что они взаимно характеризуют друг друга. В данном случае это взаимосвязь «каузатор — объект каузации». Это может быть и другая связь, любая из тех, которые обычно описывают через глубинные падежи (например, локатор и предмет локации и др.).

Такая связь, с одной стороны, является характеризующей, с другой стороны, она выходит за пределы одного информационного комплекса — сегмента отображения реальности, и объединяет смысловые единицы, характеризующие друг друга, в еще более крупные и усложненные смысловые единицы более высокого ранга. Такую связь, включающую единицы более низкого ранга в единицу более высокого ранга в качестве ее компонентов, взаимно характеризующих друг друга, мы называем внешней, групповой связью. Выражение этого вида связи в тексте получило название «групповой предикации». В тексте не обязательно присутствуют оба компонента групповой предикации. Один из них может имплицироваться контекстом, например, в случае использования пассивной конструкции: *Дом был построен в кратчайшие сроки* (кем-то, в зависимости от контекста).

К внешним связям между смысловыми единицами текста относятся также логические связи между информационными комплексами. Это известные логические отношения конъюнкции, дизъюнкции, импликации и тождества. Они объединяют смысловые группы в более крупные единицы более высокого ранга. При этом, как уже было показано выше, при анализе базовых компонентов текста логические связи могут быть непосредственно выражены языковыми средствами или же устанавливаться П на основе его социального опыта.

Между смысловыми единицами различной степени сложности, различных рангов в тексте устанавливаются как связь групповой предикации, так и разного рода логические связи. При этом одна и та же единица через оба вида связи может быть объединена с несколькими другими смысловыми единицами различных рангов. В этом случае можно говорить о зон-

тичной связи смысловой единицы с другими. Как правило, наличие зонтичной связи в модели смысловой структуры текста выделяет те смысловые единицы, которые принято называть «темой» текста. Имеется в виду тема не из дихотомии «тема—рема», а просто то, о чем в тексте идет речь. Если в тексте идет речь об одном «предмете», который на протяжении текста подвергается характеристике, в смысловой структуре текста имеется один зонтик. Но, как правило, таких зонтиков, свидетельствующих о наличии темы повествования, в тексте бывает несколько. В конечном итоге лучи зонтиков входят либо в гипертему текста, либо в его гиперрему. Если смысловая единица вступает в единичную связь с другой единицей и, образуя новую, более высокого ранга, только через нее имеет связь с гипертемой или гиперремой текста, можно говорить о наличии цепной внутритекстовой связи. Конфигурация зонтиков и цепочек смысловых единиц различных рангов иерархии при одинаковой внутренней структуре информационных комплексов, образующих узлы зонтиков и цепочек, является сугубо индивидуальной для каждого отдельного текста и воспроизводится без существенных изменений при переводе текста на другой язык.

Исследование содержательной структуры текста предложенным выше методом открывает множество разнообразных возможностей как для анализа самой структуры текста, так и для выявления языковых средств, ее формирующих. Содержательную структуру, представленную как результат использования языковых средств в процессе психической деятельности, можно рассматривать и вне связи с продуцирующими ее языковыми знаками: исследовать ее компоненты, их структуру и связи в текстах различных типов. В то же время появляется возможность исследовать те наборы языковых средств, которые необходимы для продуцирования отдельных компонентов содержательной структуры текста и для выражения связей между ними, опять-таки в текстах различных типов, жанров, стилей.

Помимо познавательной ценности подобного вида знания, оно имеет и прикладную ценность, ибо результаты таких исследований могут быть использованы при обучении чтению и пониманию текстов, при обучении иностранному языку и переводу, при реферировании. Особенно полезными подобного рода исследования представляются для теории перевода и практики его обучения, т. к. отделение смысловой структуры текста в виде символично-графической модели от способов ее языкового выражения дает возможность изучать не только сходства и различия в использовании средств исходного и переводящего языков, но и сам объект перевода — содержание текста как таковое.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981, с. 18.
2. Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970, с. 249.
3. Леонтьев А. А. Язык как социальное явление. К определению объекта языкознания. — ИАН СЛЯ, 1976, № 4.
4. Лосев А. Ф. Знак, символ, миф. М., 1982, с. 169—170.
5. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. М., 1976.
6. Ванников Ю. В. Синтаксис речи и синтаксические особенности русской речи. М., 1979, с. 64.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

К 90-ЛЕТИЮ Н. Ф. ЯКОВЛЕВА

В 1928 г. Н. Ф. Яковлевым была предпринята попытка создания общей теории письма, орфографии и графики. В ее основе лежала оригинальная фонологическая концепция, фонемология, сыгравшая революционизирующую роль в становлении фонологии и лингвистического мировоззрения XX в. Для осознания места и роли фонемологии Яковлева в науке о языке необходимо вспомнить некоторые существенные факты ее истории. «Теория фонемы» зародилась в России. И. А. Бодуэн де Куртене, подводя итоги первых успехов экспериментальной фонетики, еще в 1870 г. сформулировал положение о принципиальном несовпадении физической природы звуков с их значением в механизме языка и обосновал необходимость строгого разграничения звука (фона) и фонемы, антропофонии и психофонетики. В рамках психофонетики развивал учение о фонеме Л. В. Щерба, подчеркивавший смыслообразительную роль фонемы.

Концепция Бодуэна — Щербы нашла благоприятный отклик у специалистов в области экспериментальной фонетики, явившейся эмпирической базой методики обучения орфографии как практического приложения учения о фонеме.

В конце XIX — начале XX в. в России шла оживленная дискуссия о реформе русской орфографии, заставившая серьезно задуматься об отношениях между буквой и звуком, буквой и графемой, между буквой, звуком и фонемой. В ней приняли участие А. А. Шахматов и И. А. Бодуэн де Куртене, Ф. Е. Корш и Л. В. Щерба, Д. Н. Ушаков и Е. Д. Поливанов, В. И. Чернышев и многие другие. Подготовкой реформы руководил акад. Ф. Ф. Фортунатов, основоположник так называемой «формальной школы» отечественного языкознания, основной принцип которой гласил: «Лингвистические задачи следует решать лингвистическими методами». Настоящая жизнь науки начинается там и тогда, когда наука приобретает автономию и имеет возможность решать свои собственные задачи своими собственными средствами. А. А. Шахматов поставил задачу заменить психологические критерии собственно лингвистическими. Эту задачу и решил Н. Ф. Яковлев: фонему следует «признать целиком обусловленной определенным соотношением звуковых и семантических элементов в лексике и морфологии данного языка как статической системы. Это позволило бы „фонемологии“... перенести теоретическую базу на почву собственно лингвистики, в данном случае статической (т. е. синхронической)» (см. ниже). Н. Ф. Яковлев предложил решение парадокса минимальных единиц языка. Суть этого парадокса заключается в том, что все минимальные единицы языка (слова и морфемы) имеют определенное значение лишь в рамках данного языка, вне контекста которого они превращаются в бессмысленное «бормотание», а звуковые «атомы» языка как бы носят интернациональный характер. «Звук *z* такого-то языка произносится так же, как фонема /*z*/ в таком-то слове родного языка учащихся», — утверждает любая фонетика иностранного языка. Но если фонема — минимальная единица данного языка, то и она должна получать лингвистическое содержание лишь в рамках данного языка на данном этапе его развития. Вне контекста данного языка фонема, как и любая другая единица языка, остается просто физическим звуком.

Бодуэн освободил звуковой «атом» языка от физикализма, Щерба определил его лингвистическую функцию, Яковлев освободил его от психологизма, превратив фонему в собственно лингвистическую единицу, детерминируемую соотношениями с другими единицами данного языка. Развивая позиционную фонетику своих учителей, он решил «фонемологическую задачу» соотношения разнообразных звуков речи в речевом потоке с фонемой: их объединяет не столько физическое сходство или языковое чутье говорящих, сколько позиционная обусловленность. Позиционно чередующиеся звуки являются вариантами одной фонемы. Здесь на месте психофонетики выступает фонемология и впервые введены в научный оборот те фундаментальные понятия, на которых несколько позже будет строиться фонология (сильная и слабая позиция, фонемные ряды, дифференциальные и интегральные элементы, нейтрализация, корреляция и многое другое). Дальнейшее развитие фонемологии в фонологию — фундаментальная задача коллег Яковлева по Московскому университету, начавших свою научную деятельность в московской диалектологической комиссии (Н. С. Трубецкой и Р. О. Якобсон, Р. И. Аванесов и В. Н. Сидоров, П. С. Кузнецов и А. А. Реформатский и др.). Они убедительно показали, что фонема — явление физическое — действительно получает лингвистическое содержание лишь в системе данного языка на данном этапе его развития, детерминируется местом и ролью в системе языка. Заложив основы системно-функционального подхода ко всем явлениям языка, они неоднократно подчеркивали, что приоритет освобождения от психологизма и перенесения решения «фонемологических» задач в лингвистику принадлежит Яковлеву.

Поразительно, что работа, где были впервые сформулированы фундаментальные положения науки XX в., была издана в количестве всего 100 экз. стеклографическим способом и никогда не переиздавалась. Речь идет о работе Н. Ф. Яковлева «Таблицы фонетики кабардинского языка» (М., 1923). Ниже приводятся выдержки из этой книги, сразу ставшей библиографической редкостью (с. 1—109, всего в книге 129 с. + 5 табл.). Публикуемые выдержки из книги условно названы нами «Принципы фонемологии». Известно, что Н. Ф. Яковлев готовил более детальное изложение своей теории фонемологии и делал заявку на шесть авторских листов. Но это издание не осуществилось.

Ашнин Ф. Д., Журавлев В. К.

ЯКОВЛЕВ Н. Ф.

[ПРИНЦИПЫ ФОНЕМОЛОГИИ]

Руководящим принципом систематики звуковых явлений служила для меня теория фонем, предложенная проф. И. А. Бодуэном де Куртене¹ и развитая проф. Л. В. Щербой², хотя я не согласен с необходимостью того психологического обоснования этой теории, какое предлагается в указанных работах.

Согласные

Фонемологические данные. Вполне соглашаясь с проф. Л. В. Щербой («Русские гласные...», с. 19), что «при диалектологических исследованиях (и, добавим, вообще фонетических исследованиях любого, в особенности, — малоизвестного языка) едва ли не самым важным является не записывание разных тонких (фонетических) отличий (в конце концов, с усовершенствованием методов наблюдения — бесконечных), а констатирование того, какие отличия в данном языке важны, а какие не важны, с точки зрения смысла» (т. е. с точки зрения семантической), я должен, однако, хотя бы бегло наметить несколько иной путь теоретического решения проблемы фонем и «фонемологической» фонетики вообще, поскольку это необходимо для дальнейшего изложения.

Едва ли нужно доказывать, что та или иная фонема как «совершенно конкретное звуковое представление может быть в сознании отдельного говорящего так же неосознана (в особенности если она не имеет аналога в графике), как и любой из «звуковых оттенков» (вариантов фонемы); наоборот, многие из последних иногда так же легко попадают в поле сознания говорящего, как и фонемы, стоит ему только специально направить внимание и, так сказать, передвинуть порог фонетического различения. Таким образом, индивидуальное сознание говорящего едва ли может служить особенно надежным базисом фонетических изысканий, да фактически не оно и является этим базисом в работах последователей теории фонем. Таким базисом является место и роль отдельных звуковых моментов в системе «смысловых», т. е. морфологических и лексических элементов языка, а собственно психофонетические наблюдения в области различения отдельных звуковых моментов доставляют сюда лишь вспомогательный материал. Но если «элементы звуковых представлений получают известную самостоятельность благодаря смысловым ассоциациям, как *л* в словах: *пыл*, *бил*, *вил*, *дала*, ассоциированное с представлением прошедшего времени, а в словах *корова*, *вода*, ассоциированные с представлением субъекта» и т. д. («Русские гласные...», с. 6), если «мы воспринимаем как тождественное все, ... ассоциированное с одним и тем же смысловым представлением (как *ê* и *e* в *дету/детки*) и различаем все, способное... ассоциироваться с новым значением, как *t'* и *t* в *одеть/одет... тук/тюк*» и т. д., «...если всякому туземцу известные звуковые отличия ясны именно потому, что они ассоциируются в его языке с морфологическими и смыс-

¹ J. Baudouin de Courtenay. Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen. Ein Kapitel aus der Psychophonetik. Strassburg (Krakau), 1895.

² Л. В. Щерба. Русские гласные в количественном и качественном отношении. СПб., 1912.

ловыми представлениями», то не следует ли и самую фонему, как она существует в индивидуальном сознании говорящего и осуществляется в фактах его говорения, признать целиком обусловленной определенным соотношением звуковых и семантических элементов в лексике и морфологии данного языка как статической системы. Это позволило бы «фонемологии», продолжая пользоваться психофонетическими наблюдениями как вспомогательным, по существу внелингвистическим методом, перенести теоретическую базу на почву собственно лингвистики, в данном случае статической³.

Исходя из такой постановки проблемы в целом, мы можем наметить следующее решение вопроса о том, каким объективным оттенкам соответствуют фонемы. Так как определенным фонетическим положением для данного «звукового оттенка», строго говоря, будет всякое положение его, как в контексте, так и вне контекста, в том числе, и нарочито отчетливое (в моей терминологии — эмфатическое), и «протянутое его произношение», то звуковой оттенок, осуществляемый в последнем, лучше принципиально не считать находящимся «в наименьшей зависимости от окружающих условий». Ряд звуковых оттенков (т. наз. комбинаторных и факультативных вариантов), выделенный в данном языке, как целое — «фонема», — и противопоставленный всем другим наличным здесь рядам — фонемам, представляет исследователю известную свободу выбора отдельного оттенка как условного символа единства всего ряда подобно тому, как выбор формы того или иного падежа как символа единства всех форм словоизменения одной лексемы есть до известной степени дело условное. Однако, если попытаться найти в объективной фонетической системе языка объяснение такому действительно существующему явлению, как выбор большинством говорящих на данном языке одних и тех же звуковых оттенков в качестве символов фонемных рядов, то, кроме указанного — статистически преобладающего в эмпирических фактах говорения и обусловленного внеконтекстовым нарочито-отчетливым произношением оттенка, следует принять во внимание оттенок 1), сочетающийся с представителями преобладающего числа других фонем данного языка, т. е. обусловленный наиболее распространенным в последнем фонетическим положением, и 2) что особенно важно, наблюдаемый в положении наибольшего различия фонемных рядов в данном языке. Таким для согласных в русском языке, напр., является междугласное положение в середине слова перед велярными гласными, где различаются ряды глухих, звонких, веляризованных («твердых») и палатализованных согласных фонем, тогда как аналогичное положение в исходе слова характеризуется совпадением звонких фонемных рядов с глухими⁴.

Самый выбор внеконтекстового варианта в качестве конкретной фонемы предопределяет артикуляционно-акустическое содержание последней в такой же точно степени, как определенное положение в контексте обуславливает артикуляционно-акустическое содержание любого комбинаторного варианта⁵, и вряд ли можно доказать, что в первом случае (во внеконтекстовом произношении) психофонетически (т. е. субъективно, в сознании говорящего) налично то же самое «фонемосодержание», как и объективно воспринимаемое исследователем, если принять во внимание автоматизацию процесса произнесения звуков речи как необходимое ус-

³ Следуя терминологии F. de Saussure'a — Cours de linguistique générale, Lausanne, 1916 — «синхронической».

⁴ Один из многочисленных способов «объективного» выделения границ слова в русском языке, почему-то отрицаемого Р. Якобсоном: («О чешском стихе, преимущественно в сопоставлении с русским». Берлин, 1923, стр. 29), где, меж пр., в приводимом им же примере: *Уторàпливает шàз* исход первого слова совершенно отчетливо выражен редукцией гласного последнего слога, который при всяком ином словоразделе, в предударном положении, количественно и качественно резко отличался бы от данного.

⁵ Так, в кабардинском (и в ряде других яфетических языков — грузинском, ингушском) во внеконтекстовом и эмфатическом произношении надгортанные мгновенные типа ж звучат, как настоящие аффрикаты со своеобразным элементом фрикации, тогда как в речевом контексте этот элемент безусловно и целиком отсутствует.

ловие их привычного воспроизведения. Поэтому следует особо подчеркнуть важность выяснения комбинаторных вариантов в указанных двух фонетических положениях в контексте при установлении фонемологической системы любого языка.

Противопоставление фонемологических элементов как «значимых» — «незначимым»⁶ может подать повод к крупному недоразумению.

В языке нет и не может быть элементов, не выделенных в известном определенном отношении к его семантической стороне или, лучше сказать, — к характерной для данного языка системе семасиологизации, и в этом смысле всякое языковое явление, как предмет лингвистики, конечно, «значимо». Однако отношение звуковой стороны к семантической может быть двойным: внеконтекстовые единства звуковых признаков, выделенные в отношении к системе «индивидуальных» значимостей⁷ в языке и будут лингвистическим соответствием психофонетической «фонемы», иначе «значимых», «фонологических», «грамматических» и проч. элементов. В этих внеконтекстовых единствах объединены кратчайшие для данного языка моменты звукового контекста, имеющие лингвистическое значение. С другой стороны, звуковые явления, выделенные в отношении к общим условиям значимости звукового контекста в языке (в том числе — к принципам выделения в контексте словесных единств), соответствуют комбинаторным явлениям психофонетической теории, иначе, элементам «незначимым», «внеграмматическим» и проч., и захватывают всегда два или несколько кратчайших моментов звукового контекста. Элементы первого рода можно было бы назвать дифференциальными, а второго — интегральными моментами фонетической системы языка. Здесь не место подробнее останавливаться на этом чисто теоретическом вопросе лингвистической фонетики, которому я думаю посвятить специальную работу; можно только подчеркнуть, что семасиологическое значение интегральных элементов в языке столь же велико, как и дифференциальных⁸.

Первые являются принципами или формами всякого контекстирования звуков в данном языке, и малейшее уклонение от них в эмпирике говорения сейчас же регистрируется сознанием говорящего, как акцентная или невнятная речь.

Типическими для кабардинского языка комбинаторными («фонетическими») положениями в отношении согласных фонем являются следующие:

1) В отношении артикуляционного участия губ: а) активно-лабиализованное — в положении перед лабиализованными долгими (и некротическими) гласными (фонемы \hat{b} , \hat{y} и сочетания фонем \hat{b}^u , \hat{y}^u); б) лабиализованно-различительное — во всяком другом положении. Из этих двух взаимно противопоставленных друг другу форм контекстирования звуков в первой могут не различаться фонемные ряды⁹ [заднеязычных лабиализованных от простых]*. В отношении дополнительной артикуляции губ все соглас-

⁶ Иначе: «фонологических», внутренне обусловленных, грамматических — внешне обусловленным, внеграмматическим, ср. Р. Якобсон (см. выше).

⁷ Под индивидуально семасиологизированными элементами в данном случае понимаются звуковые комплексы, связанные с отдельным реальным или формальным значением: лексемы, морфемы, лексические морфемы (минимум представления слова по Поливанову) и проч.

⁸ Следует также отметить, что определенные дифференциальные элементы одновременно могут быть совершенно иначе выделены в интегральной системе языка, как и наоборот. Например, фонема σ в дифференциальной системе русского языка отнесена в группу спонтов (парная модификация основной артикуляции по признаку звонкости ↔ глухости: $\sigma \leftrightarrow \phi$, $z \leftrightarrow c$, $ж \leftrightarrow ш$), в то время как интегрально она находится в группе сонорных (различение звонких и глухих фонем в положении перед σ , так же как перед $м$, $н$, $р$), т. е. звуков, дифференциально лежащих собственно вне фонемологической категории звонкости ↔ глухости.

⁹ Ряды [лабиализованных согласных] различаются и в этом положении от вариантов [лабиопалатализованных] сохранением места основной артикуляции этих звуков и присущей им известной степени палатализации.

* По техническим причинам знаки транскрипции, приводимые Н. Ф. Яковлевым, опускаются и передаются описательно (в квадратных скобках) — *Ред.*

ые фонемы в этом положении представлены округло-лабиализованными вариантами. В положении б) соответствующие фонемы сохраняют различие пассивной (т. наз. «отсутствие лабиализации») и активной лабиализации (последней в двух ее типах — округлом и продолговатом).

2) В отношении повышающего ↔ понижающего резонанса полости рта: а) палатализационное положение перед долгими (и некроткими) палатальными гласными (фонемы \hat{e} , \hat{i} , сочетания фонем $e\hat{i}$, $i\hat{i}$); б) различительное в отношении повышающего ↔ понижающего резонанса во всяком ином положении. Так как явление палатализации не использовано в кабардинском в качестве признака фонеморазличения (см. ниже), то в палатализационном положении мы не имеем полного совпадения каких-либо фонемных рядов, но в отношении комбинаторного повышения дополнительного резонанса полости рта постоянно палатализованные фонемы... совпадают здесь со всеми остальными фонемными рядами, за исключением лабиализованных..., сохраняющих и в этом положении присущий им резонанс. В положении б) различаются друг от друга палатализованность, промежуточный резонанс и веларизованность как присущие вариантам определенных степеней фонемных рядов звуковые оттенки (в большей или меньшей степени веларизованы фонемы [заднеязычные]).

3) В отношении распределения слогового максимума экспирации: «усиливающее» положение — перед и после краткой гласной фонемы \hat{e} и (факультативно?) перед \bar{a} долгим (и некротким, а также перед другими долгими гласными?) одного слога; в отношении мгновенных согласных фонем — также перед и после гласной фонемы \bar{a} одного слога; б) «слоγοобразующее» положение в отношении длительных и аффрикат перед краткой гласной \bar{a} одного слога; в) «неслоγοобразующее — неусиливающее» положение, характеризуемое совпадением максимума слоговой экспирации с артикулированием гласного. Соотношение между указанными фонетическими положениями в кабардинском не вполне еще ясно. Сюда же, по-видимому, примыкает явление чередования экспираторных и инспираторных вариантов надгортанных фонем. В общем, мы имеем здесь, по крайней мере, в отношении слогообразующего положения, не столько варианты отдельных рядов, сколько варианты слогов, т. е. определенных форм фонемосочетаний. К этому вопросу придется еще вернуться в связи с проблемой фонемы и слога в кабардинском языке. Пока отметим, что именно усиленные (в отношении надгортанных — экспираторные) варианты согласных фонемных рядов могли бы быть приняты за символы фонемных единств в согласии с фактами эмфатического и внеконтекстового произношения; в таком случае термин «слабые» (*lenes*) в отношении к «звонким» не потерял бы своего значения в качестве о т н о с и т е л ь н о г о определения экспираторной силы соответствующих категорий звуков.

Таким образом, положением наибольшего различения в кабардинском следует признать положение их перед краткими гласными (фонемы i , \bar{a}) и долгим (и некротким) \bar{a} одного слога, а также в исходе слова (или слога) после указанных гласных.

За символы фонемных рядов в издаваемых таблицах приняты представители этих рядов (комбинаторные варианты), обусловленные нарочито отчетливыми (эмфатическим) произношением в положении наибольшего различения и вне контекста (в обоих положениях звуковые оттенки в пределах одного фонемного единства в большинстве случаев тождественны). Из факультативных вариантов, свойственных данному положению, в таблице указаны акустически и артикуляционно наиболее дифференцированные в отношении друг к другу (помечены одинаковой арабской цифрой справа). В одном случае, однако, — выделение глухих *lenes* — я несколько отступил от этого правила (см. ниже).

Рассмотрим средства фонемологической модификации основных звукообразующих артикуляций кабардинского языка. Из обозначенных в таблице основных типов звукообразующих работ следует отметить \check{c} , \check{k} как особенно яркие примеры основных артикуляций, фонемологически

в языке действительно неразличимых. В качестве особенно разительного (сравнительно с русской фонетической системой) примера такого неразличения следует привести факультативность чередования в речи мгновенных типа средне-твердонебного κ и шипящих аффрикат типа \check{c} ¹⁰, частью имеющего, по-видимому, диалектическое значение¹¹. Примеры такого рода неразличения основных звукообразующих работ в языке, в общем чрезвычайно богатом тонкими различиями в области согласных, лишней раз убеждают в относительности в каждом отдельном языке порога фонеморазличения и используемых для этого различения средств.

Из дополнительных (присоединяемых к основной артикуляции) средств фонемологической модификации в кабардинском следует отметить противопоставление 1) по источнику экспирации (подгортанность ↔ надгортанность); 2) по дополнительной артикуляции гортани (глухость ↔ звонкость); 3) по дополнительной артикуляции губ (активная округловыступающая лабиализация ↔ пассивная лабиализация). С помощью этих трех дополнительных признаков взаимно противопоставлены друг другу фонемные ряды, совершенно тождественные по своей артикуляции.

Использование источника экспирации как признака фонеморазличения выделяет из основных типов звукообразования группу мгновенных (не гортанных) баз, аффрикат и некоторых неглубоколежащих спирантов ($s_w, p, t, k, q, c, \check{c}$).

⟨...⟩ Наряду с модификацией при помощи дополнительных артикуляций мы наблюдаем как факт, свойственный фонемологическим системам не только яфетических языков, существование группы фонем, дифференцированных по типу основной артикуляции ⟨...⟩. Фонемологически мы вправе были бы считать эти звуки дифференциально лежащими вне категории звонких и глухих, другими словами, артикуляционно звонкими с фонемологически невыявленной звонкостью ↔ глухостью ⟨...⟩.

⟨...⟩ Кроме отмеченных нами двух дополнительных признаков фонеморазличения, в кабардинском налична еще лабиализация округлобилабиального типа. Она выделена в качестве фонемологически модифицирующего признака небольшой группой задне-мягконебных фонем (до 8 фонем, два типа звукообразования). В остальных случаях артикуляционно наличная лабиализация фонемологически выделена лишь противопоставлением звуковых контекстов, т. е. в интегральном отношении. В частности, в задне-твердонебной базе лабиализованные мгновенные противопоставлены среднетвердонебным не столько по признаку лабиализации, сколько палатализованностью и иной локализацией основного звукообразования, если не считать фонемологического объединения этого ряда с соответственными шипящими аффрикатами, что само по себе также могло бы служить признаком фонеморазличения.

Таким образом, дифференциально мы имеем в кабардинском языке следующую систему выделения отдельных фонем: 1) группа, модифицированная лишь по признаку противопоставления основных артикуляций ⟨...⟩; 2) группа фонем, модифицированных противопоставлением звонкости ↔ глухости ⟨...⟩; 3) ⟨...⟩ по признаку активно (округло)билабиальной лабиализованности ↔ пассивной лабиализованности (пары соотносительных фонем) ⟨...⟩; 4) ⟨...⟩ по признаку звонкости ↔ глухости и надгортанности ↔ подгортанности (тройки соотносительных фонем) ⟨...⟩; 5) ⟨...⟩ по признакам надгортанности ↔ подгортанности и активной лабиализованности ↔ пассивной лабиализованности (четверки соотносительных фонем) ⟨...⟩.

В интегральном отношении, т. е. в отношении к образованию характерных для кабардинского языка форм звукового контекста, кабардинские согласные фонемы можно подразделить на следующие группы: 1) в отно-

¹⁰ Психофонетическим результатом этого является тот факт, что многие из исследованных мною субъектов действительно не различали описываемых оттенков и, произнося в речи постоянно (независимо от положения) шипящие аффрикаты, утверждали, что они произносят соответственные мгновенные.

¹¹ В говоре Шидокаева я постоянно наблюдал только мгновенные типа \check{c} .

нении повышающего ↔ понижающего резонанса полости рта (...);
2) в отношении активной ↔ пассивной артикуляции гортани (...).

<...> Приведенные группы кабардинских согласных фонем интегрально характеризуют сочетающиеся с ними краткие и долгие гласные.

Гласные

Артикуляционно-акустические данные. Гласные кабардинского языка с точки зрения абсолютной артикуляционно-акустической классификации изучены еще далеко не удовлетворительно. Отчасти причиной этому служит неудовлетворительность существующих классификационных систем гласных звуков, заставляющая видных фонетиков (как проф. Л. В. Щербу) до сих пор искать нового решения этой проблемы. Поэтому моей задачей было, используя схему существующей классификации Bell'a — Sweet'a, попытаться произвести предварительное распределение кабардинских гласных по этой схеме. Главной же задачей было — выделить и в области гласных фонемные единства (см. ниже «Фонемологические данные»), откладывая на будущее время более точный артикуляционно-акустический их анализ <...>.

<...> **Фонемологические данные.** Основным фонемологическим вопросом, который мы должны решить в отношении гласных кабардинского языка, является проблема кратких гласных фонем. Артикуляционно мы имеем две группы кратких гласных: 1) верхнего и 2) среднего подъема, представленных довольно многочисленными звукообразованиями по признаку ряда и лабиализации в каждом. Наличие внутри таких групп оттенки мы прямо можем определить как комбинаторные варианты, появляющиеся в результате регрессивного влияния согласных <...> или в зависимости от положения в речевом контексте ↔ в исходе слов в паузе <...>. <...> Есть следующие основания считать каждую из описанных групп единой краткой гласной фонемой, а все многочисленные звукообразования, артикуляционно дифференцированные в отношении ряда и лабиализованности внутри каждой группы, элементами интегрально (комбинаторно) обусловленными. Во-первых, каждая из подгрупп <...> встречается в сочетании лишь с определенной интегральной (в отношении локализации подъема языка, понижающего ↔ повышающего резонанса и лабиализованности) категорией согласных. Так, лабиализованные подгруппы <...> — лишь после округло-лабиализованных согласных, нелабиализованные <...> — после пассивно или продолговато-лабиализованных согласных фонем; наиболее передние в отношении ряда оттенки <...> — только после постоянно-палатализованных <...>. Во-вторых, после любой согласной фонемы в кабардинском языке, в связи с дифференциацией значения всего сочетания, могут быть выделены только два кратких оттенка, взаимно противоположных по признаку подъема (т. е. один из групп верхнего, а другой из групп нижнего подъема), причем оба они при одинаковом регрессивном влиянии тождественны, как в отношении ряда и повышающего ↔ понижающего резонанса, так и в отношении активной ↔ пассивной лабиализованности. В-третьих, сочетание любой согласный + + соответствующий гласный звуковой оттенок верхнего подъема в морфологически (реже синтаксически) обусловленном положении в исходе слова подменяется вариантом соответствующей согласной фонемы без последующего гласного, т. е. такой исходный согласный в данном случае является комбинаторным вариантом слога <...>.

<...> Таким образом, в небольшом числе случаев дифференциация кратких гласных оттенков по их подъему стоит в определенном отношении к дифференциации отдельных значений. Для нас важно, однако, не количество привлекаемых случаев, но осуществление в фонетической системе языка определенного принципа выделения звуков. Если в пользу признания обеих указанных групп кратких гласных двумя едиными, противопоставленными друг другу краткими гласными фонемами можно привести лишь небольшое сравнительно количество примеров, то, с другой стороны, определенно отсутствуют какие-либо противопоставления на этот счет. В ка-

бардинской лексике и морфологии нет решительно ни одного случая, чтобы различие в ряде, дополнительном резонансе или лабиализованности кратких гласных было выделено в отношении к системе индивидуальной семасиологизации. Таким образом, остается только признать каждую из рассматриваемых нами групп единой фонемой <...>.

<...> Таким образом, в области гласных в кабардинском языке мы можем признать достоверно установленным лишь две краткие гласные фонемы *ə* и *e*, результатами слияния которых, при участии гортанного спонганта типа ^с (предположительно) генетически можно объяснить все остальные слоговые гласные элементы в языке. Далее, если принять во внимание, что краткий гласный *ə* факультативно является неслоговым и носителем слоговости в этих случаях бывает согласный одного с ним слога, а в исходном положении этот гласный систематически отпадает, то следует поставить вопрос, не имеем ли мы в кабардинском, по крайней мере, в известный период его развития, пример с одной гласной фонемой.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Взаимотношение развития национальных языков и национальных культур. Отв. ред. Дешерьев Ю. Д., Туманян Э. Г. — М.: Наука, 1980. 320 с.

Советские социолингвисты уделяют значительное внимание разработке актуальных проблем диалектической взаимосвязи между развитием национальных языков и национальных культур. Исследования проводятся в сотрудничестве с социологами и философами, лингвистами и литературоведами, историками и этнографами, психолингвистами и представителями педагогической науки. В рецензируемую работу вошли исследования, в которых систематически освещены основные социально обусловленные закономерности соотносительного развития языков и культур народов СССР в советскую эпоху. Руководителем и автором более одной трети данной работы является Ю. Д. Дешерьев, который уже много лет возглавляет сектор социальной лингвистики Института языкознания АН СССР. Книга состоит из двух вводных разделов (Предисловие и Введение) и четырех основных глав (1 — «Закономерности развития социалистической культуры народов СССР и ее отражение в языке»; 2 — «О моделировании отражения культуры в языке»; 3 — «Развитие языков и культур союзных республик»; 4 — «Взаимотношение развития языков и культур в развитом социалистическом обществе»).

В сборнике ставится вопрос о статусе и социальных функциях различных языков, на которых говорят представители наций и народностей нашей страны. Некоторые языки, так называемые «однаузальные», выполняют ограниченные социально-языковые функции. На другой противоположности — великий русский язык, служащий главным средством обмена культурными ценностями между нациями и народностями Советского Союза и основным источником развития и обогащения всех языков и культур народов СССР. При этом следует подчеркнуть, что в Стране Советов равноправие всех языков и культур введено в ранг конституционной нормы. Идет речь о двуедином процессе: русский язык, русская культура содействуют обогащению и развитию других языков и культур и, в свою очередь, русский язык и культура обогатились и обогащаются в процессе их взаимодействия с языками и культурами других советских народов. Особенно следует выделить то положение, что все сферы культуры и ее структурные элементы должны найти свое отражение в языке, в то время как особенности языка, его структурные элементы не обяза-

тельно отражаются во всех сферах культуры. «Таким образом, роль языка в жизни общества значительно шире, чем его связь с духовной культурой» (с. 11). Это и понятно: ведь язык содействует не только познанию жизни общества, но и закономерностей развития природы, а также и законов формирования и развития человеческого мышления.

Основная задача данной работы и состояла в том, чтобы показать, как в языках народов СССР отражаются различные аспекты общесоветской и национальной материальной и духовной культуры в условиях развитого социализма. В то же время авторы старались подвергнуть критике утверждения зарубежных «советологов» о том, что в условиях зрелого социализма якобы имеет место «ассимиляция национальных языков и культур».

Исходя из концепции о необходимости использования родных языков в социалистическом строительстве, В. И. Ленин как величайший гуманист заботился о судьбах многих сотен больших и малых народов, об их настоящем и будущем. Исходя из положения К. Маркса о том, что «всякая нация может и должна учиться у других» [1], В. И. Ленин последовательно отстаивал марксистскую концепцию о всемерном развитии и взаимообогащении национальных культур и языков. И наша современная действительность полностью подтвердила утверждение Ленина о том, что «весь ход общественной жизни ведет к сближению всех наций между собою» [2].

На конкретных примерах из различных языков советских народов в рецензируемой работе исследуются общественно-политические термины, которые выражают новые идеологические понятия, рожденные в огне революции (*большеви́зм, социализм, коммунизм, совет* и др.), и стали общим достоянием всех наших народов (с. 37—40).

Следует подчеркнуть, что в процессе тесного взаимодействия языков народов СССР ведущую роль играет русский язык как язык самой многочисленной нации, вокруг которой произошло объединение советских народов. В таких условиях создается и развивается национально-русское двуязычие при полном соблюдении равенства языков. «Мы хотим добровольного союза наций, — такого союза, который не допускал бы никакого насилия одной нации над другой, — такого союза, который был бы основан на полнейшем доверии, на ясном сознании

братского единства, на вполне добровольном согласии» [3]. Именно на этой основе образовался Советский Союз, который сыграл важнейшую роль в формировании и расцвете национальной по форме, социалистической по содержанию культуры всех народов нашей страны. Равноправие языков является краеугольным камнем всей политики КПСС в области национальных взаимоотношений. При этом диалектически связаны развитие национальных языков и распространение русского языка в качестве межнационального языка. Это вполне обоснованная историческая необходимость, без чего затруднились бы сотрудничество и взаимная помощь народов СССР, их взаимный обмен культурными ценностями. Без этого затормозилось бы само развитие народов СССР, дело коммунистического строительства.

Авторы данной книги критически рассматривают различные теории зарубежных ученых (Д. Хаймса, Д. Дж. Гамперца, М. Коула, С. Скрибнера и др.), которые неприемлемы для объективного изучения вопросов развития и взаимодействия языка и культуры.

Среди важнейших методов исследования взаимоотношений между развитием языка и культуры следует выделить метод моделирования, который впервые используется и подробно анализируется во второй главе (с. 128—160). В качестве конкретного примера анализа развития языков и культур союзных республик авторы книги остановились на четырех из них (азербайджанский, литовский, украинский и белорусский), что, конечно, лишь частично отражает многосторонние и сложные аспекты данной проблематики в ее применении к конкретным условиям жизни советских народов. Важнейшие итоги и перспективы взаимоотношений развития языков и культур в

зрелом социалистическом обществе подведены в заключительной, четвертой главе рецензируемой книги (с. 229—318).

Необходимо было бы более четко выяснить вопросы формирования новой социальной и интернациональной общности людей — советского народа и исследовать проблемы развития национальных языков советских народов в их взаимоотношениях с языком межнационального общения, русским языком, т. к. по этому поводу имеется ряд неверных трактовок у зарубежных «советологов». Важно было бы четко сформулировать социальные функции языка межнационального общения и разграничить эти функции от функций «языка-посредника» (*lingua franca*).

В целом надо подчеркнуть большое значение рецензируемой книги для правильной марксистско-ленинской трактовки важнейших вопросов взаимоотношений развития языков и культур в современном, зрелом социалистическом обществе: впервые в советской науке на конкретном материале некоторых национальных языков советских народов и их культур рассматриваются важнейшие вопросы коммунистического строительства.

Корлягану Н. Г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маркс К. Капитал. Предисловие к первому изданию. — Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 10.
2. Ленин В. И. Нужен ли обязательный государственный язык? — Полн. собр. соч., т. 24, с. 293.
3. Ленин В. И. Письмо к рабочим и крестьянам Украины по поводу побед над Деникиным. — Полн. собр. соч., т. 40, с. 43.

Караулов Ю. Н. Частотный словарь семантических множителей русского языка. — М.: Наука, 1980. 208 с.

Современные искания в области теории и практики лексикографии все чаще выдвигают на передний план понятие лексикографической деятельности. Вопрос «как делать словари?» в равной степени актуален и для традиционных, и для новых типов словарей, ибо он связан с обоснованностью лексикографических процедур. Эта актуальная проблема и составляет внутренний стержень рецензируемой работы Ю. Н. Караулова. Исследование, приведшее к появлению первого частотного словаря семантических множителей русского языка, составленного с помощью ЭВМ, основано на эксперименте, имеющем двоякую направленность: это одновременно и анализ существующих словарей, и этап в создании нового типа словаря. Книга тесно связана с другими трудами Ю. Н. Караулова, посвященными изучению фундаментальных закономерностей лексикографической практики.

В рассматриваемой работе представлен не просто словарь семантических множителей, но и определенный метаязык, надстроенный над первичным метаязыком дефиниций толкового словаря (этот вторичный метаязык включает правила построения единиц с помощью операций над словами из первичных дефиниций, а также правила кодирования дефиниции в целом). Книга дает, следовательно, обобщенные сведения о словах, которые встречаются в дефинициях и — шире — которые играют важную роль в семантической структуре русского языка. Количественные индексы характеризуют активность каждого данного семантического множителя в построении толкований, т. е. показывают, в определении скольких исходных лексем участвует данный семантический множитель (ср. [1]); по этой причине (а также ввиду закреплённости термина «частота» за встречаемостью единиц в речи) можно было бы,

на наш взгляд, называть используемый автором показатель индексом дефиниционной продуктивности. Методика определения таких индексов, как и вся обработка первичных дефиниций, нацелена на использование словаря прежде всего для установления семантических связей между исходными словами в рамках задачи построения тезауруса.

Из сказанного ясно, что «Частотный словарь семантических множителей русского языка» представляет собой вклад в теорию и практику семантических метаязыков, в теорию и практику статистической семантики, в теорию и практику тезаурусостроения, включая сюда теорию семантических расстояний, а также в теорию и практику автоматизации лексикографических работ [ср. 2—5]: рецензируемый словарь пополняет большой класс «машинных словарей» — как общезыковых, так и специальных (особенно многочисленных в области информационно-поисковых систем).

В подготовке материала для машинной обработки приняли участие студенты кафедры структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ; «в разработке вопросов машинного анализа метаязыка толкового словаря, подготовке комплекса соответствующих программ для ЭВМ..., в придании частотному словарю его настоящего вида в машинной печати заслуга принадлежит сотрудникам Института социологических исследований АН СССР В. И. Молчанову, В. А. Афанасьеву, Н. В. Михалеву (с. 3).

Книга открывается предисловием «От автора», далее идут вступительная статья «Истоки словаря, его назначение и правила пользования им» и четыре лексико-семантических инвентаря. Во вступительной статье прежде всего разъясняется, о каких множителях идет речь в словаре: это «однозначные слова, использованные в правой части толкового словаря» (с. 6). Эмпирической базой исследования послужили дефиниции 11 000 слов, специально отобранных для построения тезауруса русского языка. Всего выявлено и подвергнуто количественному описанию 8415 семантических множителей. В так называемой феноменологической модели семантическая связь между двумя словами устанавливается, если они имеют хотя бы один общий множитель. При этом принято рабочее решение игнорировать синтаксис дефиниций, а также представлять их лексический состав в обобщенном виде — множители записываются на уровне особ «квазиоснов». Далее, уточненная «асимптотическая модель» связности опирается уже на полученный частотный словарь множителей: информация об их частоте позволяет ранжировать множители в дефиниции по их информативности (весу) и осуществлять сжатие дефиниции за счет отбрасывания второстепенных множителей.

Исходные (толкуемые) слова образуют два множества: каталог дескрипторов, полученный на основе компиляции классификационных схем идеографических словарей разных языков и включающий 1621 единицу; словарь, составленный на базе словаря-минимума для иностранцев

(под ред. В. В. Розановой) и расширенный почти вдвое. Для единиц словаря дефиниции брались по словарю С. И. Ожегова, а для дескрипторов — также и по словарю Д. Н. Ушакова. Поскольку методика автоматического построения тезауруса предусматривает распределение словаря по семантическим полям, возглавляемым дескрипторами, путем выявления общих семантических множителей, то встает задача приведения дефиниций к виду, удобному для формального сравнения. Из возможных путей представления семантической информации выбран тот, при котором «начало слова оставалось без изменения, а сокращению, усечению подвергалась правая часть» (с. 10), причем «правая граница кода никак не связана с морфемным членением слова» (с. 14). Получаемая таким образом квазиоснова обозначает единицу смысла, соответствующую слову (или гнезду слов, встречающихся в дефинициях: «бол» — *болезнь, болезненный, болят, боль, больной, загад — загадка, загадывать, поздр — поздравить, подравление, гада — гадать, гадание, гадалка*. Подобный подход к кодированию семантической информации широко используется в прикладной лингвистике. Ю. Н. Караулов построил алгоритмы кодирования дефиниции, предусматривающий, в частности, следующие процедуры: внесение самого входного (толкуемого) слова в состав его собственных семантических множителей, устранение дублирования множителей в рамках одной и той же дефиниции, а также исключение нулевых множителей — «интуитивно кажущихся высоковероятными единиц» (с. 12), например: *явление, совокупность, место, величина, свойство*. Все эти правила и определяют состав рецензируемого словаря семантических множителей.

Рассматривая вопрос о применении частотного словаря семантических множителей, Ю. Н. Караулов прежде всего подчеркивает специфику частотного анализа метаязыка лексикографии по сравнению с более обычными задачами лингвостатистики, выявляя вместе с тем и определенное сходство между ними: «Совокупность дефиниций оказывается адекватной совокупности текстов, репрезентирующих язык в целом, тогда как одна дефиниция, строго говоря, не равна тексту, поскольку не существует дефиниций, превышающих по своей длине одно предложение» (с. 21). Это противоречивое свойство автор называет «эффектом словаря».

Основное внимание уделяется использованию частотного словаря множителей для разработки асимптотической модели связности как основы машинного составления тезауруса. По результатам пробных экспериментов Ю. Н. Караулов вводит селективный параметр, позволяющий оценивать семантические множители по их роли в распределении слов по семантическим полям. Таким параметром является частота на множестве дефиниций дескрипторов. Весь спектр таких частот эмпирическим путем разделяется на три зоны: 1) частота от 1 до 6 (зона релевант-

ности семантических множителей как показателей связи), 2) частота от 7 до 14 (зона релаксации), 3) частота от 15 до 69 (зона нерелевантности). Эти критерии дают, однако, в ряде случаев результаты, противоречащие интуиции; пути устранения подобных ошибок автор видит в улучшении селективного параметра, в развитии понятия «сила связи».

Указываются еще две области применения созданного словаря: он может служить вспомогательным материалом для лексикографа, способствуя упорядочению процесса составления дефиниций, и может также выступать в качестве «семантического ядра русской лексики», «источника порождения базового (оптимального) словника» (с. 27). Как показал предварительный эксперимент, список множителей дает при его развертывании 30 000 слов.

Из четырех инвентарей, приводимых в книге, два составляют основной корпус словаря, а два носят вспомогательный характер. Первый инвентарь — это список семантических множителей, расположенных по убыванию частоты. В него вошли лишь те множители (всего их 5526), которые встретились в дефинициях дескрипторов. Словарная статья (строка) содержит четыре зоны: порядковый номер (ранг), частота на массиве словника, частота на массиве дескрипторов, буквенная запись множителя. Упорядочение идет по частоте на массиве дескрипторов.

Второй инвентарь — это алфавитно-частотный список множителей. Он включает в се множители, встретившиеся в проанализированных дефинициях, и позволяет для любого из них определить его количественные характеристики.

Два вспомогательных инвентаря представляют собой каталог дескрипторов в алфавитном и систематическом (с разбиением по дескрипторным областям) виде. Читатель имеет возможность судить о степени охвата этими основными понятиями различных классов русской лексики.

Важным достоинством рецензируемой работы Ю. Н. Караулова является ее идейная насыщенность: в концентрированной и вместе с тем наглядной форме в ней дается целый ряд методологических и методических положений, намечающих, по существу, новые пути разработки научных основ лексикографии.

Инвентаризация семантических множителей русского языка осуществляется как органическая часть общей стратегии решения определенной практической задачи — создания тезауруса с помощью ЭВМ. Иabrанный путь ее решения отличается научной смелостью: естественная гипотеза об определении смысловой близости слов через сравнение их толкований проверяется на огромном противоречивом материале, тающем в себе множество «подводных камней».

Получающиеся результаты зачастую не укладываются в стройную схему, но все наблюдаемые отклонения явным образом представлены в книге и отражают реальные исследовательские поиски взаимосвязей между семантической и статистической структурами. Существенное

значение имеет принцип проведения пробных экспериментов и, в частности, идея сочетания обработки дефиниций с ассоциативным экспериментом. Автор точно указывает те моменты процедуры, которые опираются на интуицию, дополняющую применение формальных методов. Читатель получает наглядное представление о том, как соединяются «ручные» и автоматизированные операции при построении словаря. Отмечаются пути дальнейшей автоматизации отдельных этапов лексикографической деятельности (с. 32, 35 и др.).

Ю. Н. Караулов характеризует семантические множители как элементы «познавательного характера» (с. 4). И предложенный им условный метаязык показывает возможности экспериментального моделирования различных способов представления знаний, зафиксированных в лексике естественного языка [6]. Оригинальность приведенного в книге описания заключается в последовательном изучении эффективности максимально простых средств семантического анализа.

В рецензируемой работе, как и во всяком большом практическом деле, есть, разумеется, ряд дискуссионных моментов. На наш взгляд, слишком категорично подчеркиваются элементарность и универсальность семантических множителей (с. 4—5), тем более, что конкретное исследование автора демонстрирует возможность установления разного порога дробления компонентов и их определенную зависимость от специфики русской лексики (ср. огромное количество приставочных глаголов, используемых в дефинициях).

Нам представляется неоправданной также твердая вера в существование жесткого «селективного параметра» (с. 24—25): вряд ли целесообразно считать, что в лексико-семантической структуре языка имеется некий оптимальный уровень иерархии, на котором и строятся самые правильные семантические поля.

Остается не совсем ясным, как учитывается полисемия исходных слов (и на этапе обработки дефиниций, и на этапе установления связей между ними). Имеются случаи, когда многозначность остается неразрешенной и на уровне семантических множителей. Это сказывается на построении тезауруса, а также затрудняет использование словаря семантических множителей с другими целями. Так, именно благодаря многозначности множителя «налож» устанавливается ложная связь между *арестовать* и *заплата* (с. 23).

На наш взгляд, требует также уточнения алгоритм кодирования семантических множителей: хотя при формировании квазиоснов и сделано существенное укрупнение единиц толкования, все же остались случаи излишнего дробления (например, 15—8 «берег», 1—0 «побереж» и 1—2 «прибреж»). Не вполне обоснованным представляется утверждение о «семантической опустошенности» так называемых «нулевых множителей» (с. 22, 30, 32—33). Их следует, может быть, называть избыточными и более обстоятель-

но подвергать семантическому анализу [ср. 7].

Что касается статистической стороны словаря, то она испытала на себе влияние ряда прикладных решений, связанных с принятой методикой построения тезауруса. На статистику повлияли особая процедура обработки дефиниций дескрипторов (отличная от процедуры обработки прочих слов), решение вносить само исходное слово в состав его собственных семантических множителей, применение отрицательных трансформаций и другие моменты. В целом же количественные данные достаточно точно характеризуют дефиниционный аспект толкового словаря. И еще одно замечание терминологического характера: термин «дескриптор» широко используется в информатике для обозначения класса ключевых слов, приравняемых друг к другу по смыслу в рамках определенной информационной задачи. Поскольку такое понимание явно отличается от принятого в концепции Ю. Н. Караулова, то целесообразно было бы употреблять в книге другой термин.

Расценивая данную работу как фундаментальный результат в лексикографии, считаю необходимым наметить некоторые пути ее опосредованного и комплексного использования.

На основе опубликованных данных мы можем получать новые списки семантических множителей, упорядочивая их по другим количественным показателям. Во-первых, здесь надо подчеркнуть, что, помимо частоты на массиве дескрипторов, существенный интерес представляет частота на массиве словника (ср.: 2—5 «гибк», 19—5 «наблю», 28—5 «изда», 35—5 «учеб»). Во-вторых, особенно важна, на наш взгляд, общая дефиниционная активность (совокупно по дескрипторам и словнику). Произведенный нами подсчет показывает, что по этому показателю наиболее активные множители будут упорядочены следующим образом: 183—52 «дви» (235), 180—47 «часть» (227), 181—41 «врем» (222), 160—60 «друг» (220), 180—38 «мест» (218), 161—47 «действ» (208), 112—67 «раст» (179), 107—66 «животн» (173), 129—43 «обшес» (172), 102—69 «зем» (171), 136—33 «направ» (169), 137—21 «работ» (158), 101—51 «жи» (152), 91—59 «чел» (150), 91—53 «поверхн» (144).

Рецензируемый словарь позволяет получать, далее, количественные характеристики для разнообразных укрупненных семантических множителей с последующим изучением их статистического распределения. Это прежде всего обобщение данных, касающихся словообразовательных коррелятов, морфем и их сочетаний. Возможно укрупнение данных и для собственно семантических группировок множителей. Наш подсчет показывает, что условный синонимический ряд *желать, хотеть, стремиться, мечтать, жаждать, возжелеть, желанье, воля, стремление, желанный, долгожданный* и т. д. имеет общую частоту 152 (и по дескрипторам, и по словнику). Семантическое поле основных цветообозначений характеризуется показателем 176, причем его члены упорядочиваются по своей дефиниционной активности следующим об-

разом: «бел», «красн», «сер», «черя», «зел», «желт», «син», «голуб». а оранжевый, коричневый и фиолетовый цвета в дефинициях вообще не встретились. Изучение материала в указанном направлении позволит описать семантно-квантитативную структуру словаря множителей.

Работа Ю. Н. Караулова составляет серьезную основу для сопоставления в будущем метаязыков разных толковых словарей, что важно и само по себе, и в плане определения того, насколько модель семантической связности словарного состава зависит от используемого толкового словаря.

Словари семантических множителей — это необходимая эмпирическая база для поисков оптимальных решений при построении семантических сетей и формул в задачах «искусственного интеллекта». Без подобных словарей невозможно исследовать и проблему универсальности семантических мимонетов.

В заключение отметим, что применение методики Ю. Н. Караулова при проведении подобных работ в будущем допускает совершенствование в нескольких направлениях. Во-первых, в плане отбора исходной лексики (с учетом различных общезыковых словарей-минимумов, а также лексики функционально-стилистических сфер общения и специальных подязыков). Во-вторых, по линии совершенствования предварительной обработки метаязыков дефиниций (здесь полезно учесть например, такие факты: часто отсутствие каких-либо слов в дефиниции обусловлено внешними обстоятельствами или просто случайностью; чем больше толковый словарь по объему, тем активнее в его дефинициях используются синонимы; появление в дефиниции того или иного члена словообразовательного гнезда часто зависит от морфологических, синтаксических или стилистических причин). В-третьих, полезно исследовать иные пути установления связей между исходными словами (скажем, можно предварительно не фиксировать дескрипторы, попытаться учесть совместную встречаемость множителей в дефиниции, использовать методы измерения смысловой близости, сложившиеся в информатике, психолингвистике, практике «контент-анализа»).

Авторская концепция построения тезауруса нашла практическое воплощение в работе 1982 года («Русский семантический словарь. Опыт автоматического построения тезауруса: от понятия к слову»), которая была подвергнута критическому анализу на совместном заседании Советов Института языкознания и Института русского языка АН СССР 20 сентября 1983 г. Большинство участников дискуссии отметило принципиальную перспективность данного направления в автоматизации лексикографических исследований. Были предложены конкретные пути их дальнейшего развития. Недостатки «Русского семантического словаря» в его вышедшем виде послужили предметом критического отклика, опубликованного в «Правде» [8]. Многие из этих недостатков изданного тезауруса, прежде всего неточности в определении смысловых

связей слов, были выявлены и в ходе упомянутого выше обсуждения.

Резюмируя наш разбор, можно констатировать, что рецензируемая работа представляет собой определенный шаг в многотрудном становлении экспериментального подхода к семантике и лексикографии. Ее конкретный результат — это множество семантических элементов, достаточных для описания десятков тысяч русских слов. Это существенный вклад в создаваемый машинный фонд русского языка.

Городецкий Б. Ю.

ЛИТЕРАТУРА

1. West M. Definition vocabulary. Toronto, 1935.
2. Kiss G., Armstrong C., Milroy R., Piper J. An associative thesaurus of

English and its computer analysis.— In: The computer and literary studies. Edinburgh, 1973.

3. Osgood C. E., May W. H., Miron M. S. Cross-cultural universals of affective meaning. Urbana — Chicago — London, 1975.
4. Марчук Ю. Н. Вычислительная лексикография. М., 1976.
5. Андрющенко В. М. Автоматизированные лексикографические системы.— В кн.: Теоретические и прикладные аспекты вычислительной лингвистики. М., 1981.
6. Коршунов А. М. Отражение, деятельность, познание. М., 1979, с. 188—198.
7. Laffal J. A concept dictionary of English. Essex (Connecticut), 1973.
8. Дерягин В. Учить ли ЭВМ писать с ошибками.— Правда, 1983, 27 сент.

Clauson G. An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish. Index. Vol. I — Szeged, 1981, XI + 342 p.; Vol. II — Szeged, 1981, 261 p. (Studia Uralo-Altica, N 14—15)

Вышедший в 1972 г. в Оксфорде «Этимологический словарь тюркского языка до XIII в.» известного английского тюрколога Дж. Клосона (1891—1974) [1] получил высокую оценку со стороны тюркологов (см., например, [2]). Однако этот словарь с довольно сильным креном в сторону истории слов имеет весьма своеобразное расположение лексического материала — почти исключительно по одним согласным, к тому же без их противопоставления по глухости—звонкости и лишь при достаточно схематическом учете гласных, что навевает характерными особенностями старинных тюркских письменностей семитского и индоиранского происхождения, где гласные в составе слова часто обозначались непоследовательно и обычно неоднозначно. Это обстоятельство, хорошо известное специалистам по истории тюркской письменности, обычно затрудняет пользование словарем для нетюркологов, которые недостаточно хорошо знают своеобразие этих старых тюркских письменных систем. Были высказаны настоятельные пожелания о необходимости составления указателя к этому весьма информативному этимологическому и историческому словарю. Два тома строго алфавитных указателей составлены по инициативе известного венгерского тюрколога А. Рона-Таша в Сегедском университете имени Агтлы Йожефа с помощью вычислительных машин.

В первом томе содержится один строго алфавитный общий список из 10 842 словарных единиц, представленных в качестве заголовчных и их вариантов в словаре Дж. Клосона (в том числе 203 ошибочно выделенных издателями и исследователями тюркских текстов, 792 вторичных единицы в 2069 ссылочных, а остальные 7778 единиц представляют собой независимые словарные единицы). Среди них 3664 глагола. В общем алфавитном указателе-списке, кроме отсылки к соответствующим страницам словаря,

дается итоговая лапидарная индексная этимологическая справка о каждом слове: особыми однобуквенными латинскими индексами указывается его производный (D — derived), сложный (C — compound), заимствованный (F — foreign), вторичный (S — secondary) или даже ошибочный (E — erroneous) характер. Гапаксы, которых много в словаре Дж. Клосона и которые всегда вызывают подозрения в их достоверности, в отдельную группу не выделены. Для слов с неясным чтением (по консонантизму и вокализму) отмечается их филологическая ненадежность (U — uncertain). В случае неясности этих характеристик слово по соответствующим параметрам получает индекс X. Исконные корневые тюркские слова, как и в самом словаре Дж. Клосона, никакими индексами не снабжаются. Следует учесть, что в указатель включены лишь заголовчные слова, извлеченные Дж. Клосоном из письменных памятников до XIII в. Параллели из более поздних памятников и из современных тюркских языков, показывающие распространение этимологизируемых слов в тюркском языковом мире, в указателе не представлены. Это обстоятельство, конечно, затрудняет использование словаря для наведения этимологических справок по словам современных тюркских языков и требует создания указателя тюркских слов из современных языков, которые фигурируют в словаре Дж. Клосона. Сомнительное в каком-либо отношении вариантное чтение отдельных слов из письменных памятников заключается в скобки с отсылкой к более вероятному чтению, которое дается без скобок средствами современного турецкого алфавита на основе латиницы. Фактически количество этимологических словарных статей в словаре Дж. Клосона гораздо меньше, чем можно судить на основании рецензируемого указателя, поскольку самостоятельную нумерацию получили чисто отсылочные слова, а также варианты прочтения, ко-

торые у Дж. Клосона даны рядом с заголовочными словами, если имелась возможность иного прочтения.

В конце тома даются дополнения, а также уточнения отдельных неточностей, допущенных в ходе составления общего алфавитного указателя.

Во втором томе издания содержится ряд специализированных указателей, где слова из первого тома представлены в разных отдельных списках: 1) обратный словарь корней (с. 3—42); 2) обратный словарь производных слов (с. 44—119), список словообразовательных элементов и окончаний был перечислен в самом словаре Дж. Клосона; 3) списки производных слов по различной фонетической структуре их корней, по комбинациям гласных и согласных звуков в составе корня (с. 121—201); 4) основы с интервокальным согласным *ə* (с. 203—206); 5) основы с долгим гласным первого слога (с. 208—217); 6) слова с неустановленным чтением (индекс U) (с. 219—230); 7) сложные слова (индекс C) (с. 232); 8) слова вторичного по семантике характера (индекс S) (с. 234—242); 9) заимствованные слова (индекс F) (с. 244—250); 10) ошибочно выделенные слова (индекс E) (с. 252—256). Во всех этих указателях второго тома допускаются упрощения алфавитного порядка в сторону различия долгих и кратких гласных.

Кроме указателя слов из современных тюркских языков, о необходимости которого речь уже шла, также было бы желательно составить указатель слов из тех языков, которые заимствовали от турков те или иные слова. Не менее желательным было бы указание тех источников, которые послужили для обогащения тюркского словарного состава, т. е. приведение списка или списков слов из разных языков, которые были источни-

ками обогащения тюркского словаря и вошли в состав тюркской лексики до XIII в. Столь же полезным был бы и особый указатель тюркских слов, вошедших в качестве заимствований в другие языки. Но подобные указатели требовали бы более подробной разработки содержания всей словарной статьи, а не только ее начальной части, что можно было бы обеспечить лишь при значительном усложнении всей программы машинной обработки материала и что потребовало бы гораздо большего времени.

Благодаря этой сложной системе имеющихся в рецензируемом издании указателей тюркологи получили весьма удобный универсальный ключ к «Этимологическому словарю» Дж. Клосона, являющийся своеобразным аспектом словаря, что обеспечивает более глубокое изучение древнетюркской лексики в различных аспектах и более удобное наведение справок по древнетюркскому словарю.

В конце второго тома издания также опубликован общий хронологический список печатных работ Дж. Клосона с 1906 по 1975 гг., насчитывающий 71 публикацию: книги, статьи, рецензии (с. 255—261).

Добродомов И. Г.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Clauson G. An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish.* Oxford, 1972.
2. *Щербак А. М.* — СТ, 1972, № 6. — Рец. на кн.: *Clauson G. An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish.* Oxford, 1972.

Studies in Chuvash Etymology. I. Ed. by Róna-Tas A. — Szeged, 1982. 240 p.

Все статьи рецензируемого сборника, за исключением заметки А. Берты, уже были опубликованы в малодоступных для широкого читателя изданиях или на таких языках, как венгерский и турецкий, что тоже явилось естественным барьером для знакомства с ними.

Однако объединение статей под одним заглавием было вызвано не только желанием сделать их содержание достоянием всех лингвистов. Основная цель составителя сборника — очертить круг проблем, постановка и поиски решения которых необходимы в связи с коллективной работой советских и венгерских языковедов над «Этимологическим словарем чувашского языка» [1]. Естественно, что материалы одного сборника, который, судя по его заглавию, является первым в задуманной серии исследований, точно так же, как статьи аналогичного по замыслу труда, изданного почти одновременно в Чебоксарах [2], отражают лишь часть во-

просов и тем, возникающих в чувашской этимологии.

Авторами рецензируемого сборника вносится вклад в осуществление трех важных исследовательских задач: в нем дается позитивная критическая оценка результатов прежних исследований по чувашской этимологии; на конкретном языковом материале демонстрируются методические приемы выявления заимствованной лексики чувашского словаря и, наконец, рассматриваются некоторые результаты взаимодействия родственных языков в Волжском регионе.

Первая исследовательская задача выполняется в статье турецкого языковеда Х. Эрена «Заметки об Этимологическом словаре чувашского языка В. Г. Егорова» [3], в которой автор, высоко оценивая значение этой книги, предлагает ряд важных дополнений и уточнений примерно к 95 словарным единицам. Эти дополнения не сводятся лишь к привлечению новых языковых

фактов и библиографических сведений (см., например, разбор словарных статей *yäpar, kantär, piršän, šänäx, kälmač, ulma, xıran* и мн. др.) или уточнению структурного анализа слова (например, *kävakał, kävar, käykär*). Принципиально важной является постановка вопроса о хронологических пластах чувашской лексики, о критериях определения заимствований из других тюркских языков, главным образом татарского.

Разбирая ряд словарных статей, Х. Эрен показывает, опираясь на фонетические признаки, что слова, приводимые в словаре В. Г. Егорова как чувашские параллели к тюркским лексическим соответствиям, например, *kašäk, yämran, salma* и др., заимствованы из татарского языка. Однако сам Х. Эрен порой, как нам кажется, несколько упрощает анализ заимствованной лексики чувашского языка. Так, видимо, относя чуваш. *kuš* «глаз» и *ruš* «голова» к татаризмам, он обходит молчанием некоторые фонетические проблемы, возникающие при такой интерпретации чувашских слов (*kuš < küz*, но *ruš < baš*) и иные подходы к их этимологизации [например, 4, 5]. Небесспорна и этимология *šiläx* «грех», предлагаемая взамен также неубедительной у В. Г. Егорова.

Этимологии этнонима *bulyar* посвящена статья ныне покойного венгерского языковеда академика Ю. Немета, много сделавшего для изучения болгаро-венгерских языковых связей и исторической фонетики чувашского языка [6]. В этой статье на основании обобщения новых данных, в том числе и материалов высоко оценяемого автором «Древнетюркского словаря» [7], доказывается, что имя *bulyar* образовано от глагола *bulya* «мутить, возбуждать недобровольно, сеять смуту» и означало «мятежник, смутьян», а не «смешанный», как предполагалось ранее в ряде работ.

Той же цели — обобщению и оценке прежних результатов этимологических исследований — отвечает приложенная к сборнику «Избранная библиография к будущему этимологическому словарю чувашского языка», тщательно составленная А. Мольнаром. Она же, видимо, призвана выполнять роль отсылочной библиографии, но в этом качестве, к сожалению, содержит некоторые лакуны: в нее не включены работы Серейса, Майрхофера, Конкашпаева.

Заемствованная лексика чувашского словаря анализируется в статьях А. Рона-Таша «Заемствования явно среднемонгольского происхождения в чувашском» и А. Рона-Таша и К. Реден «Протопермские и удмуртские заимствования в чувашском языке». В статье А. Рона-Таша ставятся несколько проблем, имеющих важное значение не только для чувашской этимологии (источники, хронология и возможные посредники монгольских заимствований), но и для исторической фонетики чувашского, татарского, среднемонгольского и, опосредствованно, марийского языков (относительная хронология таких фонетических явлений марий-

ского языка, как $\delta > s$, $s > \delta$, $r > \phi$, и соответствий лугового \bar{a} к горному \bar{a} и лугового o к горному a). В начале статьи подчеркивается важность изучения монгольских элементов (в том числе заимствований среднемонгольского периода) тюркских языков Поволжья — татарского, башкирского и чувашского. Делая обзор исследований, где в том или ином объеме затрагивалась проблема монгольско-тюркских связей, А. Рона-Таш справедливо отмечает, что при констатации соответствий языковедами не ставился вопрос о месте и времени тюркско-монгольских контактов. Примечательно, что даже Г. И. Рамstedт [8] и Н. Поппе (в ранних работах) отрицали исторические контакты чувашского и монгольского языков. Позднее Н. Поппе отметил ряд монгольских заимствований в чувашском, но не определил их возраст и условия освоения.

На основе исторических данных автор устанавливает самую раннюю временную границу проникновения монгольских заимствований в волжские кыпчакские языки — конец 30-х годов XIII в. и отмечает, что прямое языковое влияние монголов, вероятно, уже было незначительным в конце XIV в., но необходимо учитывать длительность распространения монгольских слов среди населения Золотой Орды. А. Рона-Таш указывает, что средневековые монголизмы могли попасть в чувашский язык как непосредственно, так и через кыпчакские языки. Он предполагает также возможность посреднической миссии в отношении чувашского языка другого болгарского диалекта, реальность существования которого наряду со средневековым предком чувашского он допускает, опираясь на ряд фонетических особенностей болгаризмов венгерского, пермских и кыпчакских языков и на ряд своеобразных лексем современного чувашского языка (например, *šakan* и **šakan* бот. «рогоз», восходящие к **šeken* и **šeken*).

Далее в статье проанализированы 29 среднемонгольских слов, заимствованных в чувашский и кыпчакские языки Поволжья, а часть из них через тюркское посредство и в марийский язык. Некоторые монголизмы выявлены впервые (например, монг. *yoigan* ~ чуваш. *xüxëm* «красивый», *sayı* ~ *sayä* «хороший»); каждый монголизм обстоятельно проиллюстрирован данными письменного монгольского языка, средневековых источников, современных монгольских языков, исследованы особенности его адаптации в тюркских языках. Анализ каждого слова, по сути дела, представляет почти завершенную статью этимологического словаря. Лишь в отдельных случаях к ней можно сделать незначительные дополнения. Так, слово *narat* «сосна» известно не только в карачаево-балкарском, но в кумыкском и караимском; тюркское соответствие венг. *kbris* «ясень» встречается, кроме чувашского и карачаевского, в турецких диалектах, кумыкском, ногайском и азербайджанском языках; помимо кирг. *say* «хороший», существует туркм. *say* «здоровый, сильный, видный». *Uram* ~ *oram* «улица; квартал» имеет

широкое распространение в тюркских языках [9], в кумык. *ogat*, кроме того, «условный знак, сигнал» (ср. калм. *ort* «след, отпечаток»). Эти данные, как нам кажется, иллюстрируют протяженность лексических изоглоссы, а она показательна при определении путей распространения слова. Возможно, следует выделить монгольско-волжскокыпчакско-чувашино-лексические изоглоссы, монгольско-западнокыпчакско-чувашино-лексические изоглоссы (не случайно в целом ряде сопоставлений автор отмечает наличие лексем в *So dex e Cumanicus'e*) и монголизмы, получившие более широкое распространение в тюркских языках.

В статье А. Рона-Таша и К. Редех, являющейся продолжением более ранних публикаций тех же авторов о болгаро-пермских контактах [10], но имеющей уже своим объектом удмуртские и реже протопермские элементы чувашского словаря, рассмотрены 22 лексемы. Статья интересна тем, что в ней сделана на основе фонетических признаков попытка трактовать ряд слов, традиционно относимых к заимствованиям из марийского языка, как удмуртские по происхождению (*äät, säj, šet* и др.). В ряде случаев авторы не отрицают альтернативной возможности заимствования: из удмуртского или марийского (например, *väj*). Иногда чувашский язык является посредником для проникновения слова из удмуртского в марийский (например, удм. *šam* → чуваш. → марийск.). Авторы показывают распространение каждого удмуртского или протопермского заимствования и в других тюркских языках Волжского региона — татарском и башкирском, приводят почти исчерпывающие сведения об изучении его истории. Наши дополнения касаются лишь частных деталей иллюстративного материала. Так, в башкирских говорах встречается *längäs* «четырёхлитровый деревянный сосуд», *länkäs* «бадья», в татарских *längäc* и *längäc* «деревянная кадка для соли; посуда для хранения меда», которые, судя по акустичному *-c* (башк. *-s*, тат. *-c* < *-c̣*) восходят не к удмуртскому прототипу. В башкирских говорах представлены еще следующие фонетические варианты слова *mış* «лось»: *mışij, bişij, pöşij*. Туркм. *meleş* «рябина», видимо, завлеченное из русско-туркменского словаря, изданного в 1929 г., не отражено в современных лексикографических справочниках, в том числе специальном справочнике названий растений [12], в татарских и башкирских диалектах имеется вариант *mäläs* и в чувашском говоре *püleš*. Не совсем ясно, почему чуваш. *vič* и *voj* «сила» нельзя рассматривать как внутрдиалектные соответствия *vij* и *väj*.

Проблема языковых связей тюркских языков Поволжья отражена в статьях А. Рона-Таша «Несколько волжско-булгарских слов в волжско-кыпчакских языках» и «Три волжско-кыпчакских этимологии». К ним по содержанию примыкает и заметка А. Берты «Два волжско-булгарских заимствования в языке крещеных татар».

В первой статье А. Рона-Таша подчеркивается, что до настоящего времени язы-

коведы уделяли мало внимания изучению булгарских лексических элементов в татарском и башкирском языках. Автор предлагает читателям предварительные результаты своих исследований в этой области. Принципиально важно, что анализ булгаризмов татарского и башкирского языков позволил А. Рона-Ташу выявить дополнительные данные о существовании двух диалектов в языке волжских булгар: *j*- и *š*-диалекты. В статье проанализировано 16 слов, зафиксированных в татарских говорах, два из них по признаку начального *j*-относятся к *j*-диалекту, остальные к *š*-диалекту, при этом субститутом булгарского *š*- в татарском выступает *š*-. Всего автором выявлено в кыпчакских языках Поволжья свыше ста лексических единиц, относящихся, по его мнению, к волжскобулгарскому фонду.

В число булгаризмов, вероятно, ошибочно, включено тат. устар. *šura* «совет», которое восходит к арабско-перс. *šurā*, в статью *širman* можно было бы внести тат. диал. форму с метатезой *širman*.

Проанализированная в статье лексика, общая для тюркских языков Поволжья, демонстрирует сложные этногенетические процессы, происходившие в этом регионе: имели место заимствования из булгарских диалектов, из финно-угорских языков через болгарское посредство; в чувашском языке болгарское слово могло сохраняться или утрачиваться и замещаться кыпчакским вариантом. Автор выделяет семь разновидностей таких взаимоотношений между языками. Для датировки булгарских заимствований в кыпчакские языки автор, помимо фонетических критериев, дающих опору для относительной хронологии, использует и показания булгарской эпиграфики. В одном из авторских примечаний к статье он предлагает в качестве критерия для периодизации кыпчакских заимствований в чувашском языке три разновидности репрезентации начального слога *ka-*: *ku-*, *ka-* и *ka-*.

Интересна и вторая статья А. Рона-Таша, где он доказывает булгарское происхождение трех религиозных терминов татарского языка: *izge* «священный, святой», *böü* «амулет, талисман» и *täre* «крест». При этом автором допускается возможность трактовки *izge* как наследия литературной традиции, что кажется нам более достоверным. К сведениям о талисманах добавим, что в кумыкском встречается в этом значении *bitik* и в башкирских говорах *böđöj*.

В статье А. Берты на основании наличия аналогичного *š*- вместо закономерных *j*- и *s*- в двух диалектных татарских словах *šöklan*-«похищение» и *širt* «резец плуга» доказываются их булгарское происхождение. Автор привлекает большой сравнительный материал из современных тюркских языков и убедительно показывает, что рассматриваемые им татарские диалектизмы восходят к **šuklan-* и **širt* < **širt* (< прототюрк. *širt* «спина» → «обух ножа, меч» → «резец плуга»). Хотелось бы обратить внимание автора статьи на башк. диал. *širt* «предплужник», семантика которого совпадает со вторым зна-

ченнем чуваш. *širt* «резец» (часть сохи); предплужник». В связи с этим возникает вопрос, не могли ли быть заимствованы татарский и башкирский диалектизмы из современного чувашского языка. Кроме того, вероятно, следовало бы рассматривать *širt* как обозначение части плуга в системе других названий: плуг, отвал плуга, лемех.

Сборник статей венгерских языковедов не только сообщает интересные результаты конкретных исследований, но выдвигает новые идеи и гипотезы, побуждающие к дальнейшим размышлениям в области тюркского сравнительного языковедения в целом и особенно чувашской этимологии. Поэтому хочется надеяться, что за первым выпуском сборника скоро появятся следующие.

Левитская Л. С.

ЛИТЕРАТУРА

1. Инструкция и пробные статьи «Этимологического словаря чувашского языка». Чебоксары, 1980.

2. Исследования по этимологии чувашского языка. Чебоксары, 1981.
3. Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964.
4. *Róna-Tas A. Bevezetés a csuvas nyelv ismeretébe.* Budapest, 1978.
5. *Doerfer G. Bemerkungen zur Methodik der türkischen Lautlehre.* — OLZ, 1971, Bd. LXVI, 7/8.
6. *Hungaro-Turcica. Studies in Honour of Julius Németh.* Budapest, 1976.
7. Древнетюркский словарь. Л., 1969.
8. *Ramstedt G. J. Zur Frage nach der Stellung des Tschuwassischen.* — JSFOu, 1922—1923, t. XXVIII.
9. *Севортян Э. В.* Этимологический словарь тюркских языков. М., 1974.
10. *Rédei K., Róna-Tas A. A permi nyelvek ősermi kori bolgár-török jövevényszavai.* — NyK, 1972, 74.
11. *Rédei K., Róna-Tas A. A bolgár-török-permi érintkezés néhány kérdése.* — NyK, 1975, 77.
12. *Никитин В. В., Кербабаев Б. Б.* Народные и научные туркменские названия растений. Ашхабад, 1962.

Носенко И. А. Начала статистики для лингвистов. М.: Высшая школа, 1981. 140 с.

Применение количественных методов в лингвистических исследованиях, ведущихся как в теоретическом плане, так и с целью решения прикладных задач, как правило, требует использования аппарата математической статистики. Получило развитие новое направление в языковедении (его называют лингвостатистикой или квантитивной лингвистикой), связанное с использованием статистических методов исследования. Оно нашло широкое признание особенно за последнее десятилетие в связи с возросшим участием лингвистов в решении различных задач информатики. Составление словарей и частотных словарей, построение дескрипторных информационно-языковых и тезаурусов, разработка вероятностных подходов к машинному переводу, исследование языка и стиля документов различных жанров и т. п. — это далеко не полный перечень направлений лингвистических работ, в которых в той или иной мере используются статистико-вероятностные методы исследования и обработки языковых данных. Советское языковедение накопило достаточно большой опыт и располагает рядом фундаментальных работ во всех этих областях [1—7]. Вместе с тем в настоящее время ощущается большая потребность в учебной литературе по лингвостатистике. В связи с этим весьма своевременным и полезным представляется выход из печати рецензируемой книги И. А. Носенко, существенно восполняющей пробел в специальной математической литературе для широкого круга языковедов — от исследователей языка до специалистов по прикладным информационным задачам. Иными словами, данная книга представляет действительно

учебное пособие для языковедов разного уровня подготовки: студентов, аспирантов, преподавателей языковых факультетов, лингвистов-исследователей.

Рецензируемая книга находится в русле существующих лингвостатистических работ, и ее достоинство, в отличие от предшествующих изданий по лингвостатистике, состоит в том, что она не перегружена ни математическим, ни лингвистическим материалом, содержит лишь тот минимум (а именно, основания статистики и необходимые комментарии по их приложению к обработке лингвистического материала), который необходим для начала самостоятельной работы в этой области. Можно утверждать, что данное издание нашло своего читателя, т. к. оно доступно для лингвиста, не имеющего специальной математической подготовки, а изложение основ математической статистики ориентировано специально на применение к лингвистическим проблемам. Автору удалось не только изложить основные понятия и разделы статистики, но и показать, где, в каких случаях и как применять их в практике лингвистических работ. Этой целевой установкой соответствует и композиция книги.

Сначала автор вводит основные понятия математической статистики (гл. 1), затем раскрывает цели и порядок организации лингвистических исследований (гл. 2), и лишь после такого «введения» переходит к изложению основного содержания книги. Следует отметить при этом удачное построение основной части работы. В книге изложены действительно необходимые для лингвиста разделы математической статистики (гл. 3—8): вычисление выбо-

рочной средней, вычисление стандартного отклонения, распределение вероятностей случайной величины, обработка результатов статистического обследования, проверка статистических гипотез, корреляция и регрессия. Завершается работа главой, содержащей элементарные сведения по лексикостатистике, образующей относительно самостоятельную область квантитивной лингвистики (гл. 9).

Наряду с известным в лингвостатистике аппаратом математической статистики, в книге содержится и много новых и интересных с точки зрения специалиста (и лингвиста, и математика) моментов. Так, впервые в литературе по лингвостатистике для оценки различий между стилями используется метод К. Чекановского. То же можно сказать о применении геометрического распределения с сопоставлением его с законом Пуассона (с. 63—64), орнентировочной оценке объема репрезентативной выборки с использованием геометрического распределения (с. 75—76), применении коэффициента концентрации (с. 77—81) и т. д. О внимании автора к возможностям потенциального читателя говорит и тот факт, что для уменьшения чисто математических трудностей для лингвистов он предлагает свой упрощенный вывод формулы ранговой корреляции Спирмена (с. 119—123).

В условиях ограниченного объема работы автору удалось соблюсти систематичность изложения основ математической статистики, преодолеть те трудности, которые обычно возникают при написании книги, предназначенной для читателя, не имеющего специальной подготовки. Язык изложения лаконичен, точен и четок.

В целом данная работа в полной мере соответствует своей цели — она может служить хорошим учебным пособием для языковедов широкого профиля и различного уровня подготовки, стремящихся овладеть основами математической статистики и ее использования в своей профессиональной деятельности.

Единственное, чего явно не хватает в книге — это более полного и систематического изложения лингвистической проблематики, требующей для своего решения применения статистических методов. Так, можно было бы раскрыть возможности использования закона Ципфа при типологических сопоставлениях текстов равного объема и одинакового содержания на разных языках с целью выявления статистико-типологических характеристик языков. В случае обследования текстов на одном языке это дает возможность выявления типологии функциональных стилей, подъязыков, идиомов и т. д. Ничего не говорится о применении лингвостатистики в исследованиях по семантике, которые связаны как с чисто языковедческой проблематикой, так и с задачами ин-

формационного поиска, автоматического индексирования и реферирования документов и т. п. Вообще приложение статистического аппарата к задачам информатики (а они связаны с обработкой текстов) как-то выпало из поля зрения автора. Неплохо было бы показать и ограниченность применения только количественных методов в решении ряда лингвистических и прикладных задач, и необходимость их сочетания с другими методами, в том числе и математическими.

Следует заметить, что эта полезная книга издана слишком небольшим тиражом, что явно не соответствует имеющейся потребности в такой литературе: подобная книга нужна не только лингвистам, но и студентам и преподавателям ряда других гуманитарных дисциплин. Поэтому было бы желательно переиздание книги в дополненном виде. При этом можно было бы включить в нее краткое изложение основных концепций и положений советских и зарубежных ученых (в частности, ученых Всесоюзной группы «Статистика речи») по вопросам лингвостатистики, а также систематическое изложение круга лингвистических проблем, требующих применения количественных методов. Кроме того, целесообразно было бы расширить последнюю главу о лексикостатистике, которая в данном варианте в основном посвящена интерпретации закона Ципфа, хотя в действительности здесь можно было бы показать и специфические задачи лингвистики и методы их решения.

В заключение следует отметить, что студенты, преподаватели и аспиранты языковых факультетов вузов получали давно ожидавшуюся книгу, которая может быть и учебным пособием, и настольной книгой исследователя-языковеда.

Мкртчян Г. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Алексеев П. М.* Статистическая лексикография. Л., 1975.
2. *Андреев Н. Д.* Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языковедении. Л., 1967.
3. *Бектаев К. Б., Пиотровский Р. Г.* Математические методы в языковедении. Алма-Ата, 1974.
4. *Богданов В. В.* Статистические концепции языка и речи. — В кн.: Статистика речи и автоматический анализ текста. Л., 1973.
5. *Головин В. Н.* Язык и статистика. М., 1971.
6. *Марчук Ю. Н.* Вычислительная лексикография. М., 1979.
7. *Орлов Ю. К.* Обобщенный закон Ципфа — Мандельброта и частотные структуры информационных единиц различных уровней. — В кн.: Вычислительная лингвистика. М., 1976.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 24 по 28 августа 1982 г. в Улан-Баторе состоялся IV Международный Конгресс монголоведов (МКМ)¹, в работе которого приняли участие ученые из 26 стран мира, а также представители ЮНЕСКО, ПИАК и Научной ассоциации по исследованию цивилизации Центральной Азии. Советскую делегацию возглавлял зам. директора Института востоковедения АН СССР В. М. Солнцев.

Президент АН МНР акад. Ч. Цэрэн, тепло приветствовавший делегатов и гостей, подчеркнул, что творческий обмен мнениями по наиболее важным проблемам материальной и духовной культуры монгольских народов будет весьма полезным и послужит укреплению научных контактов монголоведов разных стран. Участники форума с большим вниманием выслушали послание Председателя Президиума Великого Народного Хурала, Почетного члена АН МНР Ю. Цэдэнбаала делегатам и гостям IV МКМ.

Работа Конгресса проходила в трех секциях: А. История и экономика; Б. Язык и литература; В. Культура, искусство и философия. Официальными рабочими языками были монгольский, русский и английский. Всего было заслушано 163 доклада, из них на секции А было прочитано 53 доклада, посвященных вопросам истории, археологии, этнографии, экономическим и социальным проблемам строительства социализма в МНР. На секции Б был прочитан 61 доклад, в которых рассматривались вопросы изучения монгольских языков и диалектов, памятников письменности, истории монгольской литературы. На секции В было заслушано 48 докладов по истории культуры и философской мысли Монголии, искусствоведению; вопросам культурных связей монголов с другими народами.

На пленарном заседании с докладом «Актуальные проблемы монголоведения» выступил акад. АН МНР Ш. Нацагдорж, осветивший современное состояние монголистики как научной дисциплины и самостоятельной отрасли ориенталистики. Преобладающей тенденцией развития монголоведения, отметил докладчик, является расширение сферы исследований, увеличение числа научных центров, возрастание печатной продукции и текущей информации о Монголии.

¹ Программа Конгресса, включавшая научные, официальные и культурные мероприятия, была издана на четырех языках: монгольском, русском, английском и французском.

Неотъемлемой чертой современного монголоведения становится создание крупных коллективных трудов, охватывающих целые исторические периоды и сложный комплекс проблем общественной жизни МНР, постановка больших теоретических и практических задач, решение которых требует объединенных усилий в международном масштабе. В докладе указывалось на недостаточно полное и объективное освещение в трудах отдельных зарубежных монголоведов новейшего периода истории МНР, который характеризуется огромными социально-экономическими преобразованиями в жизни монгольского общества.

Заседание секции «Язык и литература» открылось докладом чл.-корр. АН МНР А. Лунсаяндэнава, который остановился на ведущих направлениях и перспективах развития филологической науки в МНР, вопросах сотрудничества с монголоведами других стран, прежде всего с учеными Советского Союза. В докладе отмечалось, что монгольская филология стала многоотраслевой и системной дисциплиной, теоретический уровень которой заметно возрос в последние годы. Учеными МНР выполнены крупные монографические работы по ряду важнейших проблем монгольской лексикологии, грамматики, диалектологии, истории языка и литературы.

Монгольские лингвисты приняли самое активное участие в работе филологической секции, предложив вниманию своих зарубежных коллег 12 докладов и сообщений.

Ц. Шагдарсүрэн ознакомил с деятельностью сектора терминологии Института языка и литературы АН МНР по совершенствованию терминосистемы современного монгольского литературного языка, опытом ее изучения и практикой составления специальных отраслевых словарей и бюллетеней. Г. Бадаан, критически пересмотрев точку зрения известных монголоведов на значение форм прошедшего времени монгольского языка, дал им более точную семантико-стилистическую и грамматическую характеристику. На необходимости введения в научный обиход монголистики понятий суперсегментной фонетики настаивал С. Момо. Раскрывая грамматические функции интонации, он придерживался того мнения, что интонация составляет признак всех синтаксических единиц, а знаки препинания выступают выраителями синтаксического значения. Ч. Лунсаянжав, обратившись к богатому лексикографическому наследию

монголов, рассказал о работе над толковым словарем монгольского языка. Затронув спорные вопросы монгольской лексикографии, автор изложил свой подход к расположению слов, принципам их перевода, словарной форме монгольского слова. Тенденцию к сокращению и вытеснению личных имен тибетского происхождения собственно монгольскими отметил Н. Жамбалсүрэн. Интересный и большой фактический материал был удачно классифицирован и сопровождался указанием ареала распространения отдельных имен. Автор сообщил о готовящемся к изданию Словаре монгольских личных имен тибетского происхождения.

Вопрос о новой транскрипции текста «Сокровенного сказания монголов» (XIII в.), имеющей важное значение для корректировки фонетико-фонологической системы древнемонгольского языка, обсуждался в докладе Т. Дагцагдана. О специфике научно-популярного стиля современного литературного монгольского языка говорилось в сообщении Ц. Сухбатара. Своими наблюдениями над типологией синтаксических конструкций монгольского и русского языков поделился С. Галсан. Диалектолог Ж. Цолоо информировал о состоянии и задачах исследования говоров, работая над Диалектологическим атласом монгольского языка.

Советские языковеды, представлявшие такие монголоведческие центры, как Москва, Ленинград, Улан-Удэ и Элиста, сделали 4 доклада. Сравнительный анализ данных современных монгольских литературных калмыцкого, бурятского, халхаского и бесписьменных маргинальных баоанского, дунсянского, монгорского, могольского и шира-югурского языков позволил П. Ц. Биткееву выявить типологические особенности в системе их вокализма. И. Д. Бураев посвятил свое выступление фонологическому и фонетическому аспектам сингармонизма в монгольских языках, указав на важность их разграничения и отдельного описания. Л. Д. Шагдаров рассмотрел языковые особенности монгольских и бурятских пословиц и поговорок, а также приемы создания яркой, национально выраженной образности. Г. Ц. Пюрбеев сообщил о процессах внешней и внутренней интернационализации современной монгольской терминологии, приведя факты ее количественного и качественного обогащения. Кроме этих прочитанных докладов, советскими монголоведами-лингвистами были представлены еще 4 доклада для опубликования их в материалах Конгресса. Авторами этих докладов являются А. А. Дарбеева, М. Н. Орловская, Э. В. Швернина и Е. А. Кузьменков.

Ученые ГДР информировали о подготавливаемом к печати «Монголо-немецком словаре» на 35 тыс. слов. В связи с этим Х. П. Фитце подробно остановился на проблемах статистики и эквивалентности единиц разных языков, указав на трудные случаи передачи семантики и грамматики слова в обоих языках. Г. Нагы проанализировала немецкие

глаголы ориентированного передвижения и дала их переводы на монгольский язык. На основе учета семантических компонентов структуры (семем) устанавливается общая формула классов значения (функторов). Данный подход позволяет вскрыть глубинную семантику этой тематической группы глаголов.

В докладе А. Рона-таш (ВНР) речь шла о критериях определения средневековых монгольских заимствований в тибетском, персидском и тюркских языках. По его мнению, необходимыми условиями для решения поставленной задачи являются учет истории и структуры заимствующих языков, диалектного членения монгольского языка XIII—XIV вв. и путей проникновения монгольского слова (устный, книжно-письменный) и другие языки.

Проблема генетических и типологических связей монгольского языка с другими языками (тюркскими, праидийскими, японским) ставилась на обсуждение в докладах Л. Болда (МНР), Я. Вацека (ЧССР) и Ш. Одзава из Японии. Семантический и формально-грамматический аспекты изучения монгольского предложения и словосочетания получили отражение в сообщениях Ж. Леграна (Франция), Генъити Абамацу (Япония), а также Б. Чулуундоржа и Г. Жамбалсүрэна из Монголии.

В коллективном докладе Р. Амайони и М. Беффа (Франция) сообщалось об изучении способов и средств лингвистического выражения пространственных категорий в монгольском языке. Другой французский ученый, А. Ригалофф, предложил вниманию присутствующих доклад на тему «Фонема — буква — слог». В его понимании «фонема — слог» — это две взаимосвязанные сегментные единицы, и фонема выявляется в составе слога.

7 докладов сделали японские лингвисты. Юдзо Канзава представил результаты сравнительного исследования гетерофонических повторяющихся слов в монгольском и японском языках. Парные слова были достаточно корректно описаны в отношении их формы и содержания. Харуо Хасуми обобщил свои наблюдения над особенностью структуры монгольских слов и пришел к заключению, что изменение огласовки влечет семантическую филиацию в рамках синонимичных пар типа *axap — oxop* «короткий, кудрый», *xasax — xasax* «сокращать, укорачивать, урезать». Микио Симидзу, основываясь на данных чахарского и халхаского диалектов, доложил об экспериментально-фонетических исследованиях в области монгольского ударения. Он считает монгольское ударение силовым, подвижным, зависящим от количества и качества слогов в слове. Хитоси Курибаяси изложил свою точку зрения на явление перелома гласного *i* в монгольском языке. Исследовав изменения, не подчиняющиеся строгим правилам, он заметил, что два типа или вида перелома *i* представляют два самостоятельных пути фонетического развития слов.

Частные вопросы языка «Сокровенного сказания монголов» рассматривались в докладах Масару Хасимото и Каталин Урай Кехалми (ВНР), носивших характер лингвистических комментариев по поводу употребления отдельных суффиксов, а также некоторых терминов и выражений с топонимическим значением.

Дж. Н о р б у (США), исследовавший монгольские заимствования в тибетском языке, на конкретных примерах из диалектов Восточного Тибета (лхасского и амдо) показал их социально-культурное значение. Он сделал вывод о том, что эти заимствования обладают большим социальным престижем, чем их тибетские соответствия, и восходят в своем большинстве к эпохе монгольской империи.

Д. Ж. С а н д е р с (Великобритания) в своем сообщении поднял вопрос о типах аббревиатур и способах образования сложносокращенных слов в современном монгольском языке.

Л. Х а р в и л а х т и (Финляндия) говорил о важнейших признаках монгольской паремии (параллелизм, изосемантность, стереотипность и т. д.). Согласно взгляду автора, язык является такой системой, которая порождает модели или стереотипные формулы, в рамках которой и осуществляется фольклорно-поэтическое творчество.

Т а л а т Т е к и н (Турция) сделал обзор алтайских этимологий, основанных на спорадических чередованиях. Используя материалы всех трех групп алтайских языков, особенное внимание он уделит тюркско-монгольским звуковым и лексико-семантическим соответствиям.

Подводя итоги работы секции «Язык

и литература», А. Л у в с а н д э н д э в и В. М. С о л н ц е в особо отметили, что круг обсуждавшихся лингвистических проблем был достаточно широким. Наряду с теоретическими обобщениями, были представлены новые факты и материалы, имеющие большую научную ценность. Вместе с тем ученые продемонстрировали новые методы и приемы исследования языковых данных.

Состоявшийся форум явился важным этапом в развитии мирового монголоведения. В докладах и сообщениях участников Конгресса отражены крупные научные достижения в разных отраслях монголистики. Конгресс признал необходимым расширять и углублять деятельность ученых различных стран по совместному изучению и публикации исторических и культурных памятников монгольских народов, координации научных исследований в области их языка, литературы и фольклора. С этой целью Постоянному комитету Конгресса поручено рассмотреть вопрос о создании специального журнала, на страницах которого могли бы обсуждаться актуальные вопросы монголоведения и алтаистики, проблемы истории центральноазиатского региона².

Конгресс прошел на высоком профессиональном и научно-теоретическом уровне, в атмосфере дружбы и творческих контактов.

Пюрбеев Г. Ц. (СССР), Болд Л. (МНР)

² См.: Олон улсын монголч эрдэмтний IV их хурлын ерөнхий тогтоомж (Общий протокол IV Международного Конгресса монголоведов). Улаанбаатар, 1982.

21—25 сентября 1982 г. в Ереване состоялся II Международный симпозиум по армянскому языку и науке с участием лингвистов СССР (Москва, Ленинград, Ереван, Тбилиси, Баку) и зарубежных стран (Болгарии, Польши, Франции, Бельгии, Голландии, США, ФРГ). Было представлено 104 и прочитано 88 докладов¹, многие из них имели общетеоретический характер. Симпозиум по широте охвата проблем и привлечению данных других индоевропейских и неиндоевропейских языков выходил за пределы собственно интересов арменистики. Достаточно отметить, что на I Международном арменистическом симпозиуме (США, 1979) было прочитано всего 25 докладов (см. ВЯ, 1980, № 4).

Рабочими языками симпозиума были армянский, русский, английский, немецкий и французский.

¹ К началу симпозиума были опубликованы тезисы запланированных докладов: «Международный симпозиум по армянскому языкознанию», Ереван, 1982 (на армянском, русском и английском языках, объемом 8,5 п.л. каждый выпуск).

В своем вступительном слове вице-президент АН АрмССР акад. А. Р. И о а н н и с я н приветствовал участников симпозиума, указав, в частности, на его роль в укреплении международных научных связей. Пленарное заседание открылось докладом акад. АН АрмССР Э. Б. А г а я н а «Развитие и общественная роль современного армянского языка», подчеркнувшего, что расцвет духовной культуры армянского народа и широкое развитие общественных функций его языка стали возможными лишь после Октябрьской революции и являются примером торжества ленинской национальной политики.

Всего на пленарных заседаниях было прочитано 15 докладов, связанных по содержанию с проблематикой, поставленной на секционных заседаниях. Последних было три — по сравнительной грамматике, по истории армянского языка и по современному армянскому языку. Для большей наглядности изложения весь материал симпозиума сгруппирован нами по проблемам и подается с некоторыми отклонениями от секционных программ.

Наиболее обширной на симпозиуме

была секция по сравнительной грамматике, где, кроме тем, связанных собственно с компаративистикой, обсуждались вопросы ареальных связей армянского языка с генетически неродственными языками Кавказа и Передней Азии, вопросы субстрата, древней мифологии и культурно-исторических связей региона. Анализируя результаты контактов и двустороннего взаимодействия, авторы выявляли не только значение окружающих языков для армянского, но также и вклад последнего в указанные языки.

В докладах по сравнительному изучению фонетической системы армянского языка много внимания было уделено системе консонантизма, чередованиям гласных, особенностям их развития. Т. В. Г а м к р е л и д з е (Тбилиси) заострил внимание на интерпретации системы древнеармянского консонантизма в свете индоевропейской «глоттальной теории», указав на близость армянской системы смычных к исходной, и.-е. системе. Нясности в генезисе армянских придыхательных *p', t', k'* Д ж . Г р е п п и (США) объяснил недостаточной изученностью корней, служащих основой для решения этого вопроса. Он рассмотрел свой доклад как реальную попытку их упорядочения. Некоторые фонетические уточнения (рефлексy и.-е. **u*, отражение древнеиранского дифтонга *ai* в армянском) предложил Д ж . Б о л о н ь е з и (Италия) в докладе «Вопросы этимологии и фонетики армянского языка», также указав на необходимость критического пересмотра существующих этимологий. Выступив на тему «Общеиндоевропейский и армянский консонантизм», О. С. Ш и р о к о в (Москва) показал, что данные армянского языка позволяют реконструировать в и.-е. 6 типов биконсонантных морфосиллабем, обладающих тремя тонами и признаком глухоты/звонкости. А. А. Х а ч а т р я н (Ереван) говорила о природе звонких придыхательных в армянских диалектах. Экспериментальные данные показали зависимость их сценификации от особенностей последующей гласной. В выступлении Б. А. О л с е н (Дания) «О развитии интервокального *w* в классическом древнеармянском языке» вскрываются условия и особенности развития этой фонемы. Рассматривая систему нумераций в армянском языке, В. В и н т е р (ФРГ) наблюдаемые здесь фонетические отклонения трактует как доказательство генезиса грабара из различных диалектов и подязыков протоармянского. А. Е. Х а ч а т р я н (Ереван) рассматривает некоторые древние явления чередования гласных в армянских диалектах, выявляя источники их происхождения. А. Н. А н е я н (Ереван) сделал вывод о том, что *y* в грабаре не был строго палатальным звуком «йот» и противопоставлялся *h* по признаку звонкости. М. А. А г а б е к я н (Ереван) исследовала ударение в доисторическом периоде развития армянского языка и связанные с ним звуковые изменения.

Компаративистами были выдвинуты как вопросы и.-е. морфологии, так и лекси-

кологии. В докладе К. Х. Ш м и д т а (ФРГ) «Индоевропейские основы древнеармянского глагола» на основе синхронного среза выделяются два диалектных ареала — индо-иранско-греко-фригийско-армянский и хеттско-анаатолийский и две системы по вертикальной оси — протоиндоевропейский, рассматриваемый как эргативный, и индоевропейский — как номинативный. Вычленив протоармянский, автор далее показал последовательно трансформации, происшедшие в его глагольной системе. Э. Х э м п (США) остановился на проблеме архаичных явлений в именном склонении армянского языка. Он выдвинул идею о том, что фонетически сильно трансформированные языки обнаруживают консерватизм в морфологии, так как фонологический и морфологический консерватизм находятся в состоянии обратной пропорциональности. Отметив архаичность падежных флексий армянского, несмотря на отпадение конечного и.-е. слога, Ф. К о р т л а н д (Голландия) восстановил древнейшую систему всех падежных флексий в период, предшествующий апокопе. На основе дистрибуции косвенных форм слова *mi* «один, некий» (*miou, miut* по сравнению с *miot*) в древнеармянских памятниках, М. В а й т е н б е р г (Голландия) обнаружил следы древней родовой дифференциации в протоармянском. Э. Г. Т у м а н я н (Москва) выявила общие принципы трансформации и вычленила армянского языка как и.-е. из первоначальной и.-е. общности. Процесс этот увязывается с изменением акцентного статуса в протоармянском.

Историко-этимологические проблемы затрагивались в ряде выступлений. В докладе Г. Б. Д ж а у к я н а (Ереван) «Об этимологических дублетах армянского языка» анализировались лексические параллели, возникшие в связи с изменениями, характерными для всех звеньев армянского консонантизма. Их источниками могут быть диалекты, заимствования, ареальные и др. варианты. А. А. А с м а н г у л я н (Ереван) заострила внимание на историко-этимологическом изучении терминов родства армянского языка и предложила новые этимологии с привлечением диалектных данных, что важно для уточнения ареального положения армян и принципов их древней родовой организации. Остановившись на одной армяно-славяно-тохарской инновации, Л. А. С а р а д ж е в а (Ереван) подтвердила мнение о том, что причастия на **i* являются диалектной инновацией в указанных языках.

Вяч. Вс. И в а н о в (Москва) представил анализ структуры древнеармянского текста мифологической песни. Мифопоэтическое толкование некоторых армянских слов он связал с фактами хеттского и других и.-е. языков. Проблемы сравнительной мифологии в связи с интерпретацией имени армянского божества Ваагна были подняты в докладе Р. Я к о б с о н а (США), зачитанном К. Поморска. Д ж . Р а с с е л (США) в докладе «О древнеармянской религии» на основе анализа дохристианской ар-

мянской лексики пришел к заключению, что древняя армянская религия является самостоятельной разновидностью зороастризма.

Вопрос о роли и.-е. корней в армянском был освещен В. А. К о с я н о м (Ереван), который показал, что частотность их употребления составляет 69%, заимствованной же лексики — 12%. Новые этимологии были предложены: А. Г. П е р и х а н я н (Ленинград) для слова *hagh-wan* «сосед» и Л. Г. Г е р ц е я б е р г о м (Ленинград) — для слова «Армения». В докладе Д. М. И о б а (ФРГ) «Семантические изменения в армянском языке» предложена модель исторического изменения группы слов, начиная от грабара, с привлечением также и лорийского диалекта. Ф. М а в е (Бельгия) были показаны особенности распределения функций местоименных частей в армянском по отношению к и.-е. праязыку и к другим и.-е. языкам, с таблицей соответствий.

Характерной чертой симпозиума было широкое обсуждение проблем двусторонних связей армянского языка с языками Кавказа, Передней Азии, Балкана и др. В докладе «К вопросу о палеокавказских субстратных отложениях в индоевропейском армянском языке» А. С. Ч и к о б а в а и Л. К. С а н и к и д з е (Тбилиси) отметили, что показания системы и факты истории армянского языка весьма ценны для иберийско-кавказского языкознания. История армяно-удинских контактов освещалась В. Л. Г у к а с я н о м (Баку). Влияние армянского языка отразилось на фонетическом, грамматическом и лексическом уровнях удинского языка. Об армянских лексических элементах в азербайджанском и грузинском языках доложили соответственно Г. А. Б а г и р о в (Баку) и Р. К. Г о р г а д з е (Тбилиси). Опираясь на данные анализа порядка букв армянского и агванского алфавитов, С. Н. М у р а в ь е в (Москва) высказал предположение о возможности уточнить с их помощью характер звуков древнеармянского и древнеудинского языков. Об армяно-балканских контактах говорилось в докладе Э. С е л я н а (Болгария) «Армянская топонимика в Болгарских Родопах». А. Ю. Р у с а к о в (Ленинград) отметил недостаточную изученность албано-армянских взаимоотношений. В докладе Р. Б. Ф и н а ц ц и (Италия) показаны особенности влияния греческого на армянский и состояние двух языков в период контакта. Н. А. М к р т ч я н (Ереван) представил результаты исследований аккадских земельдельческих терминов в армянском языке.

Значительное число докладов было посвящено армяно-иранским контактам, хронологии отложившихся в языке иранизмов, их характеру. В докладе М. Л е р у а (Бельгия) «Иранские заимствования в именном словосложении классического армянского языка» большинство иранизмов датировано I—IV вв. н. э. Р. Ш м и т т (ФРГ), исследовавший слои и типы иранской ономастики у древнеармянских историков, предложил собственную структурно-типологическую

классификацию. Л. Ш. А в а н е с я н (Ереван) изложил принципы исследования иранизмов и их хронологическую классификацию. О некоторых вопросах фонетики новых персидских заимствований в армянских диалектах доложил А. П и с о в и ч (Польша).

Ряд докладов был посвящен выявлению сравнительно-типологических параллелей между армянским и другими языками. В докладе М. Н. Б о г о л ю б о в а (Ленинград) «Типологические параллели конструкций древнеармянского перфекта переходного глагола» на материале ряда языков была высказана мысль о спонтанном развитии подобных конструкций в условиях бесподлежащего предложения. Конструкции с пассивным причастием рассматривались и В. Ш м а л ь с т и г о м (США), с проведением типологических параллелей между армянским и литовским языками. В докладе М. М. С а х о к я н (Тбилиси) «Именная посессивная и глагольно-посессивная (эргативная) конструкция в древнеармянском языке в свете проблем синтаксической типологии» приводятся параллели между древнегрузинским и древнеармянским языками. А. Г. М а р т и р о с о в (Тбилиси) представил сопоставительно-типологическое исследование некоторых аналогичных, схожих грамматических явлений древнеармянского и древнегрузинского языков, например, трехступенчатость указательных местоимений, общность ряда словообразовательных суффиксов и др.

На секции истории армянского языка обсуждались прошлые этапы его развития — древнеармянский, среднеармянский диалекты, а также проблемы периодизации языка; уточнялась хронология памятников, предлагались различные текстологические исследования и толкования переводных и оригинальных, зачастую неопубликованных памятников.

Так, В. Д. А р а к е л я н (Ереван) затронул вопрос о классическом периоде в развитии армянского языка. Докладчик отметил необоснованность выделения «классического» (до 460 г.) и «постклассического» (после 460 г.) периодов в развитии древнеармянского языка. Л. С. О в с е п я н (Ереван), касаясь периодизации истории древнеармянского языка, отметила, что понятие «классический» и «постклассический» — это два направления в обработке языка. А. Н. М у р а д я н (Ереван), рассматривая вопросы хронологии грекофильской школы, отнесла время ее деятельности к середине V в. Ф. Ф е й д и (Франция) в докладе «Относительное предложение в древнеармянском языке» выявил причину нерегулярного употребления артикла с относительным словом в придаточном предложении. С. М. А н т о с я н (Ереван) анализировал историческое развитие способов выражения пассива в армянском, показав процесс их унификации в современном языке. К. К о к с (Канада) доложил об употреблении причастия будущего в армянском переводе Пятикнижия для образования будущего времени вместо более обычных форм сослагательного наклонения. О принци-

пах и задачах создания Диалектологического атласа армянского языка сообщил О. Д. Мурадян (Ереван), отметив возникающие при этом трудности ввиду распыленности диалектов. М. А. Мурадян (Ереван) на основе метода внутренней реконструкции дала географическую классификацию малоизученных диалектов среднеармянского периода, хронологию их развития.

Вопросы текстологического исследования памятников армянского языка рассматривались в ряде докладов. Так, Р. Томсон (США) представил историко-филологический анализ памятника VIII в. — армянской версии Дионисия Ареопагита. М. ван Эсбрёк (Бельгия), исследовавший структуру содержания Мущского Тонакана (рук. № 7729, XIII в.), отметил значение памятника для истории армянского языка. Показав наличие множества иранских, арабских, турецких, грузинских, монгольских заимствований в колофонах армянских рукописей, А. Г. Санджян (США) сделал вывод о значении колофонов для изучения заимствований. По мнению Б. Л. Чукасяна (Ереван), неопубликованный тюркско-армянский словарь Егип Мущегяна (Карнеци) — XVIII в. — содержит ценные сведения о турецких диалектах первой половины XVIII в., на которых общались представители торговых кругов Кавказа и Ирана, а также малоизвестные данные по лексике армянского языка. Об армянском средневековом словаре философских терминов и понятий доложил А. Терян (США). К. Н. Юзбашян (Ленинград) вынес на обсуждение подготовленный им для публикации текст словаря языка руштуни в армянской рукописи из собрания ИВ АН СССР. В. Г. Амбарцумян (Ереван) дал структурно-семантическую характеристику терминов риторики на грабаре в XVIII—XIX вв. Д. И. Сливняк (Ереван) рассмотрел закономерности распределения частей речи в средневековых четверостишиях — айренах. С. В. Гюльбудагян (Ереван) доложил об изменениях, происшедших в армянской орфографии в ходе эволюции языка. История армянского языкознания была представлена докладами А. С. Абрамяна (Ереван) и Г. К. Мирзояна (Ереван).

На симпозиуме широко обсуждались проблемы современного армянского языка, синхронного изучения его грамматического строя, лексики, фонетики и синтаксиса. Выявлялись также взаимоотношения двух литературных вариантов — западного и восточного — друг с другом, с одной стороны, и с диалектами, с другой. Н. А. Парянсян (Ереван) определила основные тенденции развития новоармянского языка, начиная со второй половины XIX в., выражающиеся в направленности его грамматического строя к упрощению и универсализации. Вопрос о ранних памятниках новоармянского языка, принципах их разграничения был поднят в докладе Р. Ишханяна (Ереван). О. Х. Барсегян (Ереван) остано-

вился на анализе категории времени в современном армянском языке и предложил систему наименований, основанную на семантических признаках. О категории результатива доложила Н. А. Козинцева (Ленинград). Структурный анализ падежной системы представил Ж.-П. Маэ (Франция) в докладе «Функциональные грамматические падежи в современном восточноармянском языке». Затронув некоторые вопросы терминологии, С. Г. Абрамян (Ереван) показал наиболее продуктивные способы образования терминов. О естественно-научной терминологии в журнале «Юсисапайл» (1858—1864) рассказал Е. М. Татевосян (Ереван). Фразеология, типология фразеологизмов рассматривалась в выступлениях Х. Г. Бадикиана (Ереван), М. О. Хамояна (Ереван), глагольные словосочетания — в докладе Р. Л. Урутиана (Ереван). Общую характеристику армянских фамилий дал Т. М. Аветисян (Ереван). Достижения армянской лексикографии в годы советской власти осветил А. М. Сукьясян (Ереван). Сопоставительно-типологическому изучению разных уровней двух литературных вариантов армянского языка были посвящены доклады А. Е. Саркисяна (Ереван), А. Н. Кюркчяна (Ереван), С. В. Гукасяна (Ереван). М. Е. Асатрян (Ереван) показал взаимоотношения восточноармянского литературного языка и араратского диалекта. В докладе А. М. Арамян (Ереван) содержался дистрибутивный анализ смычных фонем литературного языка. Корни с начальным сибилантом описаны Н. Г. Саганелидзе (Тбилиси). Р. М. Тохмахян (Ереван) дал обзор экспериментально-фонетических исследований в Армении.

Вопросы синтаксиса рассматривались в докладах Н. А. Меликян (Ереван), определившей порядок слов в армянском как переменный, и Б. К. Казаряна (Ереван), который предложил классификацию повторов и замен. В. М. Григорян (Ереван) доложил о принципах построения описательной грамматики армянского языка. Л. Зеккиан (Италия) остановился на проблеме устойчивости армянского языка в «западной диаспоре» армян. О. Л. Закарян (Ереван) представил современную языковую ситуацию в г. Ереване в социалингвистическом освещении. Определенный выход в прикладную лингвистику имел коллективный доклад С. Стоянова, В. Цветкова, Э. Селяна (Болгария) на тему «Лингвистические проблемы рукописной и машинной стенографии на армянском языке».

На заключительном пленарном заседании были подведены итоги работы симпозиума, заслушаны отчеты руководителей секций. От имени участников со словами благодарности в адрес организаторов выступили чл.-корр. АН СССР М. Н. Боголюбов и Д. Ж. Греннин. В заключительном слове акад. АН АрмССР Г. Б. Джаукян, указав на положительную роль

симпозиума в развитии армянского языкознания как в нашей стране, так и за ее пределами, в укреплении международных научных контактов, констатировал актуальность, теоретическую и практическую ценность обсужденных на нем проблем.

В итоговом документе была отмечена необходимость наладить периодическую информацию об исследованиях, выпол-

няемых по арменистике в различных лингвистических центрах страны и за рубежом. Было также решено в подкрепление складывающихся традиций следующий симпозиум по армянскому языкознанию провести в ближайшие два-три года.

Туманян Э. Г. (Москва), Григорян Э. А. (Ереван)

20—22 сентября 1982 г. в Самарканде проходила IV научная конференция «Актуальные проблемы русского словообразования», организованная Самаркандским пед. ин-том им. С. Айни.

Конференцию открыл зам. министра просвещения Узбекской ССР Н. Р. Рахманов.

В работе конференции приняли участие ученые более 70 учебных заведений и научных учреждений из 11 союзных республик (Узбекистана, РСФСР, Белоруссии, Украины, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении, Молдавии, Литвы, Латвии) и ряда автономных республик, областей (Башкирии, Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии, Адыгеи и др.). Среди них такие ведущие «словообразовательные» научные центры нашей страны, как Институт русского языка АН СССР, Институт языкознания АН СССР, Университет Дружбы народов, МГУ, ЛГУ, ТашГУ, Самаркандский и Ивано-Франковский пед. ин-ты, и др.

Узбекистан на конференции был представлен 17 учебными заведениями. Из 130 участников конференции почти половина докладчиков — это ученые из Узбекистана. 22 доклада подготовили организаторы конференции — ученые самаркандского центра словообразования, успешно разрабатывающие ряд актуальных теоретических и прикладных проблем дериватологии.

На этот раз в центре внимания участников самаркандской конференции по актуальным проблемам русского словообразования были комплексные единицы словообразовательной системы — словообразовательные цепи, словообразовательные парадигмы и словообразовательные гнезда. Проблематика конференции включала важные теоретические вопросы: семантическое и формальное устройство комплексных единиц системы словообразования; морфология словообразовательных цепочек, парадигм, гнезд; роль и место комплексных единиц в системной организации словообразования; связь словообразования с другими уровнями языка — лексикой, синтаксисом, типология комплексных единиц словообразования; принципы составления словообразовательных, морфемных, толковых словарей гнездового типа, гнездовых толковых автономических словарей и др.

На пленарных и секционных заседаниях конференции было заслушано и обсуждено более 130 докладов и сообщений.

На пленарных заседаниях выступили А. Н. Тихонов, Д. Н. Шмелев, О. М. Ким, Л. А. Новиков, Ф. А. Краснов, Е. С. Кубрякова, И. А. Ширшов, Т. А. Кильдибекова.

В докладе А. Н. Тихонова (Москва) «Проблемы изучения комплексных единиц системы словообразования» были рассмотрены вопросы системной организации словообразования, роль и место в этой организации комплексных единиц, состояние и перспективы их изучения.

Доклад Д. Н. Шмелева (Москва) «Проблемы деривационного анализа и синтеза» был посвящен определению содержания двух фундаментальных понятий методики исследования словообразования — «деривационному анализу» и «деривационному синтезу», характеристике их особенностей, целей и задач, стоящих перед ними.

О. М. Ким (Ташкент) выступила с докладом «„Отраженная“ омонимия в словообразовательных гнездах». По ее мнению, «изучение явления отраженной омонимии, объяснение его природы и порождения должно идти от предварительного семантического анализа СГ; формальные же признаки либо отталкиваются от него, либо привязываются к нему. Семантическое устройство словообразовательного гнезда в первую очередь зависит от того, в какую ЛСГ входит вершинное слово СГ».

Проблемы разграничения лексического и словообразовательного значений рассматривались в докладе Л. А. Новикова (Москва) «Некоторые вопросы словообразовательной семантики». «Словообразовательное порождение языковых единиц, — отметил докладчик, — имеет в своей содержательной основе не простое „однолинейное“ присоединение формантов (их „сложение“, сумму), а логическую конъюнкцию („умножение“, произведение) составляющих: семантика производного (мотивированного) слова представляет „произведение“ значений составляющих, потенциально — „пербор“ всех возможностей, из которых только одна или несколько оказываются в языке нормативно реализуемыми».

Ф. А. Краснов (Фрунзе) в докладе «К проблеме идентификации морфем» остановился на «односторонне физической», «односторонне функциональной» конвенциях отождествления языковых единиц. Докладчик пришел к убедительному выводу: «Ни односторонне физическая, ни односторонне функциональ-

ная концепция не в состоянии описать сложный характер языковой структуры. Выход, по-видимому, следует искать в построении концепции, основанной на двусторонней идентификации знаковых единиц». Материальная природа языка вызывает необходимость идентифицировать его единицы с точки зрения их акустического тождества, семиотическая — с точки зрения функционального тождества. В таком случае неизбежно выстроится двойной ряд лингвистических единиц, отражающих структуру морфемного устройства языка. При этом в функциональные единицы обобщаются те же самые морфы, что лежат в основе единиц физического обобщения, но они по-другому организуются, иначе структурируются.

С докладом «Ономасиологические характеристики комплексных единиц словообразовательной системы» выступила Е. С. Кубрякова (Москва). Докладчица подчеркнула, что «самой сложной и самой многообразной в своих реализациях является в системе словообразования такая комплексная единица, как производное слово» и потому ономасиологическая характеристика системы словообразования в первую очередь предполагает описание производных слов в терминах номинации. В связи с этим Е. С. Кубрякова охарактеризовала способы словообразования как «способы организации определенных номинативных полей», определила роль ономасиологического базиса и ономасиологического признака в производном слове. При этом она отметила важность понятия «ономасиологического предиката, ономасиологической связки, которая характеризует тип отношений между базисом и признаком и конкретизирует его».

Доклад И. А. Ширшова (Грозный) «Словообразовательная цепь и явление полимотивированности» был посвящен изучению явления нейтрализации в словообразовании. По его мнению, «семантическая нейтрализация неконечных суффиксов формирует в языке полимотивированные образования с одним лексическим значением, но с варьирующейся словообразовательной структурой». Полимотивированность свойственна многим словообразовательным цепям, а проблема исследования глубинных семантических процессов, в частности семантической нейтрализации, является одной из самых актуальных».

Т. А. Кильдибекова (Уфа) в докладе «Словообразовательные пары активных/пассивных глаголов в русском языке» рассмотрела функциональное содержание возвратных глаголов, употребляющихся в трехчленных и двучленных конструкциях.

На конференции работало 5 секций. На секции «Словообразовательные гнезда» выступили: Р. Г. Каруиц (Самарканд) «К специфике словообразовательных гнезд глаголов звучания»; Г. А. Багдасарова, Л. А. Телегин (Самарканд) «Глаголы движения как база словообразования в современном русском языке»; Т. Л. Берковиц (Москва) «К вопросу о типологии словообразовательных гнезд»; Е. Л. Гинзбург

(Москва) «Типология словообразовательных гнезд»; Г. С. Чинчлей (Кишинев) «Словообразовательные и деривационные гнезда»; И. Г. Галенко (Львов) «Словообразовательные гнезда в лингвистической терминологии русского языка»; С. А. Емельянова (Гродно) «О глагольных антонимических словообразовательных гнездах в современном русском языке» и др.

В сообщениях А. Д. Чолаковой (Самарканд), С. М. Саидовой (Андижан), А. С. Пардаева (Самарканд), А. Ж. Умурзаковой (Алма-Ата), Р. С. Гильмановой (Алма-Ата), Р. А. Кдырбаевой (Алма-Ата) и др. рассматривались конкретные типы словообразовательных гнезд, роль гнезд в системной организации лексики, семантическая и формальная структура словообразовательного гнезда и другие проблемы, связанные с изучением этой комплексной единицы системы словообразования.

Большой интерес вызвали доклады, прочитанные на секции «Словообразовательная цепь и словообразовательная парадигма»: Р. М. Гейгера (Омск) «Структурно-семантические отношения в словообразовательной цепи и вопрос о потенциальных словах»; М. В. Кнута и городской (Москва) «К вопросу о формально-семантических отношениях слов в словообразовательной цепи»; С. А. Тихонова (Москва) «Структура словообразовательных цепочек глаголов звучания»; А. Д. Зверева (Черновцы) «О словообразовательных парадигмах в русском языке»; Л. П. Клобуковой (Москва) «Структура вершины словообразовательной парадигмы русского прилагательного»; А. Ш. Алтаевой (Алма-Ата) «Словообразовательные парадигмы сложных существительных»; Т. С. Морозовой (Москва) «Отражение валентностей производящего глагола производными разных частей речи»; Р. А. Ряснянской (Самарканд) «Словообразовательная парадигма существительных с суф. -изм» и др.

На конференции большое внимание было уделено обсуждению проблем словообразовательной семантики. Впервые в традиции самаркандских конференций была организована специальная секция «Словообразовательная семантика». На ней были обсуждены доклады, посвященные семантике гнезда: Г. Н. Плотникова (Свердловск) «К вопросу о мотивационных отношениях производных слов в словообразовательном гнезде»; Е. Я. Шмелева (Москва) «Семантическая соотносительность имен деятеля в словообразовательном гнезде»; Н. К. Воловик (Фрунзе) «Отраженная глагольная синонимия в современном русском языке»; А. А. Казюкевич (Гродно) «Производные транспозиции в составе словообразовательного гнезда» и др.

В ряде докладов рассматривались вопросы лексикографирования производных слов: Л. А. Хачатурова (Самарканд) «Семантизация производных слов — одна из важнейших проблем лексикографии»; Л. А. Телегин (Самарканд) «К проблеме лексикографического

отражения отношений синхронной производности» и др.

Разнообразные аспекты словообразовательной семантики были объектом анализа в докладах Л. К. Жавалиной (Алма-Ата), Н. А. Вороновой (Москва) и др.

Большое внимание на конференции было уделено проблемам использования комплексных единиц системы словообразования в учебных целях. На секции «Методика изучения словообразования в вузе и школе» выступили: М. Ш. Шехичаева (Нальчик) «Изучение управления русских слов через словообразовательные цепочки и гнезда в национальной школе»; Л. В. Вознюк (Тернополь) «Работа со „Школьным словообразовательным словарем русского языка“ А. Н. Тихонова при изучении словообразовательных цепочек в 5 классе»; Р. К. Касенова (Алма-Ата) «Обогащение словаря учащихся в процессе словообразовательной работы с учетом структурно-семантических отношений однокоренных слов» и др.

Впервые в традиции самаркандских конференций работала самостоятельная секция «Словообразовательной морфологии». С содержательными докладами здесь выступили: Н. Е. Ильина (Москва) «Единство позиционного подхода к описанию морфологических чередований»; Г. Я. Упфал (Ангрен) «Словообразовательные чередования и ступени словопроизводства»; А. Ф. Жу-

равлев (Москва) «Проблема формальной вариантности слова и словообразовательное гнездо»; Л. Р. Байгильдина (Самарканд) «Омонимия глаголов с приставкой *по-* в современном русском языке» и др.

На заключительном пленарном заседании были заслушаны отчеты руководителей секций. Выступавшие отметили, что на конференции обсуждались актуальные теоретические проблемы словообразования. Комплексные единицы словообразования, играющие важную роль в его системной организации, были впервые обстоятельно рассмотрены с семантической и формальной точек зрения. Интересные научные концепции и плодотворные идеи, обсуждавшиеся на конференции, будут способствовать дальнейшему развитию общей теории деривации. Материалы конференции изданы в специальных сборниках (1 т. «Актуальные проблемы русского словообразования. Сборник научных статей» — Ташкент, 1982, 470 с.).

Участники конференции выразили сердечную признательность ректорату, коллективу кафедры русского и общего языковедения Самаркандского пед. ин-та за хорошую организацию работы конференции.

Пятую научную конференцию «Актуальные проблемы русского словообразования» решено провести в Самаркандском пед. ин-те в 1985 г.

Тихонов А. П. (Москва)

8—10 сентября 1982 г. в г. Уфе прошла IX региональная конференция по диалектологии и тюркских языков¹. Она была созвана в соответствии с решением VIII региональной конференции (Нукус, 1979) Советским комитетом тюркологов при Отделении литературы и языка Академии наук СССР, Институтом истории, языка и литературы Башкирского филиала АН СССР и Башкирским гос. университетом им. 40-летия Октября.

В работе конференции приняли участие тюркологи-диалектологи городов Алма-Аты, Ашхабада, Баку, Бухары, Горно-Алтайска, Грозного, Елабуги, Казани, Коканда, Кызыла, Кзыл-Орды, Кировабада, Ленинграда, Махачкалы, Москвы, Нальчика, Нахичевани, Новосибирска, Нукуса, Самарканда, Ташкента, Ургенча, Уфы, Фрунзе, Чебоксар и др. городов. В президиуме конференции — зав. отделом науки и учебных заведений Башкирского обкома КПСС А. М. Азнабаев, организаторы конференции — проректор БашГУ М. Ф. Гайнуллин, директор Института истории, языка

и литературы Башкирского филиала АН СССР Х. Ф. Усманов, декан филологического факультета БашГУ М. В. Зайнуллин, старейшина тюркологов-диалектологов акад. АН АзССР М. Ш. Ширалиев, видные диалектологи ряда союзных республик.

Работа конференции проходила на двух пленарных заседаниях и в пяти секциях и подсекциях — «Историческая диалектология», «Лингвистическая география и вопросы языковых контактов», «Вопросы современной диалектологии», «Диалекты и литературный язык», «Ономастика и диалектология». Вузский учебник по диалектологии. Всего на конференции было прочтано более 110 докладов и сообщений.

Первое пленарное заседание открыл председатель Оркомитета IX конференции М. Ф. Гайнуллин. Результаты, достигнутые тюркской диалектологией за три года, прошедшие после VIII региональной конференции, были освещены в коллективном докладе М. Ш. Ширалиева (Баку) и заместителя председателя Советского комитета тюркологов Э. Р. Тенишева (Москва). За этот период вышли в свет крупные монографические исследования диалектов и диалектологические сборники по азербайджанскому, башкирскому, казахскому, кумыкскому, татарскому, узбекскому и другим тюркским языкам. В тюркоязычных

¹ К началу конференции были опубликованы тезисы запланированных докладов: «IX конференция по диалектологии тюркских языков. Тезисы докладов и сообщений». Уфа, 1982, 165 с. (7 уч.-изд. л.)

республиках и областях продолжается интенсивная работа по фронтальному описанию диалектов и говоров, лингвогеографическому изучению тюркских диалектов, развивается диалектная лексикография тюркских языков. Все это создает благоприятные предпосылки для успешных сравнительных изысканий в области диалектологии и для тюркского сравнительно-исторического языкознания в целом.

Интенсивное экономическое и социальное развитие, прогресс культуры и науки в союзных республиках за истекшее 60-летие с момента образования Союза Советских Социалистических Республик, а также процессы сближения национальных культур и науки в обществе развитого социализма позволили тюркологам-диалектологам развернуть работу над таким уникальным фундаментальным трудом, как «Диалектологический атлас тюркских языков СССР» (далее — ДАТЯ СССР).

Подробно о завершающем этапе работы над ДАТЯ СССР рассказала Е. И. Убрятова (Новосибирск), выступившая с докладом «Состояние и перспективы исследований тюркских диалектов Сибири».

Атлас создается по единой методике с участием диалектологов всех тюркологических научных центров страны. Работой руководит комиссия во главе с акад. АН АзССР М. Ш. Ширалиевым, научный консультант по картографированию — М. А. Бородина. Председатель Советского комитета тюркологов акад. А. Н. Кононов осуществляет непосредственный контроль за работой над этой первой в истории науки попыткой свести воедино и положить на карту данные всех тюркских языков Советского Союза. В соответствии с проводимой координацией работы заключительный ее этап — сведение собранных материалов в таблицы, картографирование полученных данных — ведут диалектологи Новосибирска (ИИФиФСО АН СССР) Е. И. Убрятова и Н. Н. Широкова. В настоящее время закончено составление пробного тома ДАТЯ СССР. На повестке дня — вопросы, связанные с профессиональным картографированием и финансированием издания ДАТЯ СССР.

Работа над завершением ДАТЯ СССР помогла тюркологам-диалектологам Сибири поставить и приступить к решению новой задачи — составлению первого регионального атласа — «Диалектологического атласа тюркских языков Сибири».

Достижениям и проблемам изучения киргизских, узбекских, башкирских диалектов были посвящены доклады акад. АН КиргССР Б. О. Орузбаева и, акад. АН УзССР Ш. Ш. Шаабдурахманова, Н. Х. Максютовой (Уфа).

Актуальные проблемы диалектной лексикологии тюркских языков были освещены в докладах К. М. Мусаяева (Москва), чл.-корр. АН КазССР А. Т. Раидарова, чл.-корр. АН АзССР Э. И. Будаговой. Чл.-корр. АН КазССР Г. С. Садыкасов рассказал о недавно опубликованном в КНР уйгурском переводе средневекового диалектного словаря тюркских языков «Дивану л-дугат

ит-турк» Махмуда Кашгарского. Диалектному синтаксису был посвящен доклад И. А. Андреева (Чебоксары).

Диалекты являются живым источником истории тюркских языков; изучение диалектных черт, обнаруживаемых в средневековых тюркских текстах, с позиций комплексного подхода к ним обогащает историческую диалектологию. Этот круг вопросов трактовался в докладах Ф. Р. Зейяловой (Баку), М. З. Закиева (Казань), Д. Г. Тумашевой (Казань), И. Г. Добродомова (Москва), Л. А. Покровской (Ленинград), В. Л. Гукасяна (Баку), М. И. Исламова (Баку), Н. Х. Ишбулатова (Уфа). На секции этой тематики были посвящены доклады Р. Х. Халиковой (Уфа), Ф. Хакимзянова (Казань), А. Юлдашева (Ташкент), А. Рустамова (Ташкент).

Практическое применение диалектологических атласов тюркских языков при уточнении литературных норм того или иного языка показал в своем докладе Л. П. Сергеев (Чебоксары). О разветвляющемся изучении диалектов и говоров каракалпакского языка приемами лингвистической географии рассказал Д. С. Насыров (Нукус), об изоглоссировании в «Диалектологическом атласе киргизского языка» — Г. Бакинова (Фрунзе). На роли картографирования при выработке критериев, определяющих объективность диалектного членения узбекского языка, остановился А. Шерматов (Ташкент). Перспективы развития тюркской диалектологии на ближайшие десятилетия, включающие в себя составление региональных диалектологических атласов Поволжья, Кавказа, Средней Азии и подразумевающие налаживание регионального координирования в диалектологических исследованиях, обсуждались в докладе Э. Р. Тенишева и Г. Ф. Благовой (Москва).

Большое число докладов и сообщений было посвящено конкретным вопросам диалектной фонетики (Э. И. Азизова, Баку; Н. Х. Ольмесов, Махачкала) и морфологии (Р. М. Бирюкович, Саратов; М. В. Зайнуллин, Уфа; А. Ишаев, Ташкент; Ш. Насыров, Ташкент; Б. П. Садыхов, Баку), диалектного словообразования (Л. Ж. Жабелова, Нальчик; Ф. А. Ганиев, Казань; Т. Айдаров, Ташкент; Б. Б. Ахмедов, Баку), диалектного синтаксиса (М. Джафарзаде, Кировабад; Ф. С. Сафиуллина, Казань; А. А. Тыбыкова, Горно-Алтайск). Проблемы сравнительного изучения диалектной лексики и фразеологии трактовались в коллективных докладах З. Г. Ураксина (Уфа) и А. Л. Фатыховой (Стерлитамак), К. М. Мусаяева (Москва) и Р. Х. Анпаяевой (Ашхабад); М. Ф. Черников (Чебоксары) попытался определить состав собственно диалектной фразеологии чувашского языка.

На конференции обсуждались также вопросы языковых и междиалектных контактов (Б. Хасанов, Алма-Ата; К. М. Мухамеджанов, Алма-Ата; У. Ф. Надергулов, Уфа; Л. Ш. Арсланов, Елабуга; Р. Ш. Насибуллин, Ижевск; Н. И. Егоров, Чебоксары; В. К. Кельмаков,

Ижевск; М. Нигматуллаев, Казань), проблемы взаимоотношения диалектов и тюркских литературных языков (Р. Дж. Магеррамова, Баку; М. В. Мамедов, Баку; И. Г. Галяутдинов, Уфа; Э. Ф. Ишбердин, Уфа; Ж. М. Гузеев, Нальчик; С. М. Ибрагимов, Казань), вопросы диалектной ономастики (С. М. Молла-Заде, Баку; Г. Ф. Саттаров, Казань; А. Г. Велиев и К. А. Велиева, Баку; А. К. Мамаев, Ташкент и мн. др.). Получили освещение также вопросы составления вузовских учебников по диалектологии тюркских языков (А. Г. Шайхулов, Уфа), методика преподавания родного языка в диалектных условиях (А. А. Галлямов, Уфа).

В прениях высказывались критические замечания по поводу ныне действующих программ диалектологических обследований и вопросников; выражалось пожелание привести эти программы и вопросники в соответствие с новейшими достижениями советского языкознания. Указывалось также на необходимость скорейшего обследования не описанных в ди-

алектологическом отношении территорий с тюркским населением в различных республиках Советского Союза.

Все эти острые и актуальные вопросы тюркской диалектологии и перспективы ее развития на ближайшие десятилетия нашли отражение в резолюции и рекомендациях, принятых IX региональной конференцией. В числе этих рекомендаций — обращение к организаторам будущей X региональной конференции, которую предполагается провести в г. Фрунзе в 1985 г., с просьбой включить в повестку дня вопросы регионального координирования и перспективного планирования диалектологических исследований в нашей стране; в этих целях необходимо предусмотреть разработку единых планов, программ и вопросников для обследования тюркских диалектов по исторически сложившимся регионам.

Тенишев Э. Р., Благова Г. Ф.

(Москва)

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1983 Г.
(№№ 1—6)

К 165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 160-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ СМЕРТИ КАРЛА МАРКСА

Панфилов В. З. Карл Маркс и основные проблемы современного языко-	5
Климов Г. А. Наследие классиков марксизма и принципы историзма в язы-	3
кознании	

К IX МЕЖДУНАРОДНОМУ СЪЕЗДУ СЛАВИСТОВ

Аванесов Р. И., Калынь Л. Э. Обобщающие карты как особый	
тип карт в Общеславянском лингвистическом атласе	4
Бернштейн С. Б. К вопросу о членении болгарских диалектов	4
Ответы на вопросы по славянскому языкознанию к IX Международному съез-	
ду славистов	4

СТАТЬИ

Бондарко Л. В., Лебедева Г. Н. Опыт описания свойств фоноло-	
гического слуха	2
Кацнельсон С. Д. Лингвистическая типология	3—4
Михайловская Н. Г. О теоретических и практических задачах изу-	
чения русского языка как средства межнационального общения	5
Правдин М. Н. Словарное толкование, научность и здравый смысл	6
Сахно С. Л. Приблизительное именование в естественном языке	6
Сифоров В. И., Канделаки Т. Д. Методологические аспекты терми-	
нологической работы Комитета научно-технической терминологии АН	
СССР	2
Слюсарева Н. А. О типах терминов (на примере грамматики)	3
<u>Филин Ф. П.</u> О некоторых особенностях лексики восточнославянских язы-	
ков	1
Ходорковская Б. Б. К проблеме индоевропейского сигматического	
аориста (Вопросы семантики)	6
Ярцева В. Н. Проблема вариантивности и взаимоотношение уровней грам-	
матической системы языка	5

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Абаев В. И. Сложные слова — хранители древней лексики	4
Адмони В. Г. Нулевая связка, связочный глагол и грамматика зависимо-	
стей	5
Бондарко А. В. Категориальные ситуации (К теории функциональной	
грамматики)	2
Будагов Р. А. В защиту понятия <i>слово</i>	1
Гвенцадзе Ц. А. Консонантность и вариативность фонотактических эле-	
ментов	5
Гвишиани Н. Б. К вопросу о метаязыке языкознания	2
Головина Э. Д. К типологии языковой вариантности	2
Григорян А. Г. Некоторые проблемы системного и исторического изуче-	
ния лексики и семантики	4
Демьянков В. З. Понимание как интерпретирующая деятельность	6
Десницкая А. В. К изучению языка памятников обычного права	4
Долинин К. А. Имплицитное содержание высказывания	6
Домашнев А. И., Помазан Н. Г. Актуальные проблемы швейцарской	
германистики	3
Иванова К. Взаимоотношения между аспектуальностью и партитивностью	
на синтаксическом уровне	2
Климов Г. А. О позиционных падежах эргативной системы	4
Клычков Г. С. К архитектонике фонологической системы	6
Колшанский Г. В. О языковом механизме порождения текста	3
Котов А. М. Экспрессивные средства китайского языка	4
Котов Р. Г., Марчук Ю. Н., Нелюбин Л. А. Машинный перевод	
в начале 80-х годов	1

Лаптева О. А. <i>Типа или вроде?</i>	1
Локштанова Л. М. О структуре грамматической категории наклонения в датском языке	5
Мезенин С. М. Образность как лингвистическая категория	6
Моисеев А. И. Письмо и язык (К типологическому изоморфизму лингвистических явлений)	6
Ольшанский И. Г. Взаимодействие семантики слова и предложения	3
Спивак Д. Л. Язык в условиях измененных состояний сознания	5
Файзов М. К. К вопросу о количественной характеристике гласных в современном таджикском литературном языке	5
Федоров А. И. Национально-языковые проблемы в Сибири и их решение	4
Чеснокова Л. Д. Выражение категории количества глагольными формами современного русского языка	6
Шатуновский И. Б. Синтаксически обусловленная многозначность («имя номинального класса → имя естественного класса»)	2
Шустер-Шевц Г. Возникновение западославянских языков из праславянского и особенности серболужицкого языкового развития	2
Щербак А. М. Последовательность морфем в словоформе как предмет специального исследования	3

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Алпатов В. М. К типологической характеристике айнского языка	5
Арбатская Е. Д., Арбатский Д. И. О лексико-семантических классах имен прилагательных русского языка	1
Асиновский А. С., Вахтин Н. Б., Головкин Е. В. Этнолингвистическое описание командорских алеутов	6
Васильева М. В. К семантическому и функциональному описанию греко-латинских терминологических элементов в лингвистической терминологии	3
Вассоевич А. Л. К основам египетского вокализма	4
Виноградова В. Л. Об описании значений слов в историческом словаре	3
Винокуров А. М. Словообразование в периферийных слоях лексики современного английского языка	2
Волков А. А. Письмо и звучащая речь	1
Григавецкис В. З. К вопросу о развитии вокализма говоров литовского языка	5
Дашкевич Я. Р. Армяно-кыпчакский язык: этапы истории	1
Ефимов А. Ю. О происхождении вьетнамских тонов	6
Камчатнов А. М. Лексическая вариативность и лексические значения	4
Ким С. С.-Д. О преломлении в толковых и двуязычных словарях единства языковой системы и речевой деятельности	3
Кондрашов Н. А. Лингвистические взгляды В. Н. Татищева	2
Кузьменков Е. А. О принципах классификации глагольной лексики в монгольском языке	2
Кямилев С. Х., Мельников Г. П. Проблема минимальных смысловых различительных и значащих единиц в языках семитского строя	5
Марков В. М. К истории неорганической гласности в русском языке	4
Мурьянов М. Ф. К проблеме критерия художественности в старославянском литературном языке	1
Никонов В. А. География русских фамилий	2
Пестов В. С. Категории лица, сказуемости и предикативности в языке кечуа	1
Пумпянский А. Л. О принципе языковой многозначности	1
Репина Т. А. О далматинском языке и его месте в группе романских языков	6
Сарджвеладзе З. А. У истоков грузинской лингвистической мысли	1
Стариченок В. Д. К проблеме территориального варьирования полисемантов	3
Федорова Л. Л. О двух референтных планах диалога	5
Черняховская Л. А. Смысловая структура текста и ее единицы	6
Чиненова Л. А. Процессы развития английской идиоматики	2
Шульга М. В. Унификация русского субстантивного склонения с точки зрения структуры родовых и числовых противопоставлений	2

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Александрова О. В., Минаева Л. В., Миндрул О. С. Основные аспекты изучения языка на XIII Международном конгрессе лингвистов	5
Алексеев П. М. О новых работах в славянской статистической лексикографии	4
Лейчик В. М. Новое в советской науке о терминах	5
Ярцева В. Н. О некоторых венгерских работах в области контрастной лингвистики	3

Хабургаев Г. А. «Средний штиль» М. В. Ломоносова в контексте истории русского литературного языка	3
Храковский В. С. Истоки вербоцентрической концепции предложения в русском языкознании	3
Яковлев Н. Ф. [Принципы фонемологии]	6

Рецензии

Александрова О. В. <i>Mori O. Frases infinitivas preposicionales on la zona significativa causal. Estudio contrastivo español-inglés</i>	1
Алексеев А. А., Крючкова Т. Б. <i>Kommunikation und Sprachvariation</i>	5
Баскаков Н. А., Тенишев Э. Р., Тихонов А. М., Шаабдурахманов Ш. <i>Ўзбек тинилинг изохли луғати</i>	3
Волоцкая З. М., Кубрякова Е. С. Типы языковых значений производного слова	2
Городецкий Б. Ю., Караулов Ю. Н. Частотный словарь семантических множителей русского языка	6
Грунина Э. А., Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (глагол)	2
Девкин В. Д., Земская Е. М., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис	4
Добродомов И. Г. <i>Clauson G. An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish. Index</i>	6
Домашнев А. И., Маковский М. М. Английские социальные диалекты (онтология, структура, этимология)	5
Жуковская Л. П., Симонов Р. А. Сказания о начале славянской письменности	1
Керимова А. А., Молчанова Е. К. Южные говоры таджикского языка	2
Колосова Т. А., Попова З. Д. Современный русский язык	3
Корлятуху Н. М. Взаимоотношение развития национальных языков и национальных культур	6
Кривонос А. Т. Система и структура языка в свете марксистско-ленинской методологии	3
Кубрякова Е. С. <i>Reichl K. Categorical grammar and word-formation: The deadjectival abstract noun in English</i>	4
Кузнецова О. Д., Сороколетов Ф. П. Вести-куранты. 1645—1646, 1648 гг.	3
Левитская Л. С. <i>Studies in Chuvash Etymology. I</i>	6
Мацеяускаене В., Зинкявичюс Э., Сталтмане В. Э. Латышская антропониmia. Фамилии	4
Мкртчян Г. А., Носенко И. А. Начала статистики для лингвистов	6
Мокиенко В. М., Попович А. Проблемы художественного перевода	2
Мячинская Э. И., Воронкова Г. В. Проблемы фонологии	5
Панфилов В. З., Юдакин А. П. <i>Petr I. Filozofie jazyka v díle K. Marxe a B. Engelse</i>	2
Протченко И. Ф., Черемисина Н. В., Верецагин Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедческая теория слова	4
Решина Т. А., Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка	3
Сиротинина О. Б., Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования	2
Слюсарева Н. А. <i>Svoboda A. Diatheme</i>	5
Смолина К. П. Памятники московской деловой письменности XVIII в.	1
Федоров А. И., Филин Ф. П. Истоки и судьбы русского литературного языка	5
Федосов В. А., Денисов П. Н. Лексика русского языка и принципы ее описания	2
Хушенова С. В., Гаффаров Р., Рубинчик Ю. А. Основы фразеологии персидского языка	2
Чернов В. И., Васильев Л. М. Семантика русского глагола	1
Шахнарович А. М. Теоретические проблемы социальной лингвистики	3

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	1—6
--------------------------------	-----

CONTENTS

Articles: P r a v d i n M. N. (Moscow). Lexicographic interpretation, scientific value and common sense; X o d o r k o v s k a j a B. B. (Moscow). On the Indo-European sigmatic aorist; S a x n o S. L. (Moscow). Approximate naming in natural languages; **Discussions:** D o l i n i n K. A. (Leningrad). Implicit content of the utterance; M e z e n i n S. M. (Moscow). Figural meaning as a linguistic category; D e m j a n k o v V. Z. (Moscow). Understanding as an interpreting activity; M o j s e e v A. I. (Leningrad). Writing and language; K l y č k o v Ğ. S. (Moscow). On the architectonics of the phonological system; C e s n o k o v a L. D. (Taganrog). Expression of the category of 'quantity' by verbal forms in modern Russian; **Materials and notes:** R e p i n a T. A. (Leningrad). On the Dalmatian language and its place among the Romance languages; E f i m o v A. Ju. (Moscow). On the origin of tones in Vietnamese; A s i n o v s k i j A. S., V a x t i n N. B., G o l o v k o E. V. (Leningrad). An ethnolinguistic description of the Aleuts of the Commandore Islands; C e r n j a x o v s k a j a L. A. (Moscow). Semantic structure of the text and its units. **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: P r a v d i n M. N. (Moscou). Interprétation lexicographique, valeur scientifique et bon sens; X o d o r k o v s k a j a B. B. (Moscou). Contribution à l'étude de l'aoriste sigmatique indo-européen; S a x n o S. L. (Moscou). Dénomination approximative dans la langue naturelle; **Discussions:** D o l i n i n K. A. (Léningrad). Le contenu implicite de l'énoncé; M e z e n i n S. M. (Moscou). Sens figuré en tant que catégorie linguistique; D e m j a n k o v V. Z. (Moscou). La compréhension en tant qu'activité interprétante; M o j s e e v A. I. (Léningrad). L'écriture et la langue; K l y č k o v Ğ. S. (Moscou). À propos de l'architectonique du système phonologique; C e s n o k o v a L. D. (Taganrog). L'expression de la catégorie de la quantité par les formes verbales en russe contemporain; **Matériaux et notices:** R e p i n a T. A. (Leningrad). Sur le dalmate et sa place parmi les langues romanes; E f i m o v A. Ju. (Moscou). Sur l'origine des tons en vietnamien; A s i n o v s k i j A. S., V a x t i n N. B., G o l o v k o E. V. (Léningrad). Description ethnolinguistique des Aléoutes des îles du Commandeur; C e r n j a x o v s k a j a L. A. (Moscou). Structure sémantique du texte et ses unités; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Т. П. Радина*

Сдано в набор 29.08.83 Подписано к печати 16.11.83 Т-21707 Формат бумаги 70×108^{1/8}
Высокая печать Усл. печ. л. 14 Усл. кр.-отг. 84,3 тыс. Уч.-изд. л. 17 Бум. л. 5
Тираж 5946 экз. Зак. 3113

Издательство «Наука», 103717, ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 10